ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

ОДЕССКИЙ

46

АЛЬМАНАХ

ОДЕССА ● ПЛАСКЕ АО ● 2011

ББК 84(4Укр-4Оде-2Од)63-47я430+63.3,014(4Укр-4Оде-2Од)63я430
Д 362
УДК 821.161.2'06=161.1(477.74-21)-92(082.1)+908(477.74-21)(09)"452.2"

Д 362 Дерибасовская — Ришельевская: Одесский альманах (сб.) / кн. 46 Всемирн. клуб одесситов: Сост.: Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский, О.И. Губарь, И.Л. Липтуга. — Одесса: Издательская организация "ПЛАСКЕ" АО, 2011. — 320 с.

ISBN 978-966-8692-19-2

Д $\frac{4702640204}{2011} + \frac{0503020902}{2011}$

Редактор Феликс Кохрихт

Редколлегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора)
Олег Губарь
Иван Липтуга

Editor Felix Kokhrikht

Editorial board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar
Ivan Liptuga

ISBN 978-966-8692-19-2

© Авторство художественных текстов, 2011

От редакции

День рождения Одессы – 217-й в биографии города – мы начали отмечать задолго до второго сентября. Вернее, не отмечать, а праздновать, дарить подарки. Городу и миру, городу и себе.

В июле в Одессе состоялся Международный литературный фестиваль, доминантой которого стал Исаак Бабель – его жизнь, судьба, творчество, его влияние на мировую литературу и на город, в котором он вырос и состоялся как писатель. Фундаторы фестиваля – Одесский литературный музей (директор Татьяна Липтуга) и московский журнал "Октябрь" (главный редактор Ирина Барметова) – собрали для участия в беседах, заседаниях "круглых столов", творческих встречах известных и ярких писателей, поэтов, литературоведов России, Украины и других стран. Среди обсуждавшихся тем были как напрямую связанные с Одессой (Миф или реальность юго-западной школы), так и глобальные (Будущее без литературы, литература без будущего). Редколлегии "Октября" и альманаха "Дерибасовская – Ришельевская" решили выпустить специальные номера, в которых участники фестиваля продолжат начатые в Одессе дискуссии, попытаются осмыслить и систематизировать свои впечатления от увиденного, услышанного, прочувствованного.

Спустя несколько дней наш город вновь стал местом встречи творческих людей из многих стран, собравшихся на второй Одесский международный кинофестиваль (президент Виктория Тигипко). Одесситы и гости города посмотрели десятки фильмов, выполненных в разных творческих манерах, – от шедевров мирового немого кино до премьер лент, снятых при помощи самой современной техники 21 века. Лауреаты киносостязания принимают поздравления, а зрители продолжают обмениваться впечатлениями от кинопиршества.

На закрытии фестиваля мы увидели фильм "Огни притона", созданный представителями яркой и самобытной одесской династии Гордонов. Автор сценария – Гарри Гордон, режиссер – его сын Александр, показывают Одессу начала 50-х годов минувшего века, когда еще свежи были фронтовые воспоминания, в море ловилась скумбрия, когда во дворах на Молдаванке все знали все обо всех... Фильм – трогательный и жестокий, поэтичный и философский – собрал великолепный актерский ансамбль. Он полон ностальгии и воспоминаний старшего Гордона, чутко и тактично перенесенных на экран младшим...

Этот номер альманаха выходит в свет за несколько дней до Дня рождения города, который ознаменуется большим и ярким праздничным действом. По традиции, накануне второго сентября увидит свет очередной Одесский календарь – детище Литературного музея и АО "ПЛАСКЕ". На сей раз он посвящен Ришельевской – улице, на которой провел юность Исаак Бабель, и где будет поставлен памятник замечательному писателю.

Ришельевская начинается от Оперного театра и заканчивается у вокзала. В праздничные дни на ней будет особенно многолюдно.

Олег ГУБАРЬ

Функции Одесского строительного комитета в контексте истории градостроительства Одессы*

Каменоломни и мины: регламентация Инженерно-геологические исследования

В одном из предыдущих разделов, где шла речь об отводе мест под застройку, цитировался любопытный документ 1796 г. из личного архива генерал-аншефа князя А.А. Прозоровского. Там, в частности, есть такой фрагмент: "Заблаговременно по теперешнему зимнему времени (то есть зимой 1796-1797 годов. — **О. Г.**) заготовить камню пиленого и бутового; на сие надобно подрядить подрядчика, набить камня и вывезти оный на показанное место; пиленый камень — каждая штука длиною в аршин, а толщиною и шириною от 7-ми до 8-ми вершков; подрядить можно: пиленый — от каждой тысячи с доставкою на место по ста пятидесяти рублей, а бутового сажень с доставкою — по четыре рубли. Камень заготовляется на урочище Куяльник, от Одессы расстоянием в 7-ми и 9-ти верстах". Общеизвестно, что с самого основания города практически бесконтрольная ломка камня осуществлялась по всем балкам и обрывам, окаймляющим высокое Одесское плато, и даже "в местности, расположенной между Преображенской, Успенской и Ямской улицами". Однако, как видим, тогда лучшим камнем считался куяльницкий, несмотря на дороговизну доставки. Впоследствии наибольшее предпочтение отдавалось камню из селения Нерубайское.[1]

Архивные материалы об истории ломки камня и соответственно каменоломнях, о процессе регулирования добычи известняка, включая площади, на которых разрешена ломка, весьма интересны, но до сих пор практически не были востребованы. Вероятно, это связано с тем, что еще с 1870-х годов в общественном сознании формировался определенный стереотип представлений о каменоломнях как о некоем романтическом пространстве. Тривиальные, в общем-то, горные выработки трансформировались в некие беллетризованные *катакомбы*,[2] и все экскурсы в "катакомбную" проблематику невольно оказываются в орбите этого стереотипа. Кроме того, следует различать два основных типа подземных выработок в старой Одессе — собственно каменоломни (катакомбы), и мины, то есть штоль-

* Продолжение. Начало в кн. 35-41, 43, 45.

ни-погреба, вырезанные, как правило, в лессовидных суглинках, облицованные и укрепленные камнем.

Жалобы, связанные с хищнической добычей камня в пределах Одессы, по архивным данным фиксируются довольно рано. Так, один из лесоторговцев, получивших место для складки бревен под Нарышкинским спуском, 19 марта 1812 г. пишет в Строительный комитет, что на отведенном ему участке местные подрядчики ломают камень, "и делаются большие ямы, что к построению дома вредно". Это означает: в то время камень добывался в приморских обрывах в районе нынешнего Художественного музея. ОСК тут же отреагировал и попросил городскую полицию разобраться с подрядчиками и прекратить ломку камня.[3]

Формально ОСК запретил добывать камень по обрывам и балкам, примыкающим к нынешнему историческому центру, однако фактически это запрещение то и дело нарушалось, ибо лица, заключавшие контракты на поставки строительных материалов в казенные работы, стремились выполнять свои обязательства с наименьшими затратами, в данном случае — транспортными. Так, например, 13 мая 1815 г. инженер-капитан Круг докладывает Комитету о том, что городские жители ломают камень меж Карантином и Военною гаванью (то есть в обрыве под нынешним Приморским бульваром), что сие запрещено и надо прекратить. 19 мая Круг снова пишет о ломке камня там же, причем "с давних времен". Напоминает о строжайшем запрещении, сделанном в свое время герцогом де Ришелье, объясняет, что из-за таковой добычи могут обрушиться "строения на горе". 20 мая Комитет делает на этот счет соответствующие распоряжения городской полиции.[4] В свою очередь, полиция добросовестно пресекала ломку камня на локальном участке, однако спустя короткое время оная продолжалась на соседних.

Вместе с тем Строительный комитет не только не препятствует добыче камня на окраинах, но более того — блюдет интересы гражданского общества в том смысле, что участки, перспективные для ломки, не передавались в частные руки. Например, уже известный нам майор Спорити, один из старейших и успешнейших садоводов, 31 марта 1819 просит (прошение подано 17 апреля) дополнительное место для садоводства "внизу садовника Германа, по сию сторону балки", то есть опять-таки в Водяной балке, ниже нынешней Морской академии. 26 апреля архитектор Дигби рапортует ОСК о том, что просимое Спорити место действительно пустое, но там имеется пригодный для добычи и строительства камень, а потому в партикулярные руки отдавать участок нельзя.[5]

В начале апреля 1826 г. Комитет впервые серьезно поднимает вопрос о воспрещении домовладельцам рыть под домами и в погребах мины без соответствующего разрешения. Суть дела в том, что хозяева домов рыли мины под соседние дворы, а чаще под улицы, что приводило к просадкам грунта, а следовательно, неисправности проезжей части, тротуаров, авариям транспорта и даже к человеческим жертвам. Самочинное сооружение мин было делом неизбежным по мере возникавшего дефицита места в центральной части города, острой надобности в дополнительных складских помещениях. Другая причина их возникновения — стремление правонарушителей припрятать от посторонних глаз контрабандные, уворованные, корчемные товары.

1 апреля 1826 г. из канцелярии одесского градоначальника в ОСК было отправлено определение следующего содержания: "По поручению г-на правящего должность градоначальника канцелярия сия честь имеет препроводить вступивший к его высокородию рапорт г-на одесского полицмейстера № 3455 о воспрещении здешним жителям без позволения начальства копать под домами и в погребах мины, равно и в списке предписание г-на правящего должность градоначальника, по тому рапорту оной полиции за № 1706-м данное".[6]

В упомянутом рапорте полицмейстера Василевского от 29 марта говорится о том, что многие жители, не испрашивая разрешения, "копают под домами и в погребах мины весьма на большое пространство чрез улицы, не соблюдая в том правил и нужной предосторожности". По этой причине уже несколько раз на улицах образовывались провалы. Вот и в сей день обвалилась мина в доме подполковника Буги (этот дом находился близ перекрестка Ришельевской и Греческой улиц), причем засыпало пять рабочих-землекопов. Но, "по счастью, место, где они находились, выложено было камнем", и только потому землекопы остались невредимы, однако откапывали их с большими трудностями. Поэтому в профилактических целях надо строго постановить, чтоб без освидетельствования архитектором и дозволения Строительного комитета к рытью мин не приступали. Более того, хозяевам следует поставить в непременную обязанность облицовку и укрепление выработок камнем. "А ныне, — продолжает полицмейстер, — во всех почти главных домах проведены мины чрез улицы, не выложены камнем, иные, как примечено, близки к обрушению". Василевский предлагает назначить особых чиновников для обследования всех мин и принятия соответствующих решений. 14 апреля ОСК предписывает архитекторам Боффо и Фраполли обследовать мины, сообщить подробности и назна-

чить меры.[7] Как мы увидим ниже, решение означенной проблемы надолго затянулось и было поставлено на надежные рельсы лишь после 1855 г.

Между тем, несмотря на все предыдущие запреты, ломка камня по балкам и обрывам в центральной части города продолжалась даже во времена генерал-губернаторства графа М.С. Воронцова, причем далеко не один год и, что называется, под самым носом. Так, 27 апреля 1831 г. градоначальник действительный статский советник А.И. Лёвшин пишет городовому полицмейстеру: "Мною замечено, что по Военной балке к дому графа Воронцова режут камень" (справедливости ради заметим, что Михаил Семенович в это время находился в длительной отлучке, и его обязанности исполнял граф Пален). Градоначальник предлагает "прекратить таковую резку камня — как в помянутом месте, так и в других местах сего города близ домов, и донести, кто именно режет по балкам камень и с чьего разрешения".[8]

В свою очередь, исправляющий в отсутствие Воронцова должность генерал-губернатора тайный советник граф Ф.П. Пален 12 мая 1831 г. адресует градоначальнику следующее отношение: "Заметив, что на местах, назначенных к застроению на Военной балке близ Сабанеевского моста, производится каменная ломка, отчего участки сии, вместо приведения в лучший вид, придут в совершенную негодность к застроению, я покорнейше прошу ваше превосходительство уведомить меня, по чьему заявлению производится там ломка камня, а между тем немедленно распорядиться как о воспрещении продолжить ломку, так и о том, чтобы сделанные доныне пещеры непременно были обрушены, и линия уравнена попрежнему, на счет виновных".[9]

О каком районе здесь говорится? Речь идет о четной стороне нынешнего Военного спуска от сооружавшегося в это время Сабанеева моста в направлении одноименной гавани. Здесь, в обрыве, обнажается толща известняков, вполне пригодных для строительства. А как раз на кромке этого обрыва, по нечетной стороне нынешней улицы Гоголя, находились старые офицерские флигеля, на месте которых намечалось сооружение новых презентабельных частных и общественных зданий.[10] Бесконтрольная ломка камня, естественно, создавала здесь чрезвычайно опасную ситуацию. Поэтому 14 мая 1831 г. полицмейстер получает подтверждающее указание пресечь добычу камня и уполномочить виновных произвести соответствующие мероприятия для достижения безопасности.[11]

Что касается Водяной балки, то здесь ломать камень дозволялось. Более того, согласно, например, резолюции графа А.Ф. Ланжерона от 19 ап-

реля 1820 г., "в чьем бы владении ни состоял камень, никто не должен присваивать себе оный в собственность, ибо никому не дано на то право". Здесь же говорится о том, что добычей камня занимаются многие лица и что запрещать сего не должно, ибо в противном случае город станет испытывать недостаток в стройматериалах. Если кто уже сделал выработку в скале, то есть уже поиздержался на обустройство, тот "может там добывать камень, пока возможность будет". Но он не должен присваивать себе права на всегдашнее владение этой каменоломней "и не должен запрещать другому возле той скалы или в другом месте добывать камень". На том же основании можно было добывать и "дикий камень". "Но вообще вблизи города дикий камень преимущественно назначается для казны, по крепкому оного качеству и по выгоде цен".[12] Речь идет о так называемом "дикаре", использовавшемся для устройства проезжей части, тротуаров, шоссе и мощения в целом.

Ареал, в котором назначалась добыча камня в пределах градоначальства, впервые более или менее четко обозначен в 1845 г. 21 марта управляющий новороссийскими и бессарабскими губерниями генерал-майор П.И. Федоров пишет одесскому военному губернатору генерал-лейтенанту Д.Д. Ахлестышеву о том, что поручил архитектору Ф.К. Боффо осмотреть места, где можно ломать камень. Исполнив поручение, Боффо донес: таковые места обнаружены позади Института благородных девиц, меж участками садовника Германа и коллежского асессора Ризо (опять-таки, в Водяной балке), да еще на Малом Куяльнике (Большим Куяльником издревле именовали Хаджибейский лиман), недалеко от таможенной заставы.

30 марта Ахлестышев поручил городскому землемеру Даллакве составить план местности, на который вынести владельцев участков, перспективных для ломки камня. 3 апреля 1845 г. Даллаква рапортует военному губернатору об исполнении поручения. План составлен. Первый из упомянутых Боффо участок, по городскому плану и ведомости городской земли, числится во владении самого института. Что касается Малого Куяльника, то, за исключением общественного выгона, каменные ломки открыты на хуторах, принадлежащих разным частным лицам, каковые и обозначены на "скопировке". 10 апреля Ахлестышев сообщает эти сведения Федорову.[13]

В первой половине 1850-х годов неожиданно актуальной сделалась когда-то запрещенная добыча камня в Военной балке со стороны Надежной (Надеждинской, Гоголя) улицы. Нечетная сторона этой улицы интенсивно застраивалась, и домовладельцы стали полуофициально разрабаты-

вать камень в борту балки, на что власти закрывали глаза, косвенно помогая новому строительству. 23 марта 1850 г. из канцелярии попечителя Одесского учебного округа отправлено прошение на имя одесского градоначальника: усматривая, что владельцам соседних домов "дозволено разрабатывать скалу к спуску, ведущему на Практическую гавань", хорошо бы "из добытого камня выстроить помещение для ланкастерского класса".[14] Дело в том, что на той же Надежной улице в помещении бывшей казармы № 10, принадлежавшей ведомству путей сообщения, с 1837 г. помещалось Одесское уездное училище. Даллаква составил план места, принадлежащего училищу, и представил в ОСК.[15]

Из других документов дела видно: Строительный комитет уведомляет, что соседям училищного места "не давалось право разработки скалы, да и дано быть не могло, пока наместник кавказский (то есть Воронцов. — **О. Г.**) не решил окончательно дело по сему предмету", тем паче "весь скат горы принадлежит городу".[16] Позднее, впрочем, выясняется, что "другие владельцы дворовых мест над этим обрывом владеют местами и по обрыву", и следовательно, можно отдать таковое же и училищу, ибо оное намерено построить внизу склона здание по утвержденному Воронцовым фасаду. Осенью 1851-го Воронцов на это вполне соглашается, но на определенных правилах.[17] В январе 1852 г. просимый участок отводится училищу, а 23 декабря того же года управляющий Ришельевским лицеем просит ОСК дозволить почетному гражданину Ивану Красильникову "открыть каменоломню в скале, принадлежащей Уездному училищу".[18]

Вот тут-то и становится понятной оригинальная тонкая комбинация, каковую тщательно разработали попечитель учебного округа вкупе с руководством Ришельевского лицея. Суть в том, что Красильников принял подряд на сооружение нового лицейского здания на углу Дворянской и Херсонской улиц (нынешний главный корпус ОНУ имени И.И. Мечникова). Получив участок склона Военной балки с выходами мощного слоя известняков, учебный округ одновременно получал множество разнообразных выгод. Во-первых, добыть качественный строительный материал буквально рядом с назначенной строительной площадкой. Во-вторых, очистить место под предполагаемую постройку Приходского училища. В-третьих, пополнить бюджет на постройку этого училища за счет платы подрядчиком за добываемый камень.

Полагаю, присутствовал и четвертый, закамуфлированный бонус, как нынче говорят, "откат". Об этом, между прочим, попечителя недвусмысленно спрашивает и сам градоначальник: "(...) ибо иначе испрашиваемое

дозволение будет иметь вид пособия для лица, принявшего на себя с подряда построение нового лицея".[19] Попечитель нашел очевидные весомые аргументы в пользу удовлетворения прошения, ссылаясь на три вышеперечисленных позитивных момента, и 24 марта 1853 г. оно было удовлетворено с оговоркой локальных технических аспектов.[20] Следы стески обрыва в правом борту Военной балки и даже отдельные врезки в известняковый массив отчетливо заметны и по сегодняшний день за домами по четной стороне одноименного спуска.

Перейдем теперь к одному из самых значимых дел фонда ОСК, связанных не только с проблематикой ломки камня, устройства и эксплуатации мин, но в целом с кругом занятий Комиссии для исследования одесской почвы, упоминавшейся в предыдущем разделе "Водоснабжение". Инженерно-геологические неприятности преследовали Одессу на протяжении всей ее истории. Уже землетрясение 1799 г. вызвало сильный оползень за новой, то есть большой, крепостью.[21] Информация об оползнях, осовах, просадках, крипе, морской абразии в разные годы фиксируется и документами из фонда ОСК. Например, в одном из дел по отводам мест под застройку находим заявление небезызвестного канатчика, одесского купца Ильи Новикова, от 23 марта 1815 г. Он пишет про обрушение земли близ завода и дома его, за балкой, идущей к Практической гавани,[22] то есть оползень произошел в Карантинной балке.

Примеры подобного рода можно умножить: скажем, оползни тревожили устроителей Приморского бульвара в начале 1820-х годов, чуть позже угрожали маяку на мысе Большой Фонтан, приводили к порче кооптированных источников и т. д. Все эти проблемы решались Комитетом, так сказать, в рабочем порядке, от случая к случаю. Так все шло до первой декады апреля 1861 г., когда в приморских обрывах, на дачах Ланжерон и Илькевича, произошел поистине катастрофический оползень, приведший не только к масштабным обрушениям земли, но и к уничтожению многочисленных строений. В связи с этими событиями управляющий новороссийскими и бессарабскими губерниями просил исправляющего должность одесского градоначальника, чтобы Строительный комитет исследовал это явление и дал свое заключение "при участии полковника Завадовского и подполковника Ивашевского".[23]

10 апреля архитектор Моранди в рапорте ОСК подробнейшим образом изложил обстоятельства и последствия этого оползня, включая убытки от разрушения домов и построек в целом, гибели деревьев, кустарников и т. д. Общий убыток составил весьма значительную сумму —

51.500 рублей серебром. Серьезные материальные потери собственно и привлекли к себе обостренное внимание властей. Согласно мнению Моранди, причина катастрофы заключалась в том, что подземные воды, не находя стока, размягчили землю, на которой возведены строения. По словам архитектора, такие явления не редкость: они уже, например, случались на Среднем Фонтане. Подобное обрушение в свое время "уничтожило мойку шерсти Саламбье". К рапорту прилагался акт освидетельствования, подписанный горным инженером полковником Завадовским, инженером путей сообщения подполковником Ивашевским, архитектором Даллаква, инженером путей сообщения Августиновичем. Тут же предлагалось сделать точную топографическую съемку местностей, где случались провалы и обрушения, включая поперечные профили, пробурить грунт и получить представление о стратиграфии опасных участков, обследовать окрестные балки в степи.[24]

Представления о причине оползней в то время были, конечно, упрощенными: они учитывали, главным образом, лишь один из негативных факторов, а именно влияние подземных вод.[25] На самом же деле все обстояло гораздо сложнее — большое значение имели ширина пляжа (то есть степень волнового воздействия на основание склона), пригруженность склона, угол его откоса, наличие трещин закола на бровке плато, присутствие в стратиграфическом разрезе увлажненных подземными водами меотических глин (член ОСК Ж.В. Гаюи считал этот последний фактор единственным и главным) и т. д. Понимание воздействия этих факторов пришло позднее. В данном контексте важно то, что сама постановка вопроса привела к формированию особой Комиссии по исследованию одесской почвы под председательством горного инженера-полковника Завадовского. Показательно и то, что тотчас же было решено привлечь к участию не только практикующих инженеров, но и ученых-академистов, в том числе профессора Ришельевского лицея химика Гаасгагена. Финансирование исследований определили осуществлять из городских сумм, предусмотренных на экстраординарные расходы.[26]

В апреле 1862 г. Одесский строительный комитет, находившийся в ведении Главного управления путей сообщения и публичных зданий, отправил генерал-губернатору отношение под заголовком "О приведении в известность мин, подкопов и каменоломен в городе Одессе". Здесь излагается история вопроса, начиная с 1855 г., когда военный губернатор генерал-лейтенант Н.И. Крузенштерн предложил составить особую комиссию по этому поводу. Следовало выяснить: кому принадлежат те или иные гор-

ные выработки, в каком направлении они простираются, каковые их габариты, глубина залегания, каковы свойства грунта, в котором они выработаны, каково их техническое состояние, какие случаи обрушения зафиксированы в последнее десятилетие, каковы причины обвалов, их последствия, какие упреждающие меры приняты для предотвращения подобных обрушений.

Перечисленные сведения должны были сопровождаться планами двоякого рода: 1) минам, прорытым от погребов; 2) каменоломням для резки камня на городской земле. На основании всей этой информации надлежало проанализировать: можно ли допустить эксплуатацию мин и каменоломен, определить условия эксплуатации, если таковая возможна. Для реализации поставленной задачи был составлен Временный комитет под председательством членов ОСК военного инженера генерал-майора Морозова, купцов Завадского и Бубы, инженера работ Кошелева, городских архитекторов Козлова, Даллаквы, Фон-дер-Шкруфа, Черкунова, Моранди, купца 1-й гильдии Пашкова, титулярного советника Горбоконя, коллежского секретаря Донча, губернского секретаря Ткаченко, купцов 3-й гильдии Косякина и Ноздрачева.

Комитет открыл свои действия в августе 1855 г. Из-за разнообразных сложностей дело продвигалось медленно, и к 1858 г. было открыто всего лишь около 100 мин, ведомость которым имеется при деле. В 1859 г. исправляющий должность одесского градоначальника барон Местмахер назначил под своим председательством Особую комиссию для более успешного определения способов резки камня, куда вошли архитекторы Любенков, Черкунов, фон Круг, землемер Жуковский, гласные Думы Ревенко и Волохов. По распоряжению генерал-губернатора обе эти комиссии соединили в одну, под председательством Местмахера, и в состав ее был назначен еще и инженер-путеец подполковник Ивашевский. Однако тут возникли серьезные трения и разногласия по поводу подхода к решению проблемы, как научного, так и практического характера.

В 1860 г. градоначальник попытался сдвинуть камень с мертвой точки, опираясь на мнение военных инженеров Августиновича и Ивашевского, "но генерал-губернатор (граф А.Г. Строганов. — **О. Г.**) предложил целой Комиссии обратиться к общему коллегиальному порядку, а как каждый из членов имел свое особое мнение, то и этот способ не имел успеха". А поскольку при дальнейшем "изменении состава Строительного комитета большая часть членов выбыла, то этим действия Временного комитета и ограничились". В 1861 г. ОСК через средства массовой информации за-

требовал от домовладельцев сведения о минах, выкопанных для устройства погребов, и в результате составил ведомости минам по частям города в 126 позиций.[27]

Как было сказано выше, в том же году по распоряжению генерал-губернатора была сформирована Комиссия по исследованию одесской почвы. Ей 4 мая 1862 г. и поручили освидетельствование выявленных в 1858-м и задекларированных ведомостями в 1861-м мин в натуре.[28] А далее мы находим в деле конкретные примеры обустройства и эксплуатации мин в центральной части города: например, в районе перекрестка Екатерининской и Троицкой, Греческой и Преображенской. 22 января 1863 г. генерал-губернатор одобряет предложение Комиссии по исследованию одесской почвы, изложенное в журнале ОСК от 30 ноября 1862 г., "относительно воспрещения на будущее время рытья мин под городские улицы и представления Строительному комитету проектов на устройство погребов и мин во дворах здешних домовладельцев".[29]

5 марта 1863 г. комиссия просит ОСК сообщить ей сведения о существующей ныне границе городской черты, "можно ли допустить добычу строительных материалов на предположенной местности между Дюковским садом и Новою Слободкою", поскольку "резка камня в черте города воспрещена".[30] Дальше — самое интересное, а именно обсуждение пределов, в которых дозволялась ломка камня. 30 апреля ОСК констатирует, что из комитетских дел видно: бывший военный губернатор Крузенштерн строжайше запретил добычу камня на Молдаванке, Бугаевке и Новой Слободке. А чтобы не ощущалось дефицита, "дозволил открыть каменные ломки по всей горе от въездной заставы, исключая частной собственности, где владельцы могут действовать по произволу". По его предположению, "черта порто-франко назначалась границею, внутри которой не дозволялась резка камня".

В ходе реализации этих постановлений возникли затруднения и жалобы лиц, желающих резать камень на собственных участках, по каковому поводу в 1854 г. была назначена очередная комиссия. Она нашла, "что от Куяльницкой заставы до селения Нерубайского по всему протяжению имеют начало мины, в коих вырезывается камень (минами тогда на французский манер называли любые горные выработки, в том числе каменоломни, впоследствии обретшие беллетризованное наименование *катакомбы*. — **О. Г.**), направленных в разные стороны под выгон на городской земле от 2-х до 4-х верст", и что других мест, кроме Кривой балки, для добычи "дикаря" и "плиты" за чертою порто-франко нет, но эта добыча не

может удовлетворить потребностей города. По этой причине пришлось допустить ломку камня и в пределах черты порто-франко, с ограничениями, на четко обозначенных местах: на Новой Слободке и Водяной балке. В результате предлагалось изменить назначенную границу ареала добычи камня и определить правила ломки.[31]

20-22 июля 1863 г. генерал-губернатор граф П.Е. Коцебу разрешил опубликовать и привести в действие составленные комиссией правила добычи на городской земле камня и щебня. Правила, скажем, предусматривают возможность резки камня и закрытым способом, с соблюдением определенных технологических норм. Однако закрытая ломка камня не должна приближаться к городу ближе указанной границы, по линии "от пересечения черты порто-франко с Мельницкой улицей за Молдаванкой, мимо мельничных кварталов (смотри выше. — **О. Г.**) до упраздненной Фонтанской таможенной заставы; отсюда по черте порто-франко до кордона № 12; от кордона № 12 по границе частных хуторов до поворота к морю между дачами Ефруси и Кельнера — с одной, и Изнара и Бродского — с другой стороны, так, чтобы новое кладбище, Воронцовская слободка, Скаковое поле и пространство, занимаемое лагерным расположением войска, были изъяты из числа местностей, где дозволена резка камня внутри бывшей черты порто-франко". Что до линии по Водяной балке, то тут границу следовало согласовывать с обстоятельствами проведения к порту железнодорожной ветки.[32]

В конце мая 1864 г. Комиссия по исследованию одесской почвы окончила свои занятия, в основном успешно исполнив возложенную на нее миссию.[33] Приложенные к делу ведомости всем известным минам по четырем частям города, с уточнением их технических кондиций,[34] практически один к одному опубликованы в первом сборнике Одесского статистического комитета.[35] Так что в данном конкретном случае есть возможность пользоваться источником, даже не прибегая к посещению архива.

Примечания

[1] Одесса, 1794-1894. — С. 241.

[2] Коханский В. Одесса за 100 лет: Исторический очерк. — Одесса, 1894. — С. 135; Губарь О. Одесские катакомбы. — Одесса, 2007. — С. 3-14.

[3] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 65, л. 220-221.

[4] Там же, д. 88, л. 142, 143, 145.

[5] Там же, д. 153, ч. 1, л. 63, 65.

[6] Там же, д. 567, л. 1.

[7] Там же, л. 2, 4.

[8] Там же, д. 1318, л. 1.

[9] Там же, л. 3.

[10] Там же, д. 454 и др.

[11] Там же, д. 1318, л. 4, 5.

[12] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 277, л. 370-371.

[13] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 2814, л. 1-4.

[14] Там же, д. 3222, л. 1.

[15] Там же, л. 3-4.

[16] Там же, л. 11.

[17] Там же, л. 27-28.

[18] Там же, л. 38-39.

[19] Там же, л. 43.

[20] Там же, л. 44-45.

[21] Смольянинов К.Н. История Одессы. — Одесса, 1853. — С. 106.

[22] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 88, л. 38.

[23] Там же, оп. 2, д. 1850, л. 1.

[24] Там же, л. 2-4, 6-7, 8-16.

[25] Жаринцов Д.Ф. О причинах обвалов морского берега в окрестностях г. Одессы и мерах, которые необходимо принять для предупреждения обрушения берега у Одесского электрического маяка. // Записки Императорского Русского географического общества. По общей географии. — СПб, 1886. — Т. 15. — № 5. — С. 1-37.

[26] ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 1850, л.19-20.

[27] Там же, л. 21-23.

[28] Там же, л. 25.

[29] Там же, л. 30.

[30] Там же, л. 34, 38.

[31] Там же, л. 41-44.

[32] Там же, л. 46-47.

[33] Там же, л. 88.

[34] Там же, л. 78-84.

[35] Труды Одесского статистического комитета. — Одесса, 1865. — Вып. 1. — С. 116-123.



Анатолий ДРОЗДОВСКИЙ

Открытки Одесского кадетского корпуса



Сабанские казармы



Арка на месте закладки зданий Одесского кадетского корпуса

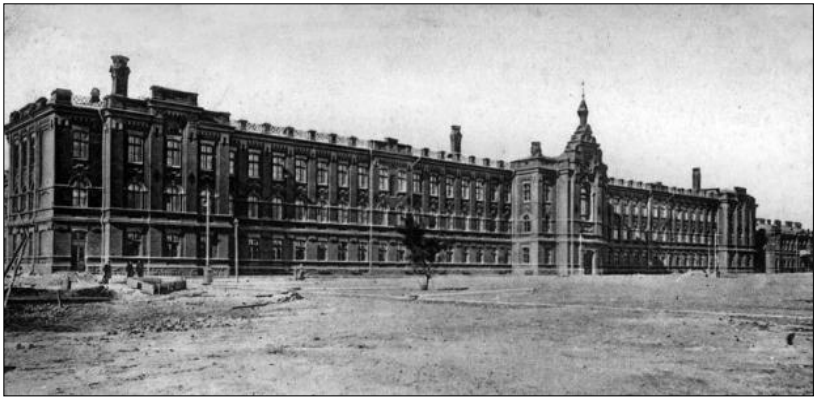
Одесский кадетский корпус был одним из самых молодых в Российской империи, 27-м по общему счету сухопутных и морских учебно-воспитательных военных заведений. Проект учреждения кадетского корпуса на Юге России возник в середине 1890-х годов и был доложен военным министром императору Николаю II, который "соблаговолил 14 августа 1898 г. остановить свой выбор на Одессе". Таким образом, Одесский кадетский корпус начал работать и принял первых воспитанников уже в 1899 году.

Первые годы военное учебное заведение размещалось в так называемых Сабанских казармах на Канатной улице — комплексе зданий, принадлежавших военному ведомству. В казну огромное здание, протянувшееся вдоль улицы Канатной на 140 метров, попало после конфискации его у богатого польского помещика И. Сабанского в наказание за участие его в польском восстании. Здание было построено И. Сабанским в 1827 году как склад (магазин) для хранения зерна, собранного на полях обширных имений и ожидающего отправки морем в другие страны.

Завладев зданием, военное ведомство переоборудовало бывший склад зерна под казармы, но имя прежнего владельца Сабанского прочно закрепилось в памяти одесситов, и по сей день называющих здание в Сабанском переулке Сабанскими казармами.

Одновременно с работой кадетского корпуса в Сабанских казармах началось строительство нового специального здания, для которого был выделен обширный участок в районе 4-й станции парового трамвая по Среднефонтанской дороге между военными лагерями и ипподромом.

На месте закладки здания была сооружена нарядная воздушная арка, запечатленная в 1900 году замечательным фотографом, владельцем фото-



Одесский кадетский корпус

типии и цинкографии в нашем городе, М.М. Пиковским, использовавшим через много лет негатив для изготовления открытки. Фотография арки работы М. Пиковского на открытке заключена в затейливую рамку.

Инженерными работами по строительству Одесского кадетского корпуса после утверждения эскизного проекта руководил военный инженер подполковник П.Е. Кошлич, успешно возглавлявший впоследствии учебное заведение.

Строительство главного здания было закончено к 1 марта 1902 г., а к началу 1904 г. в корпусе были завершены все остальные строительные работы.

Краснокаменное респектабельное главное здание Одесского кадетского корпуса сразу же стало сюжетом открыток. Известным немецким издательством "Герман Пой, Дрезден" были выпущены две открытки, на которых новое здание снято вблизи от линии парового трамвая, тянущейся вдоль массивного здания. Под иллюстрацией оставлено белое поле для письменного сообщения, характерное для открыток, изданных до 1904 года, когда на адресной стороне разрешалось писать только адрес.

Одна из открыток с видом главного здания Одесского кадетского корпуса была использована для иллюстрации детальной статьи об этом учебном учреждении известного одесского исследователя Сергея Решетова, размещенной в кн. 44 альманаха "Дерибасовская — Ришельевская". Не повторяя, насколько это возможно, материалы статьи, мы хотели бы проиллюстрировать историю Одесского кадетского корпуса с помощью коллекции из 36 открыток, отражающих первые 15 лет активной работы этого военного учебного заведения.

Пять коллекционных открыток с видом главного здания кадетского корпуса были выпущены после 1904 года, когда на реверсе открыток появилась разделительная полоса, слева от которой нужно было писать текст. Одна из открыток датирована февралем 1916 года и выпущена, как и другие, по заказу владельца склада открытых писем в Одессе, дантиста по основной профессии, Симона Осиповича Гефтера. Господин дантист содержал респектабельный зубоврачебный кабинет с 1890-х годов на Дерибасовской улице и, заработав на зубах одесситов достаточно денег, вложил их в 1903 году в прибыльное, по его представлениям, дело — издание иллюстрированных открытых писем. Издатель С. Гефтер скрывался под разными легко расшифровывающимися псевдонимами: "Асседоретфегсъ", "С.О.Г.О." и т. д. Интересно, что господин Гефтер иногда использовал более ранние негативы других издательств.

Шесть интереснейших коллекционных цветных открыток выпущены Акционерным обществом Гранберг в Стокгольме с одинаковыми надпечатками: "Издание Общества Взаимопомощи Одесского Кадетского Корпуса. Доход поступает в пользу Общества Взаимопомощи".

Благотворительная организация "Общество взаимопомощи Одесского кадетского корпуса" было создано вскоре после начала обучения кадет. Этому обществу мы обязаны обилием открыток военного учебного заведения, которые были массово выпущены к 10-летию учебного заведения в 1909-1910 годах и отразили самые разные аспекты его учебной и воспитательной работы. Общество заказывало открытки не только в Стокгольме, но и у одесских типографов.

19 коллекционных открыток кадетского корпуса связаны так или иначе с именем владельца фототипии и цинкографии в Одессе Михаила Пиковского, о котором мы упомянули в связи с открыткой с изображением арки.

Купеческий сын Михаил Моисеевич Пиковский содержал фототипию и цинкографию в Одессе с 1891 года. Известно, что он был умелым фотографом, даже недолгое время в 1890-х годах владел параллельно с фототипией еще и фотографическим салоном. Видимо, больше всего привлекали господина Пиковского не салонные портретные, а ландшафтные и репортажные снимки. Его подпись "М. Пиковский" или слитные инициалы "М.П." в рамке или без нее стоят на большинстве "кадетских" открыток, на множестве одесских открыток, газет, на иллюстрациях в многочисленных путеводителях, справочниках по Одессе и Югу Российской империи и т. п.

Некоторые из открыток кадетского корпуса отпечатаны в очень популярной в городе типографии Е. Фесенко, а некоторые полно-

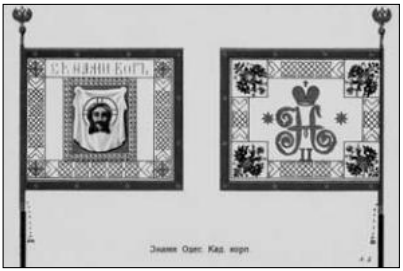
стью изготовлены в фототипии Пиковского.

Познакомив читателей с издателями открытых Кадетского корпуса, мы можем в хронологическом порядке продолжать показывать историю этого учебного заведения в открытках. Такого количества открыток, изготовленных на основе фотографических материалов, не удостоилось ни одно из одесских учебных учреждений.

7 октября 1905 года Одесский кадетский корпус получил знамя с гвардейским навершием, в центре которого — Спас Нерукотворный. На полотнище с противоположной стороны в центре — вышитый золотом императорский вензель, а по углам — гербы Российской империи. На открытке воспроизведен рисунок знамени с двух сторон, выполненный с особой тщательностью художником, скрывшимся под псевдонимом А. Д.

Торжественное вручение высочайше пожалованного в 1905 году знамени директору Кадетского корпуса генерал-майору М.Е. Дерюгину произошло на плацу перед главным зданием в день корпусного праздника 11 мая 1906 года. Снимок сделан вездесущим фотографом М. Пиковским так, что можно разглядеть Спас Нерукотворный на полотнище.

Открытка с изображением жетона кадетского корпуса, утвержденного 26 мая 1906 года, — единствен-



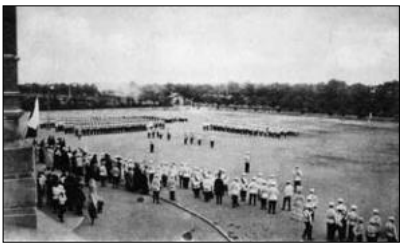
Знамя Одесского кадетского корпуса



Вручение знамени директору Одесского кадетского корпуса



Жетон Одесского кадетского корпуса



Парад в Одесском кадетском корпусе

ная цветная открытка Кадетского корпуса, отпечатанная в одесской типографии Е. Фесенко. Жетон, как и знамя, выполнен в золотистых и синих тонах, размер его 20х40 мм. На лицевой стороне — треугольник синей эмали с буквами "О. К.", обрамленный лавровыми ветками, на обороте — синий кадетский погон, место для фамилии выпускника и время его учебы в Кадетском корпусе. На рисунке жетона на открытке стоят даты: "1899-1906 год" — год первого выпуска кадет, прошедших семилетний курс обучения в Одесском кадетском корпусе.

Интересный сюжет на "кадетских" открытках — стройные ряды кадет на параде в честь 10-летия своего учебного заведения в 1909 году. Парад происходил на плацу перед главным зданием кадетского корпуса.



Церковь Одесского кадетского корпуса

Украшением строгого главного корпуса служил внутренний корпусный храм в память Святых Равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, изящный куполок которого возвышался над центральным входом. Крест над куполом был поднят в 1902 году. На открытках разных изданий показан внутренний вид военного храма.

На цветной открытке, отпечатанной в Стокгольме, воспроизведен празднично украшенный гимнастический зал кадетского корпуса в связи с приездом Николая II и представления ему кадет.

Спортивной подготовке будущих офицеров в корпусе уделялось огромное внимание. Украшением зала служили гирлянды, развешанные на спортивных снарядах, и выложенный цветами императорский вензель. На открытке, изданной М. Пиковским, спортивный зал в рабочем состоянии.



Праздничный вид гимнастического зала в корпусе

Спортивные снаряды были стационарно установлены и на спортивной площадке перед главным зданием. На цветных "гранберговских" открытках фотограф запечатлел занятия фехтованием — "фехто-

вальные фразы" кадет и их упражнения на параллельных брусьях.

Кадеты старших, 6 и 7 классов, традиционно составляли 1-ю роту для прохождения на плацу корпуса строевой подготовки, причем с винтовками в руках. На открытках М. Пиковского — группы кадет старших классов, занятые строевой подготовкой.

Из внутренних помещений Одесского кадетского корпуса в объектив фотографа Пиковского кроме уже перечисленных попали: общая столовая, спальня и зал 1-й роты. Огромный зал для занятий кадет 1-й роты фотограф снял дважды. На одном снимке — около тридцати кадет старшего возраста в центре зала возле фортепиано, на другом — в зале лишь несколько учеников. Во всех помещениях образцовая чистота и порядок.

Нашлось место в главном здании и для обширной библиотеки Кадетского корпуса, включавшей учебную и общеобразовательную литературу.

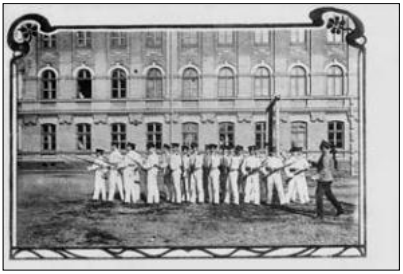
Отойдя ненадолго от "кадетских" открыток, покажем коллекционный книжный знак — экслибрис, заключенный в строгую рамку, прикреплявшийся к одной из библиотечных книг, содержащий подробный "адрес", по которому книгу можно было легко отыскать среди тысячи томов и со временем вернуть на законное место.

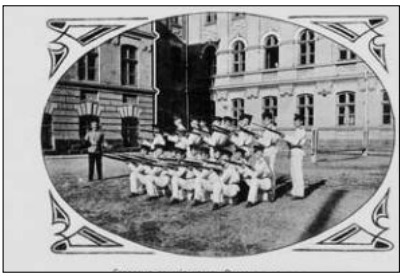


Фехтовальные фразы



Упражнение кадет на параллельных брусьях





Строевые занятия кадет





**Столовый зал
Одесского кадетского корпуса**



**Спальня 1-й роты
Одесского кадетского корпуса**



При кадетском корпусе работала небольшая собственная обсерватория, где будущие офицеры изучали космографию, наблюдали звездное небо и учились ориентироваться по звездам. Редчайшая из "кадетских" открыток показывает вид обсерватории, в которой занимались воспитанники.

Есть коллекционная открытка, на которой главное здание кадетского корпуса снято в таком ракурсе, что видно расположение обсерватории слева относительно него.

Тут же, неподалеку от главного здания и вдоль забора кадетского корпуса кадеты высадили небольшую рощицу. Деревья были посажены и высокопоставленными особами, посещавшими учебное заведение и курировавшие его работу. На открытке группа кадет старших классов заснята у дубов, посаженных в честь великого князя Константина Константиновича и его супруги.

В одно из своих посещений Одессы и кадетского корпуса "Августейший Главный Начальник Военно-Учебных заведений Его Императорское Высочество Великий Князь Константин Константинович" даровал Обществу взаимопомощи Кадетского корпуса свой фотопортрет с личной подписью. Портрет импозантного члена императорского дома с золотыми эполетами и "иконостасом" из орденов самого

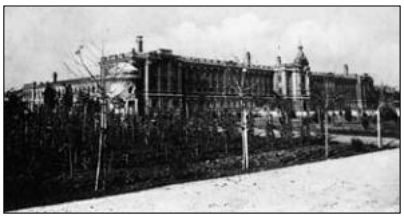


высокого достоинства в фототипии М. Пиковского был превращен в открытку, доход от которой, как и других открыток, поступал в пользу "Общества взаимопомощи Кадетского корпуса". В 1915 году, после смерти Константина Константиновича, Одесскому кадетскому корпусу было присвоено его имя.

Кроме здания обсерватории, которое мы показали ранее, на территории кадетского корпуса находилось несколько добротных зданий вспомогательного назначения. Очень редко встречающаяся открытка с видом лазарета кадетского корпуса — отдельно стоящего двухэтажного флигеля, в котором было два отделения: терапевтическое и инфекционное. Руководил лазаретом главный врач, которому помогал второй врач, шесть фельдшеров, несколько санитаров, лазаретный воспитатель и другие служители.



Обсерватория Одесского кадетского корпуса



Одесский кадетский корпус (слева — обсерватория)

Для отдыха кадет на море городские власти выделили участок вблизи немецкой колонии Люстдорф и двухэтажное здание у старого Большефонтанского маяка. Купание в море будущих российских офицеров, а пока обыкновенных озорных мальчишек, с восторгом бегущих навстречу надвигающейся морской волне, проходило под неусыпным оком расположившихся в лодке воспитателей, готовых в любую минуту спасать утопающих. Фотограф, работавший по заданию Акционерного общества Гранберг в Стокгольме, выполнил живой колоритный снимок.

Для кадет преподаватели и воспитатели организовывали дальние и ближние познавательные экскурсии. М.М. Пиковский зафиксировал момент поездки кадет на можаре — большой телеге, запряженной вола-





Лазарет
Одесского кадетского корпуса



Купанье кадет. Встреча волны



Кадеты на можаре

ми. Такие повозки были распространены у донских казаков, хотя встречались и вблизи Одессы.

Побывал фотограф Пиковский в 1907 году вместе с группой кадет на экскурсии в Крыму, запечатлев группу ребят на Инкерманских высотах.

Не забыл М. Пиковский снять сюжет с рельсами парового трамвая и приближающимся к кадетскому корпусу паровозиком — городским транспортным средством, на котором можно было легко добраться до Куликова поля и железнодорожного вокзала. Фотография, как и многие другие, заключена в затейливую рамку.

Паровозик крупным планом и атакующие вагоны кадеты, спешащие домой в отпуск, — сюжет еще одной "транспортной" открытки из жизни кадетского корпуса, изготовленной не в типографии Фесенко, а в фототипии Пиковского. Так как паровой трамвай был заменен электрическим на этом маршруте ровно сто лет назад, в 1911 году, то понятно, что открытка вышла не позднее этого времени.

Благодаря паровозику, около двадцати лет исправно возившему пассажиров от железнодорожного вокзала "Куликово поле" на приморские дачи Среднего и Большого Фонтанов, остановки на этом маршруте по сей день называются станциями.

Изучая оборотные стороны показанных открыток, мы убедились, что большинство из них по почте не посылались. Только редкая открытка с изображением столовой кадетского корпуса отличается от всех остальных "кадетских" тем, что прошла почту внутри города Одессы в 1913 году. Она была послана неким кадетом Леней в канцелярию 59 Люблинского полка, расквартированного в Одессе, юной барышне Лидии Васильевне Куликовской — дочери подполковника Василия Львовича Куликовского, служившего в этом полку.

Один из сыновей кадрового военного — Николай Васильевич Куликовский — обучался в 1910 году во 2-м классе Одесского кадетского корпуса и сохранил в своем архиве многие открытки этого учебного заведения. На большинстве из показанных открыток на четырех углах виден четкий оттиск закрепительных полосок альбома, в котором они хранились долгие годы.

Еще одна "кадетская" открытка прошла почту в разгар первой мировой войны, в июне 1915 года. На ней стоит очень интересная редко встречающаяся почтовая печать: "Школа прапорщиков при Одесском кадетском корпусе". Напомним, что такие школы были открыты в Одессе для подготовки из образованных молодых людей младших офицеров военного времени, так необходимых на фронте.



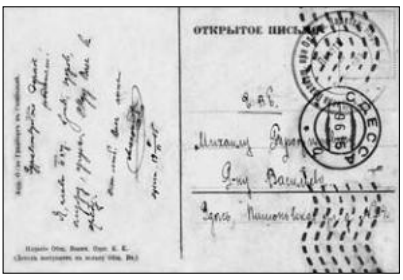
Кадеты на Инкерманских высотах



Путь трамвая
к Одесскому кадетскому корпусу



В отпуск



Будущий прапорщик Александр Васильев, обучавшийся военному искусству в школе прапорщиков, располагавшейся на территории кадетского корпуса, отправил открытку с видом гимнастического зала родителям, жившим в Одессе на Молдаванке.

В годы первой мировой войны и частой смены властей в Одессе кадетский корпус неоднократно эвакуировался и передислоцировался. В это время было уже не до выпуска открыток, а для отправки посланий, как видим, использовали напечатанные в 1909-1910 годах иллюстрированные почтовые карточки.

Одесский кадетский корпус воспитал за свою недолгую 20-летнюю историю много достойных офицеров, получивших дальнейшее военное образование и проявивших себя на фронтах первой мировой и гражданской войн, а также в мирной жизни.



Олег ГУБАРЬ

"Энциклопедия забытых одесситов"
Из новой книги

Первый бургомистр

Этого одессита как будто не вполне корректно именовать забытым. Во всяком случае, о попечителе переселявшихся в только что народившуюся Одессу средиземноморских выходцев Кесоглу (Кес-Оглу, Кесогло) периодически упоминают специалисты и дилетанты, часто негативно. В последнее время тиражируются небылицы, изобилующие курьезами и анахронизмами, — к примеру, о том, что его будто бы насильно обратили в мусульманство или, скажем, что он намеревался наладить в Одессе чеканку фальшивой турецкой монеты, участвовал в небезызвестной отправке императору Павлу 3.000 померанцев и проч.

Можно, конечно, скептически рассмеяться. Скажем, апельсины отправлены к высочайшему двору 8 февраля 1800 года, а наш попечитель ушел из жизни 6 января 1799-го. Чего уж говорить о чеканке монеты там, где еще не было возможности изготовить даже обыкновенный гвоздь. Вероятно, метафора о юной Одессе как о некоей пиратской гавани связана с прежним участием многих из первых поселенцев в морских авантюрах небезызвестного греческого повстанца-корсара Ламброса Качониса и ему подобных, базированием здесь гребного флота и т. п. Относительно же обращения в магометанскую веру ситуация и вовсе анекдотическая: Кесоглу многие годы хорошо знала не только греческая элита из константинопольских фанариотов, Архипелага, Молдавии и Валахии, но и высшие российские чиновники, включая видных дипломатов. Ему доверяли сама императрица, сам граф Зубов. Он состоял в российской службе, имея далеко не последний чин VIII класса, а затем был поощрен VII-м (под конец жизни, возможно, и VI-м, так как в отдельных случаях его называют полковником, а вдову полковницей). Нас что же, хотят уверить в том, что ответственейшую задачу переселения единоверцев поручили сомнительному прозелиту? Курьез, да и только. Возможно, не обремененных знаниями комментаторов смущает фамилия на тюркский лад, однако подобные фамилии турецко-подданных греков, в том числе многих одесситов, вовсе не редкость — Арабоглу, Кальфогло, Папудогло, Спирогло, Чорбаджогло и т. п.

Уточняю: до сих пор я не встречал ни единой публикации, в которой было бы приведено хотя бы полное имя Кесоглу, не говоря уже о внятных сведениях, касающихся его семейства, родственного окружения, недвижимости и проч.

Афанасий Васильевич Кесоглу в самом деле свидетель и участник основания Одессы, в сентябре 1794 года он получил два участка на Греческом форштате под застройку непосредственно из рук де Рибаса и де Волана. Именным указом от 19 апреля 1795 года графу Платону Зубову императрица определила регламент обустройства в Одессе и ее окрестностях единоверных народов. В этом документе упоминаются не только непосредственные участники боевых действий на стороне России, но в целом греки и арнауты, желающие сюда переселяться. Предусматривались следующие поощрительные меры: предоставление временного жилья с возможностью его дальнейшего необременительного поэтапного выкупа в собственность, единовременная ссуда на переезд, водворение, обзаведение, погашаемая в рассрочку по прошествии 10-ти лет, безвозмездное пособие на сооружение церкви, беспошлинный ввоз собственного имущества и определенного количества товара на продажу, 25-процентная скидка на товары сверх назначенной меры, освобождение от службы и налогов на 10 лет, а от постоев — навсегда. Для реализации этой задачи предусматривалось содействие авторитетного предводителя по примеру российских дворянских предводителей, который, кроме всего прочего, мог бы легитимно представлять всех переселенцев в разного рода контактах и переговорах с правительством и местным начальством.

И далее: "Звание сие преимущественно принадлежит коллежскому асессору Кес-Оглу, по уважению его и доверенности в нации греческой, наипаче же, что и самый вывоз переселенцев сих чрез него происходить будет, а потому не благоугодно ли его в оном признать, с награждением за прежнюю его ревностную и усердную службу, многими опытами и пожертвованиями оказанную, и в одобрении в настоящем употреблении чина подполковника, и с пожалованием ему в знак особливого благоволения золотой медали". Когда же переселенцы водворятся, и число их преумножится, говорится в указе, пусть сами выбирают попечителя из своей среды или из российских почетных граждан на каждое трехлетие.

Назначение и заявленная репутация Кесоглу по некоторым данным расходятся с практикой его дальнейшей деятельности. Ясно, что в свое время он играл серьезную роль при российских дипломатических миссиях в Константинополе, где, вероятно, и познакомился с будущим мужем

своей старшей дочери, генералом Попандопуло. С другой стороны, многолетняя стамбульская выучка не прошла для него даром: взяточничество турецкой администрации — притча во языцех. Известно, например, что окружение султанов питало невероятную слабость к дорогим безделушкам вроде усыпанных драгоценностями шкатулок, табакерок и т. п. Традиционно привечаемые здесь французские аристократы доверительно советовали дипломатам других стран "решать вопросы" посредством оговоренных презентов. Та же порочная система процветала в окружении Потемкина и других фаворитов, нередко пригревавших разного рода авантюристов. Уместно ли относить Кесоглу к категории последних? Попытаемся разобраться.

Ссылаясь на архивные документы, историк А. Орлов в свое время многое сообщал о его финансовых злоупотреблениях или, по крайней мере, о таких финансовых операциях, которые представляются жульническими махинациями. Так, попечитель вместо наличных выдавал переселенцам на домостроительство и обзаведение строительные материалы и инструменты, получая от них фиктивные расписки за якобы полученные деньги, поселял в специально построенных для средиземноморских переселенцев домах и других явившихся в нарождающийся город искателей счастья, задолжал казне солидную сумму за 200 пар волов и повозок, закупленных для обслуживания работ в порту и крепости, за казенный лес. Даже супруга греческого попечителя фигурирует в одном из этих сюжетов как довольно ловкий прораб: когда Кесоглу за казенный счет соорудил хлебопекарню, и надобность в оной отпала, Кассандра Ивановна велела разобрать это сооружение с целью получения крайне дефицитного в ту пору леса. Мало того, сама пекарня была построена попечителем недобросовестно, а продукция ее использовалась не вполне по назначению — для рабочих, занятых в портовом строительстве, а не для всех горожан. Кесоглу не доплатил небольшую сумму жалованья так называемому Греческому дивизиону, не довел до конца сооружение греческого храма. Претензии можно продолжать. После кончины подполковника выяснилось, что формально общая его задолженность казне составляет огромную по тем временам сумму 19.300 рублей. По этой причине 29 ноября 1799 года был наложен секвестр на его имение в Тираспольском уезде.

Все это внешняя сторона: подобные же обвинения неоднократно адресованы и де Рибасу. К слову, первые биографы Одессы, А.А. Скальковский и К.Н. Смольянинов, ни разу не обмолвились по этому поводу. Разумеется, доля истины в финансовых претензиях к основателям города есть,

оборотистый Кесоглу не мог не искать личной выгоды в проекте, именуемом Одесса, но не до такой же степени, чтобы практически все без исключения подконтрольные казенные суммы бесцеремонно и безбоязненно класть в собственный карман. И если хорошенько приглядеться к деталям, то ситуация в какой-то мере прояснится.

Скажем, Кесоглу выдавал переселенцам не только казенные, но и собственные материалы, инструменты и товары, — естественно, получая в этом случае выгоду, но лишь хорошие проценты. И вообще, обращаясь к личностям ряда облагодетельствованных им переселенцев, например, получивших деньги на устройство двух макаронных фабрик, одной шелковой и др., испытываешь подозрение, что здесь имел место взаимовыгодный сговор. Обратите внимание, скажем, на выплату по 1.500 рублей полковнику Ивану де Пеллигрини, флотскому майору Константину Бицилли, капитану Дмитрию Фотаки, или 700 рублей прапорщику Николаю Попандопуло. Корректно ли вообще считать нуждающимися переселенцами этих много лет состоявших на российской службе офицеров, сподвижников де Рибаса, занимавших в Одессе довольно высокое положение? Как на мой взгляд, так это было даже справедливо: помочь достойным соотечественникам, не нажившим в боевой и кочевой службе России ничего, кроме ран.

Вот и выходит, что греческий попечитель фактически распределял казенные средства меж своими, то есть и ответственность тут должна бы быть коллективной. Да, Кесоглу селил в казенных строениях не только греков и арнаутов, но, по свидетельству самого А. Орлова, несмотря на это, даже в конце 1796 года несколько домов оставались незанятыми. А ведь именно по этой причине пустовавшие строения просто-напросто растаскивались на дрова. Вот и нечего им было простаивать вхолостую. Далее, храм Кесоглу действительно не достроил, но, во-первых, получил из полагавшихся по этой статье 2.000 рублей только 500, а во-вторых, обустроил рядом временный молельный дом. Кроме того, ведь и все другие храмы тогда не были достроены из-за приостановки финансирования. На пекарне он, безусловно, сэкономил, однако лишь часть расчетной сметной стоимости.

Впрочем, все это можно рассматривать еще и в другом ракурсе, если принять во внимание обстоятельства, в которые вписаны означенные хищения, или скорее приписки. Прежде всего, как мы видели, значительная часть доверенных греческому попечителю казенных денег раздавалась в поддержку малоимущих сподвижников де Рибаса. Дальней-

ший несчастливый для Одессы ход событий и вовсе привел к тому, что Кесоглу, совершенно очевидно, пришлось изрядно подмасливать высокопоставленных чиновников, открывая по этому поводу как собственный кошелек, так и развязывая мошну состоятельных горожан, в первую очередь, греческих негоциантов. Прибыль от незаконных финансовых операций 1795-1796 годов, таким образом, оказалась незначительной по сравнению с потерями в период упадка города после кончины Екатерины и воцарения Павла.

Можно себе представить, во сколько обошлось, например, устройство и дальнейшая эволюция Иностранного магистрата — по существу, первого полноценного института городского общественного самоуправления. В 1797 году Кесоглу провел перепись иностранцам, изъявившим желание водвориться в Одессе, в большинстве грекам, и представил новороссийскому гражданскому губернатору, статскому советнику Ивану Яковлевичу Селецкому. Аргументы греческого попечителя были настолько убедительны, что 20 сентября того же года Селецкий в Одессе дал Кесоглу предписание об избрании членов Магистрата. Уже через три дня избранные были приведены к присяге в молитвенном доме возле строившейся на Арнаутской слободке церкви Святой Троицы и Спиридона Тримифутского. Формировался Магистрат по образцу рижского и ревельского. Собственно, это была Одесская городская магистратская коллегия, состоявшая из семи департаментов: городского сиротского суда, городского нижнего суда, коммерческого городского суда, словесного суда, комиссии российской торговли, общего городского управления (городской канцелярии) и казначейства. Передача управленческих полномочий в руки уроженцев Леванта была не только справедливой, но и целесообразной, ибо только с их заинтересованною помощью юная Одесса могла реализовать отведенную ей роль южных ворот империи. Кроме того, капиталы российских купцов и сама их численность в городе в ту пору были еще малы.

Впрочем, после открытия Иностранного магистрата возникла некая двусмысленная ситуация: в предписании Селецкого ничего не говорилось о судьбе предшествовавшего ему Российского, да этого и не могло быть, поскольку ликвидация этой институции не входила в полномочия губернатора. Тогда Кесоглу как первый (главный) из четырех избранных магистратских бургомистров развернул кампанию за упразднение этой структуры и передачу всех ее полномочий Иностранному магистрату. Здесь еще раз стоит обратить внимание читателя на этнический и социальный состав магистратской коллегии: вторым бургомистром избра-

ли, например, весьма авторитетного греческого негоцианта Ивана Дестуни, третьим — немца Гаспара Готлиба Шейбеля, синдиком (судьей) — небезызвестного Виктора Поджио, итальянца, впоследствии строителя Городского театра и Городского госпиталя, отца двух декабристов, в числе ратманов (членов магистрата) мы находим будущего попечителя католического храма, поручика итальянского происхождения Сильвестра Дель Сасо, откупщика мер и весов грека Ивана Беломорского (Беломорьем именовали Средиземное море), выкреста из Германии, купца Симона Стифеля, впоследствии поставщика императорского двора, отставного прапорщика и предпринимателя Константина Маврокордато, к слову, тоже в два приема получившего от Кесоглу немалую казенную сумму на строительство дома и фабрики.

"Русская партия" в лице купцов Мигунова, Лифинцова и Суслова, разумеется, не желала смириться с таким положением вещей, причем была поддержана полицмейстером (фактически — градоначальником) секунд-майором Григорием Кирьяковым. Тем не менее, Селецкий, обратившись с соответствующим представлением на высочайшее имя, небезосновательно принял сторону "иностранцев", Кесоглу же параллельно подал аналогичное прошение посредством покровительствовавших ему высокопоставленных лиц. С этой целью первый бургомистр специально предпринял вояж в столицу, как говорится, нажал там на все педали. Опять-таки, можно лишь предполагать, во что обошлась эта более чем разорительная поездка ему и его одесским партнерам. В результате указом от 26 января 1798 года император Павел упразднил Российский магистрат, а состоящих в нем купцов и мещан подчинил Иностранному.

Итак, Кесоглу формально сумел сосредоточить в своих руках городское самоуправление, но, как выяснилось, не располагал ресурсами, необходимыми для осуществления одесского проекта. Прежде всего, город не имел необходимой для нормального функционирования инфраструктуры: финансирование устройства гавани, казенных зданий, сооружений, храмов и др. свернулось еще в конце 1796-го, поступления в городской бюджет были ничтожны, а потому невозможно было даже минимально благоустраивать городские территории, строить мосты, копать колодцы, устилать щебнем улицы. Неопределенными оставались многие законодательные вопросы, связанные, например, с налогообложением тех же иностранных переселенцев и др., законодательная база "ганзейского города" не вписывалась в региональную, многие вопросы в этом смысле оставались неурегулированными. Кесоглу и горожане отдавали себе отчет в том,

что судьба Одессы туманна, целиком зависит от случая — каприза монарха или сановника-временщика.

И тогда первый бургомистр в очередной раз пошел проторенной дорожкой — по старым проверенным связям. Он обратился с ходатайством к монарху через генерал-прокурора князя Алексея Куракина. Прошение включало, как нынче принято говорить, пакет законодательных инициатив. Кесоглу просил: 1) передать питейный откуп и поступления от оного в ведение Магистрата; 2) подтвердить льготы, дарованные иностранным поселенцам екатерининским указом от 15 апреля 1795 года; 3) даровать Одессе статус порто-франко; 4) учредить банк, ссужающий предпринимателей под залог недвижимости и товаров; 5) передать городу один из казенных домов для размещения в нем Магистрата и полиции; 6) даровать Одессе герб. Последний пункт на самом деле чрезвычайно важен, он означает, что едва народившийся город как бы легализуется, что теперь его невозможно будет походя потерять, зачеркнуть. В целом же предложения Кесоглу без преувеличения характеризуют его как талантливого, прозорливого, энергичного деятеля государственного масштаба.

Более того: это была стратегическая программа, шаг за шагом решавшаяся городской и краевой администрацией на протяжении следующих десятилетий. Если ходатайства Кесоглу повлекли за собой лишь дарование герба, доходов от винного откупа и одного казенного дома, то при Ришелье был учрежден заемный банк, а при Ланжероне оформлен статус порто-франко. Кстати, Магистрату Одессы в 1798 году официально не отказали и в других просьбах, но оставили некоторые временно без рассмотрения, а иные предположили к дальнейшему исполнению. Таким образом, Кесоглу без всякого преувеличения справедливо считать первым и главным идеологом одесского проекта. При этом полагаю, он здорово раскошелился для его реализации. Мне скажут, первый бургомистр надеялся в дальнейшем сполна компенсировать свои затраты. Что ж, а который из серьезных предпринимателей не ищет собственной выгоды? Вы знаете таких? Это тем более извинительно, что благополучие Кесоглу, как и всех первых поселенцев, определялось благополучием Одессы.

Афанасий Васильевич еще успел порадоваться первым плодам своих дипломатических усилий: центральным событием года стало торжественное освящение 1 сентября дарованного городу герба с императорским орлом в верхнем поле и якорем-кошкой в нижнем. В городскую церковь его вынесли из дома откупщика Дофине, на углу Ришельевской и Греческой улиц, откуда магистрат и биржа вскоре перебрались в подаренный городу

казенный дом, на углу будущих улиц Полицейской и Преображенской. Герб был написан по доске высотой в полтора аршина, то есть более метра, с четырех сторон изображение сопровождалось надписями "герб города Одессы", по-русски, по-гречески, по-итальянски и по-немецки. В приходскую церковь его несли два члена Магистрата, за которыми следовала процессия горожан во главе с комендантом (шефом Ладожского мушкетерского полка), шефом другого квартирующего здесь полка, полицмейстером, командиром флотской береговой команды, бургомистрами.

Поскольку сооружение храмов было в тот период законсервировано, временную Свято-Николаевскую (с 18 февраля 1800 года по указу от 4 августа 1799-го — соборную) церковь еще ранее оборудовали близ перекрестка Полицейской и Ришельевской улиц — здесь и проходила церемония освящения. Прозвучало подобающее случаю слово приходского протоиерея Симеона Жижеленкова, поздравление от коменданта, после чего герб возвратили в Магистрат, избранные "отбыли в назначенное к беседованию пристойное зало", "а граждане разных наций с усерднейшего своего о сем Выскомонаршем благоволении радования чрез весь день торжествовали". Выпивали, надо полагать, изрядно, в особенности по поводу передачи городу питейных доходов.

После этого Кесоглу в очередной раз отправился в столицу пробивать узаконение прав одесского Магистрата по образцу прибалтийских и вернулся в конце года с добрыми вестями — по крайней мере, был запущен бюрократический механизм подготовки и легализации соответствующих постановлений. Как уже говорилось, первый бургомистр скончался 6 января 1799 года, мне приходилось читать даже о том, что смерть его будто бы была насильственной. Это не так: как видно из архивных документов, духовное завещание составлено им 27 декабря 1798 года, то есть за десять дней до кончины, наверняка по случаю тяжелой болезни, сразившей его в утомительной дороге.

Тут, однако, вышла та неприятность, что Кассандре Ивановне еще пришлось доказывать свои права наследницы, ведь никаких метрических свидетельств о заключении брака и рождении совместных с Афанасием Васильевичем детей у нее, как и у большинства греческих переселенцев, на руках не было. В таких случаях практиковался сбор, так сказать, свидетельских показаний от авторитетных горожан. Таковые показания и дали известные пионеры-одесситы: Марангопуло, Лале, Трано, Флогаити, Рафтопуло, Дранчев, Ангелатто и др. В частности, 24 марта 1799 года они сообщили о венчании "в Константинополе лет за 15 до сего", то есть около

1784 года. Подтвердили рождение в этом браке дочери Александры 14-ти лет, Марины (Марии, Марьяны, Марвиоры) 10-ти лет и сына Скарлатия 8-ми лет. О сыне Кесоглу я пока не имею достоверной информации (в 1810-1820-х в Одессе известен купец 1-й гильдии Хаджи Димитрий Кесоглу, возможно, родственник), а вот судьбы дочерей, в замужестве соответственно Попандопуло и Дембровской, прослеживаются довольно отчетливо, но это тема другого очерка.

Необходимое свидетельство Кассандре Ивановне выдали, но вскоре ей пришлось расхлебывать заварившуюся кашу о злоупотреблениях покойного супруга, к которым она и сама, получается, была причастна. Как вы помните, на ее имение в Тираспольском уезде наложили запрет и, по идее, должны были конфисковать в казну для покрытия катастрофического долга — 19.300 рублей. Но ничего подобного не произошло. Как демонстрируют более поздние архивные документы, она не потеряла ни это имение, ни городскую недвижимость, свободно распоряжалась всем недвижимым имуществом, продавая прежнее и приобретая новое. Так, в 1805 году она как тираспольская помещица затеяла тяжбу с купцом-подрядчиком Василием Ефремовым из Великих Лук, каковой не выполнял условий по найму у нее трактира. В декабре 1807 года Кассандра Ивановна купила на аукционном торге в одесской полиции сразу два дома — возле Старого базара, в Базарном переулке, против тыльной стороны дома купца Черепенникова, и по Греческой улице, меж Красным переулком и Екатерининской улицей. Второй из этих домов она не позднее 1810 года подарила или завещала своей младшей дочери Марине Афанасьевне, в замужестве Дембровской.

Все это может означать, что вина покойного греческого попечителя не была доказана, в противном случае имущество его семьи непременно ушло бы с молотка. Казенные средства, признанные похищенными, недобросовестно потраченными и т. п., в обязательном порядке подлежали возврату за счет провинившихся ли или их наследников, подобные "компенсационные дела" порой тянулись десятилетиями, до победного конца. Другими словами, воссозданный А. Орловым сюжет о злоупотреблениях Кесоглу не включает в себя развязки, финала, где были бы расставлены все точки над і. Именно по этой причине все разговоры об аферах де Рибаса, Кесоглу и других основателей Одессы за официальной недоказанностью остаются всего-навсего разговорами, подозрениями, предположениями.

Что до Иностранного магистрата, он, с подачи Кесоглу, продолжил свою созидательную деятельность под началом второго бургомистра, Ивана Дестуни, который довел до ума несколько важных проектов, иниции-

ванных его предшественником. То был не менее трудный этап становления города, осложненный неурожаем, нашествием саранчи, землетрясением, военными действиями в Архипелаге, подрубившими под корень морскую торговлю и отвлекшими гуманитарные ресурсы — скажем, российских офицеров греческого происхождения и не только. Именно тогда "заботливые купцы" воспользовались протежированием сменивших Куракина на посту генерал-прокурора Лопухина и Беклешева, изобрели элегантную взятку апельсинами. Между прочим, за 3.000 апельсин были заплачены магистратские, то есть общественные, деньги. В числе лиц, подписавших прилагавшееся к посылке письмо на высочайшее имя, мы видим уже и авторитетных российских купцов — Евтея Кленова и Семена Андросова. В итоге, как известно, тронутый подношением монарх распорядился предоставить Одессе просимую ссуду в 250.000 рублей сроком на 14 лет для отстройки гавани, передать городу все заготовленные прежде с этой целью казенные стройматериалы, пролонгировать все дарованные прежде льготы на те же 14 лет, до уплаты казенного долга, работы по устройству гавани завершить максимум в четыре года под надзором князя Гагарина.

Это было, как принято говорить, судьбоносное для Одессы постановление, открывшее юному городу и порту дорогу к дальнейшей позитивной эволюции, к короне мирового хлебного экспортера. 8 мая 1800 года в заседании Магистрата была создана структура, впоследствии непосредственно занимавшаяся градостроительством в широком смысле этого слова — Комитет (Комиссия) для отстройки одесской гавани, фактически предшественник будущего Одесского строительного комитета. В его составе мы в очередной раз находим лиц, облагодетельствованных покойным Кесоглу, скажем, смотрителя работ Константина Бицилли, отставного флотского офицера, первого командира одесского Греческого дивизиона, в данный момент надворного советника.

Хотя со сменой верховной власти на место Иностранного магистрата по указу от 9 апреля 1801 года вскоре пришла более традиционная для империи магистратская структура, люди и идеология оставались прежними, а город и впредь продолжал получать всевозможные льготы (например, десятую часть таможенных сборов на содержание порта в исправности), способствовавшие его дальнейшему становлению. И что бы там ни говорили о Кесоглу, я допускаю, что без его личной заинтересованности, всестороннего бурливого участия в судьбе города-младенца, пути Одессы могли оказаться действительно неисповедимыми.

Послесловие для любопытствующих. Греческого попечителя похоронили возле недостроенной греческой церкви на будущей Арнаутской Слободке. Судьба этого захоронения прослежена нами по ретроспективным СМИ. "Теперь не осталось здесь никаких следов церкви первых поселенцев одесских. Небольшой каменный памятник, воздвигнутый над могилою подполковника Кесоглу в одной из здешних улиц, за несколько лет перед сим разрушился и исчез совершенно" (1835). "Рабочие, копавшие на Мало-Арнаутской улице к Канатной водопроводную канаву, на довольно значительной глубине, нашли в одном месте уцелевший склеп, в котором сохранился гроб и кости. По увереньям старожилов, на этом месте стояла некогда часовня; другие же уверяют, что там было некогда кладбище. Склеп находится под надзором полиции" (1876). Исходя из последнего обстоятельства, можно наверняка говорить о том, что останки Кесоглу были перезахоронены на Старом кладбище, то есть на территории нынешнего Преображенского парка. Дело в том, что даже при выявлении человеческих останков, не поддающихся идентификации, их подвергали перезахоронению на городском кладбище под контролем градоначальника, в присутствии медицинских и полицейских чиновников.



Владимир СМИРНОВ

Расстрел директора Художественного музея И.С. Эмского-Могилевского*

Изучая архивно-следственное дело старшего сына художника Кириака Константиновича Костанди Павла, автор узнал, что Кириак Костанди с 1917 года, а после его смерти в 1921 году его младший сын Михаил, были хранителями Художественного музея на улице Софиевской (Короленко), 5а. Дом, где размещается музей, был построен одним из приближенных Екатерины Великой польским графом Станиславом Феликсовичем Потоцким. Будучи приверженцем России, у себя на родине С.Ф. Потоцкий был приговорен к смертной казни и бежал в Россию. В дальнейшем, как рассказывала мне нынешний хранитель музея Людмила Анатольевна Еремина, здание было куплено градоначальником Маразли и подарено городу, где 6 ноября 1899 года открылся музей. В 1917 году в штате музея было всего три сотрудника: хранитель и две уборщицы. Причем семья Костанди занимала часть помещений, расположенных в правом флигеле здания.

Как следует из материалов архивно-следственного дела художника И.С. Эмского-Могилевского, он после 1917 года вместе с профессором Зейлингером был организатором Одесского художественного народного музея (ныне — просто Художественный музей), а с 1924 года стал его директором. На этой работе он находился вплоть до ареста. Одновременно И.С. Эмский-Могилевский был официальным экспертом по определению художественных ценностей Отдела искусств в горсовете.

Скупые сведения об этом художнике, подвергшемся расправе в застенках НКВД, дают материалы его дела, на которое мне указал исследователь-краевед И. Комаровский.

Рассмотрим материалы дела Иви Савельевича Эмского-Могилевского, арестованного по обвинению в совершении преступлений по статьям 54-1, 54-10. В архиве УСБУ архивное дело имело № 5493-П, в ГАОО, в фонде 8065, описи 2, дело имеет № 1333.

31 августа 1937 года, согласно постановлению младшего лейтенанта государственной безопасности НКВД Дзинзиловского, "рассмотревшего материалы дела гражданина Эмского-Могилевского Иви Савельевича, 1887 г. р., беспартийного, гражданина СССР, проживающего по улице Ле-

* По материалам архивно-следственного дела ГАОО/ фонд 8065, опись 2, дело № 1333.

нина 44, кв. 6, совершившего преступления, выразившиеся в том, что он был связан с одним из иностранных консулов в Одессе, ставшим доверенным его лицом, выполнявшим работу шпионского характера, проводившего контрреволюционную агитацию, постановил начать по этому делу предварительное следствие".

В тот же день, 31 августа 1937 года, появилось постановление прокурора бригвоенюриста Черноглазова об аресте художника, а помощник начальника 4-го отделения III отдела УГБ УНКВД по Одесской области Федоров нашел, что, находясь на свободе, И.С. Эмский-Могилевской может укрыться от следствия и суда, постановил избрать мерой пресечения для Могилевского содержание под стражей в одесской тюрьме.

Последнее постановление было подписано кроме Федорова начальником отдела УГБ УНКВД младшим лейтенантом Гришиным и утверждено заместителем начальника Управления НКВД по Одесской области капитаном государственной безопасности Бабичем.

Был выписан для ареста художника ордер № 7543 и произведен обыск по улице Ленина, 44. При обыске присутствовал смотритель дома Олейников Василий Петрович. При обыске была изъята документация арестованного.

Из анкетных данных следовало, что Иви Савельевич Эмский-Могилевский родился 27 июля 1887 года в Одессе, работал с 1924 (по свидетельским показаниям — с 1922) года по день ареста директором Одесского народного художественного музея на улице Короленко и инспектором Отдела искусств при горсовете.

Отец И.С. Эмского-Могилевского — тоже художник — умер в 1930 году. Мать художника Рося Иосифовна, домохозяйка, проживала вместе с сыном Александром по улице Ленина, 44. Жена художника Эсфирь Клементьевна Могилевская после войны проживала на улице Мечникова, 88, квартира 10.

До революции И.С. Эмский-Могилевский был художником, после революции он был педагог и художник. В 1905-1907 годы И.С. Эмский-Могилевский состоял в Еврейской социал-демократической рабочей партии (ЕСДРП). У белых не служил, ранее не арестовывался.

Как указано в анкете, он получил высшее образование, а в 1913 году окончил художественное училище.

Соблюдая известный ритуал, арестованному художнику И.С. Эмскому-Могилевскому 23 сентября 1937 года было предъявлено еще одно по-

становление, "О привлечении в качестве обвиняемого". В нем было сказано, что якобы НКВД удалось установить, что "Могилевский связан с одним из иностранных консулов в Одессе, является доверенным его лицом по выполнению задания по шпионской деятельности и контрреволюционной агитации".

Постановление было подписано уполномоченным III отдела УНКВД Максимовым, согласовано с начальником III отдела старшим лейтенантом государственной безопасности Гришиным и утверждено начальником НКВД по Одесской области Бабичем.

Первый запротоколированный допрос И.С. Эмского-Могилевского состоялся 10 октября 1937 года. Допрашивал младший лейтенант государственной безопасности Дзинзиловский:

"**Вопрос:** Расскажите о своем участии в эсеровской партии.

Ответ: В эсеровской партии никогда не состоял. Но в 1920 году являлся начальником штаба Еврейской самообороны Одессы. Мне приходилось контактировать во время обороны Одессы с подпольными революционными организациями. Наш штаб находился по улице Базарной угол Треугольного переулка, а отделы находились в разных частях города: на улицах Успенской, Преображенской. На улице Мещанской находился штаб левых эсеров. Наши отряды были связаны с эсеровскими. Я имел печатный бланк, на котором было указано, что я являюсь инструктором эсеровских отрядов. Такое удостоверение давало мне право беспрепятственно проходить с отрядами самообороны в разные части города. А членом эсеровской партии я никогда не был.

Вопрос: Состояли ли вы в других партиях?

Ответ: Да, я состоял с 1905 по 1907 годы в Еврейской социалистической рабочей партии. В 1917 году, находясь в городе Костроме, я случайно узнал табличку с надписью "Комитет РСДРП "Паолей-Цион". В комитете партии оказались знакомы мне несколько человек, но никаких поручений их я не выполнил.

Вопрос: Посещали ли вы иностранные консульства в Одессе?

Ответ: Да, посещал по служебным делам, будучи художественным экспертом Одесской краевой инспектуры охраны памятников культуры, в том числе искусства. Для выявления предметов искусства я выезжал также и в Европу".

Следующий допрос директора Художественного музея на улице Короленко состоялся 9 ноября 1937 года:

"**Вопрос:** Сколько раз и какие консульства вы посещали?

Ответ: Точно не помню, но знаю, что летом 1927-1930 года я посещал два раза турецкое консульство и один раз итальянское, 3 раза немецкое консульство. При всех посещениях консулов наша комиссия по охране памятников культуры составляла по просьбе консулов акт на произведение искусства, вывозимое за границу, в двух экземплярах. Один экземпляр выдавался консулу или уезжавшему за границу лицу из консульства, второй экземпляр акта оставался в делах инспектуры.

Вопрос: Кто входил в состав комиссии по охране памятников культуры при посещении консульства?

Ответ: В комиссию входил профессор Дложевский, секретарь краевой комиссии, также сотрудник Смирнов и я как эксперт комиссии.

Вопрос: Были ли посещения консула, не связанные с вашей служебной деятельностью?

Ответ: Нет.

Вопрос: Встречались ли вы с консулами или их представителями не в здании консульства?

Ответ: Да, летом 1924 года я заходил в музей в художественно-выставочный отдел. Не помню, какого это было числа. Тогда же, по договоренности с уполномоченным НКВД товарищем Бару, я должен был принять туристов в общежитие, которое находилось при музее. Я взял на себя роль уполномоченного по размещению туристов из Германии, чтобы бесплатно обслужить их. Об этом я сообщил секретарю немецкого консула. (О работе немецкого консульства см. очерк о Теофиле Рихтере в 1-й части серии книг "Реквием XX века". — **В. С.)** В этот же день на базу приехал немецкий консул, посмотрел общежитие, дал инструктаж. На следующий день приехало около 20 человек, которые находились в общежитии около двух дней. Второго немецкого консула П. Ротта я встречал у себя в музее, куда он приезжал для ознакомления с процессом обновления — реставрации икон. Тогда с немецким консулом приезжал уполномоченный НКВД, фамилии не помню.

Вопрос: Кто еще из консулов или их представителей приезжал в музей?

Ответ: Итальянский консул приезжал четыре раза. Первый раз он пришел с председателем комиссии краеведения Е.А. Загоровским, второй раз он был с владельцем итальянского парохода "Ремма", который в это

время находился в Одессе. Третий раз он был с каким-то другим консулом, четвертый раз он посетил музей в 1937 году, в последний раз перед отъездом в Италию.

Вопрос: Откуда вам известно, что итальянский консул уезжал в Италию?

Ответ: При посещении музея он сказал мне об этом, что уезжает в Италию!

Вопрос: Консул знакомил вас с лицами, приехавшими с ним?

Ответ: Да, знакомил. Он назвал сопровождающего его консулом или консульским работником. Точнее не помню.

Вопрос: Японский консул посещал музей?

Ответ: Помню, что несколько лет тому назад в музей приходил японский консул. Он интересовался одной из картин Айвазовского, которая была выставлена в музее. Я лично его не помню. Об этом посещении мне сообщила сотрудница музея Глацких.

Вопрос: С кем из консулов вы встречались вне музея?

Ответ: Никогда ни с кем не встречался".

22 ноября состоялся третий допрос И.С. Эмского-Могилевского:

"**Вопрос:** Знаете ли вы итальянского консула Винарто?

Ответ: По фамилии Винарто — не знаю.

Вопрос: Знаете ли вы Сакараку?

Ответ: Не знаю!

Вопрос: В каких отношениях вы находились с Сахаровой?

Ответ: Мне как инспектору по изобразительному искусству и как представителю Организационного комитета Союза советских художников приходилось встречаться с разными людьми, посещающими музей. Так я познакомился и с Сахаровой.

Вопрос: Была ли она у вас дома или вы были у нее?

Ответ: Нет".

После перерыва допрос был продолжен:

"**Вопрос:** Знаете ли профессора Варнеке? (См. очерк о нем в 1-й части серии книг "Реквием XX века". — **В. С.**).

Ответ: Да.

Вопрос: При каких обстоятельствах вы с ним познакомились?

Ответ: Он преподавал историю искусств в университете и в художественной школе.

Вопрос: Как давно вы с ним знакомы?

Ответ: В Одессе в 1920 году я познакомился с профессором Варнеке, когда я был назначен уполномоченным для реорганизации художественного училища. Там я с ним и познакомился.

Вопрос: Вы бывали у него дома?

Ответ: Никогда.

Вопрос: А он у вас?

Ответ: Также нет.

Вопрос: Когда вы его видели в последний раз?

Ответ: В 1937 году в сентябре месяце на просмотре генеральной репетиции в Театре Революции пьесы "Лыширивна".

Вопрос: Вы беседовали с ним?

Ответ: Разговор происходил о пьесе "Лыширивна". Он собирался оставить чтение лекций в художественной школе. Я ему доказывал, что этого делать не следует.

Вопрос: Варнеке приходил к вам в музей?

Ответ: Да, бывал раза два со своими студентами по поводу чтения лекций по курсу истории искусств.

Вопрос: Лично к вам Варнеке приходил?

Ответ: Да, приходил в конце 1936 года, в начале 1937 года. Так как ему надо было составить коллекцию снимков характерных картин русской школы. Я оказывал ему в этом помощь".

В качестве свидетеля был допрошен один студент Художественного училища Трейстер И.Б., 1916 г. р., уроженец Херсона, отец умер, мать 52-х лет Людмила Алексеевна. К партиям не принадлежал. Допрос 7 ноября 1937 года проводил младший лейтенант Дзинзиловский:

"**Вопрос:** Знаете ли вы Могилевского?

Ответ: Знаю как директора музея.

Вопрос: Часто посещали его?

Ответ: Часто, так как библиотека музея находилась в его кабинете.

Вопрос: Иностранные студенты посещали музей?

Ответ: За мою бытность посещали чехи.

Вопрос: Кто приходил в музей из туристов?

Ответ: В основном, приходили знакомые Могилевского.

Вопрос: Часто они его посещали?

Ответ: Такие посещения были частыми. Его посещали художники, как из города, так и из окрестностей города.

Вопрос: Где он с ними беседовал?

Ответ: Беседы происходили, в основном, в кабинете. При беседах мне говорили из кабинета выйти.

Вопрос: Что вам известно о политических взглядах Могилевского?

Ответ: В его разговорах чувствовалась неискренность, он делал то, что ему выгодно. Иногда он говорил о своем недовольстве советской властью и ее руководителях".

"Добытых" материалов для следствия оказалось достаточно для составления обвинительного заключения по обвинению Эмского-Могилевского Иви Савельевича по статьям 54-1 и 54-10 УК УССР.

Содержание этого документа заключалось в следующем:

"В III отделение УНКВД по Одесской области поступили материалы дела о том, что Эмский-Могилевский был связан с иностранными консулами в Одессе и выполнял задания шпионского характера. На основании этого Эмский-Могилевский был арестован.

В процессе следствия было установлено, что Эмский-Могилевский систематически посещал консульства города Одессы. Будучи директором Народно-художественного музея, его часто посещали немецкий и особенно итальянский консулы. Характерно, что перед выездом итальянского консула из Одессы в Италию в 1937 году последний посетил музей в сопровождении представителя консула, с которым познакомил Эмского-Могилевского.

Следствием установлено, что Эмский-Могилевский с 1906 по 1907 годы состоял в городе Одессе в партии "Паолей-Цион", затем он эту связь возобновил в 1917 году в городе Костроме.

В 1919-1920 годы Могилевский, будучи начальником штаба еврейской самообороны в Одессе, был связан с левыми эсерами, которые выдали ему удостоверение о том, что он является инспектором эсеровских отрядов. Показаниями свидетеля Трейстера установлено, что Могилевский антисоветски настроен, высказывал недовольство советской властью и правительством.

На основании изложенного Эмский-Могилевский Иви Савельвевич 1887 г. р., уроженец города Одессы, беспартийный, гражданин СССР, бывший член партии Цион (еврейской), бывший директор Художественного музея обвиняется в том, что он

1. Поддерживал тесную связь с иностранными консульствами города Одессы, являясь подозрительным по шпионажу.
2. Выражал недовольство советской властью и правительством.

Виновным признал себя частично. Настоящие следственные материалы направляются на рассмотрение Судебной тройки при Одесском областном управлении НКВД по привлечению Эмского-Могилевского к уголовной ответственности.

Составлено 24 ноября 1937 года в городе Одессе.

Справка: обвиняемый Могилевский И.С. содержится под стражей в Одесской тюрьме и с сего числа перечисляется за Судебной тройкой.

Вещественных доказательств по делу нет. Личные документы в отдельном пакете".

Подписи под документом: сотрудник отдела УГБ старший лейтенант ГБ Дзинзиловский, начальник 4 отделения III отдела УГБ УНКВД сержант ГБ Раев, начальник III отдела УГБ УНКВД лейтенант ГБ Шнайдер, заместитель начальника УНКВД УССР по Одесской области капитан государственной безопасности Спектор.

26 ноября 1937 года состоялось заседание "тройки" при УНКВД по Одесской области. Приведем текст выписки из протокола № 87 этого заседания:

"Слушали: дело Эмского-Могилевского, подозревавшегося в связи со связью с иностранными консулами в шпионаже. Будучи антисоветской личностью, проводил контрреволюционную агитацию. Содержится в Одесской тюрьме.

Постановили: расстрелять".

Выписка была подписана секретарем "тройки".

В деле имеется документ, обычно следующий за выпиской из протокола заседания "судтройки".

Это выписка из акта, также датированная 26 ноября 1937 года, в которой подтверждается, что "протокол постановления тройки УНКВД по Одесской области за № 87 в отношении Эмского-Могилевского Иви Савельевича был приведен в исполнение".

Прошли годы. После XX съезда КПСС оказалось возможным родственникам исчезнувших в тюрьмах НКВД людей узнать об их судьбе, хотя предварительно соблюдался длительный ритуал их реабилитации, который заканчивался обычно ложным извещением о якобы естественной смерти арестованного в "местах не столь отдаленных". Примерно такие же события происходили после написания женой (вдовой) И.С. Эмского-Могилевского Э.К. Могилевской, проживавшей на улице Мечни-

кова, дом № 88, кв. 10, следующего письма на имя Генерального прокурора СССР:

"Мой муж Эмский-Могилевский Иви Савельевич был арестован 10 сентября в 1937 года.

На протяжении всех истекших лет о нем ничего не знаю. Он был директором Одесского народного художественного музея с 1924 года по день ареста и инспектором Отдела искусств (горсовета).

Так как мой муж безусловно пал жертвой злостной клеветы со стороны застраховщиков и врагов социалистического прогресса, очень прошу Вас пересмотреть его дело и реабилитировать его даже посмертно".

Письмо было написано 7 октября 1956 года.

Знаменательно, что большая группа членов Союза советских художников Украины и Ленинградского Союза художников, а также видные советские архитекторы, скульпторы, искусствоведы, общественные деятели, советские работники одновременно обратилась в советские органы с аналогичным по содержанию письмом с просьбой о реабилитации невинно убитого своего товарища. Вот текст этого заявления:

"Мы, нижеподписавшиеся члены Союза советских художников Украины и Ленинградского областного Союза художников: художники, архитекторы, скульпторы, искусствоведы, общественные деятели, советские работники, удостоверяем, что Могилевский нам известен с 1924 по 10 сентября 1937 года как директор Художественного музея Одессы, как человек, художник, советский работник, общественный деятель — с самой лучшей стороны во всей своей деятельности как вполне лояльный гражданин Советской страны.

Могилевский пал жертвой завистников, злостной клеветы со стороны застраховщиков, врагов социалистического прогресса.

Мы с полной уверенностью убеждаемся в том, что истина и справедливость восторжествуют, как торжествует Сталинская Конституция — защитница прав советских граждан".

Под письмом стояли многочисленные подписи.

4 декабря 1956 года заместитель прокурора Одесской области советник юстиции В. Дремов направил прокурору Одесского военного округа генерал-майору юстиции Попову А.И. следующее секретное сообщение: "В соответствии с приказом Генерального прокурора СССР от 1 августа 1956 года за № 85 направляю архивно-следственное дело по обвинению Эмского-Могилевского Иви Савельевича по заявлению гражданки Моги-

левской В.К. для разрешения вопроса по существу. О результатах прошу сообщить заявительнице. Приложение: по тексту".

Копия письма была направлена начальнику УАС КГБ УССР по Одесской области товарищу Лавринову В.Н. До этого по указанным адресам было направлено прошение жены И.С. Эмского-Могилевского и начался пересмотр архивно-следственного дела давно расстрелянного художника, директора созданного им же музея. При пересмотре дела допрашивалось четверо свидетелей.

Предварительно дело Эмского-Могилевского И.С. было направлено из III отдела УАС УКГБ в адрес прокурора Одесской области. 27 декабря состоялся допрос свидетеля по делу Эмского-Могилевского И.С. Фраермана Теофила Борисовича. Свидетель, уроженец Бердичева, 1883 г. р., проживал в Одессе по адресу: ул. Карла Либкнехта, 16, кв. 3. Допрашивал военный прокурор Одесского округа подполковник Кравцов:

"**Вопрос:** Какой период вы знали Эмского-Могилевского?

Ответ: Я его знаю с детства по день его ареста. Часто приходилось с ним встречаться, как на работе, так и на совещаниях.

Вопрос: Какую вы можете дать ему деловую и общественно-политическую характеристику?

Ответ: Считаю, что со времени моего знакомства с ним он проявлял себя как преданный советской власти человек, честный работник, добросовестно относившийся к своим обязанностям.

Вопрос: Что вам конкретно известно об антисоветской деятельности Могилевского?

Ответ: Мне лично о его антисоветской деятельности ничего не известно.

Вопрос: Принадлежал ли Могилевский к какой-нибудь антисоветской партии, что означает название "Паолей-Цион"?

Ответ: Мне неизвестно".

Следователь Кравцов допросил также в качестве свидетельницы старшего научного сотрудника картинной галереи, проживавшей в Малом переулке, 5, Гладких Марию Павловну, 1892 г. р.:

"**Вопрос:** Какой период времени вы знали Могилевского, в каких вы с ним были взаимоотношениях?

Ответ: Я его знала по совместной работе в Народном художественном музее с 1921 года до дня его ареста.

Вопрос: Какую вы можете дать ему деловую характеристику, каков у него был общеполитический характер?

Ответ: Я знаю его как культурного, честного работника, что он вместе с профессором Зейлингером был организатором Одесского художественного народного музея.

Вопрос: Что вам известно об антисоветской деятельности Могилевского?

Ответ: Мне ничего не известно. Мне просто кажется, что он был беспартийный большевик. Я ничего со стороны Могилевского антисоветского не слыхала. Он был хороший человек.

Вопрос: Поддерживал ли Могилевский связь с иностранными консулами?

Ответ: Я видела, как приезжал как-то немецкий консул (П. Ротт. — **В. С.**), и Могилевский показывал ему процесс реставрации картин.

Вопрос: Приезжали ли другие консулы?

Ответ: Я не помню ничего такого".

16 января 1957 года был допрошен в качестве свидетеля Леонид Самойлович Файленбоген, 1911 г. р., проживал по адресу: ул. Пушкинская, 6, кв. 1а. Свидетель работал художником Одесского театра музыкальной комедии, имел высшее образование, был учеником И.С. Эмского-Могилевского:

"**Вопрос:** Знаете осужденного?

Ответ: Знаю Могилевского с 1922 года, когда во вновь организованные трудовые школы пришли учителя-энтузиасты. Таким был Могилевский. Его обаяние, огромная преданность советской власти привлекло нас всех к нему. Его ученики общались с ним, посещая Художественный музей. Он привлек нас всех, появилось стремление к учебе. Он был патриотом советской власти, к нему не шел пришитый ему ярлык. Его можно сравнить с прозрачным кристаллом. Показания мною написаны собственноручно".

23 января 1957 года подполковник Кравцов допросил в качестве свидетеля Леонида Евсеевича Мучника, 1896 г. р., профессора Одесского художественного училища, проживавшего по адресу: Приморский бульвар, дом 5, кв. 6. Протокол допроса был записан следующим образом:

"**Вопрос:** Что вы знаете о Могилевском?

Ответ: Могилевского я знал с 1911 года, когда я поступил в Одесское

художественное училище на 3-й курс. Тогда Могилевский был на 5-м курсе. Когда в 1922 году я вернулся после службы в Красной Армии, то Могилевский был утвержден директором Художественного музея. Этот человек отдавал все свои силы искусству. Вся его деятельность была направлена на служение советской власти. Я был уверен, что Могилевский будет освобожден".

Следователи, ведущие пересмотр дела И.С. Эмского-Могилевского, послали повестки также другим людям, которые должны были выступить свидетелями, но по разным причинам этого сделать не удалось. Так, была послана повестка художнику Иссаку Брисовичу Трейстеру, 1916 г. р., уроженцу Херсона, но по сведениям адресного бюро, он по имеющемуся в бюро адресу не значился. Также не проживал по адресу: улица К. Маркса, дом 24, Бернадский Ю.Р.

Не значилась по имевшемуся в бюро адресу научно-технический работник Надежда Львовна Сахарова-Ирпетина, которая также подвергалась репрессиям и была осуждена на 10 лет ИТЛ. Повестка, посланная на ул. Короленко, 23, Л.В. Мациевской, не нашла своего адресата, так как Л.В. Мациевская умерла.

Помощник военного прокурора Одесского военного округа подполковник Кравцов, ведший дело, послал запрос относительно наличия компрометирующих И.С. Эмского-Могилевского материалов на имя начальника учетно-архивного отдела УКГБ по Одесской области полковнику Лавринову.

В ответ было получено следующее сообщение:

"В Управление Комитета государственной безопасности при Совете Министров УССР по Одесской области.

На Ваш запрос № 11397 от 3 декабря 1956 года сообщаем, что для Эмского-Могилевского Иви Савельевича, 1887 г. р., уроженца города Одессы, кроме сведений о судимости, — другими компрометирующими материалами не располагаем".

В результате 29 января 1957 года под грифом "Секретно" в Военный трибунал Одесского военного округа поступил протест в порядке надзора на постановление тройки УНКВД по Одесской области по делу Эмского-Могилевского Иви Савельевича со следующим текстом:

"Согласно постановлению тройки при УНКВД по Одесской области 26 ноября 1937 года был расстрелян Эмский-Могилевский Иви Савельевич, 1887 г. р., уроженец и житель города Одессы, гражданин

СССР, до ареста работал директором Народного художественного музея в городе Одессе.

Эмский-Могилевский Иви Савельевич обвинялся в том, что будучи директором Народного художественного музея, поддерживал связь с иностранными консульствами города Одессы, подозрительную по шпионажу, а также высказывал недовольство советской властью.

Эти действия квалифицированы по статье 54-1 "а" и 54-10 УК УССР.

Как видно из материалов дела, данные обвинения Эмскому-Могилевскому не предъявлялись, и обвинение было основано на неконкретных и сомнительных показаниях лишь одного свидетеля Трестера, который показал, что ему известно о посещениях Народно-художественного музея иностранными туристами и художниками города.

Трестер показал, что Эмский-Могилевский хотел казаться советским человеком, однако были случаи, когда он высказывал недовольство советской властью и ее руководителями. Но конкретно свидетель не указывает, в чем проявилось недовольство Эмского-Могилевского.

Других доказательств об антисоветской деятельности Эмского-Могилевского в деле не имеется.

Дополнительной проверкой, проведенной в порядке статей 363-370 УПК УССР, новых доказательств об антисоветской деятельности Могилевского не добыто.

Допрошенные свидетели: Фраерман, Гладких, Файленбоген, хорошо знавшие Эмского-Могилевского, охарактеризовали его только с положительной стороны.

УКГБ по Одесской области никаких компрометирующих данных в отношении Могилевского не располагает. При таких обстоятельствах Могилевский был обвинен не основательно, а поэтому, руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.08.1935 года, прошу постановление тройки при УНКВД в отношении Эмского-Могилеского Иви Савельевича отменить и дело о нем производством прекратить за отсутствием в его действиях состава преступлений".

Протест был подписан военным прокурором генерал-майором А. Поповым 28 января 1957 года.

Протест прокурора 5 февраля 1957 года был рассмотрен на заседании Военного трибунала под председательством полковника юстиции Горбачева и членов трибунала: полковника юстиции Левченко и капитана юс-

тиции Фрадкова. Трибуналом было принято следующее определение за № Н-092:

"Военный трибунал Одесского военного округа рассмотрел протест в порядке надзора военного прокурора Одесского военного округа на постановление тройки при УНКВД по Одесской области от 26 ноября 1937 года, на основании которого Эмский-Могилевский Иви Савельевич 1887 г. р. был расстрелян, был заслушан доклад Фрадкова и заключение военного прокурора Одесского военного округа подполковника Кравцова об удовлетворении протеста. Трибунал установил: Согласно постановлению тройки, Могилевскому вменялось в вину то, что он поддерживал подозрительную связь с итальянским и японским консулами в городе Одессе, а также в проведении контрреволюционной агитации и шпионской деятельности.

В протесте военный прокурор Одесского военного округа просит постановление тройки в отношении Могилевского отменить и дело о нем прекратить за отсутствием состава преступления.

В протесте показано, что в деле отсутствуют какие-либо доказательства по обвинению Могилевского. В отношении предъявленного обвинения Могилевский допрошен не был. По делу был допрошен только один свидетель Трешер, который не привел ни одного конкретного факта.

Допрошенные в порядке ст. 370 УПК УССР граждане Фраерман, Гладких, Фойленбоген, Мучник охарактеризовали Могилевского только с положительной стороны. Таким образом, Могилевский был репрессирован необоснованно.

Рассмотрение материалов дела и согласно доводам протеста военного прокурора Одесского военного округа, руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года, Военный трибунал определил: Протест военного прокурора Одесского военного округа удовлетворить. Постановление тройки при УНКВД по Одесской области от 26 ноября 1937 года в отношении Могилевского Иви Савельевича отменить и дело о нем на основании пункта "д" ст. 4 УПК УССР прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления".

Определение Военного трибунала было сразу же послано для выполнения начальнику учетно-архивного отдела УКГБ по Одесской области, которому вменялось в обязанность предъявить жене реабилитированного Иви Савельевича Эмского-Могшилевского Эсфири Могилевской, проживавшей на улице Мечникова, 88, кв. 10, результативную часть опреде-

ления. Сообщалось также, что, в соответствии с Указом Совета Министров СССР от 8 сентября 1955 года, жена осужденного может получить двухмесячную его заработную плату, начиная со дня его ареста.

Увы, все принятые определения и постановления никак не могли вернуть самого главного — незаконно отобранную жизнь художника И.С. Эмского-Могилевского.

Эсфири Клементьевне Могилевской была выдана справка с извещением о том, что "дело ее мужа Могилевского Иви Савельевича,1887 г. р. пересмотрено Военным трибуналом Одесского военного округа 5 февраля 1957 года. Постановление тройки от 26 ноября 1937 года в отношении Могилевского отменено и дело о нем прекращено за отсутствием состава преступления".

При получении справки Эсфирь Клементьевна подписала следующую расписку: "Мне, Могилевской Эсфири Клементьевне, выдана копия резултативной части определения Военного трибунала Одесского военного округа от 05.02.1957 года о реабилитации моего мужа. Получила 18 февраля 1957 года.

Объявил определение Военного трибунала старший уполномоченный УАС УКГБ по Одесской области капитан Калиновский".

Однако в полученной справке не было наиболее важной для семьи расстрелянного художника информации: жив он еще или умер, где похоронен, если умер. Тогда советским гражданам даже в голову не могло прийти, что государство в лице его служителей обманывает и скрывает страшный факт убийства ни в чем невиновного человека. Поэтому Э.К. Могилевская была вынуждена обратиться с новым письмом, на этот раз к начальнику Облуправления КГБ по Одесской области М. Куварзину:

"Мой муж, Эмский-Могилевский Иви Савельевич 1887 г. р., художник, в сентябре 1937 года был арестован в городе Одессе. С тех пор, несмотря на неоднократные запросы о нем, никаких сведений я не имею. В настоящее время мой муж за отсутствием состава преступления реабилитирован Военным трибуналом Одесского военного округа, пересмотревшем его дело 5-го февраля 1957 года (справка Военного трибунала № 643 от 7 февраля 1957 года).

Меня интересуют сведения о муже, в первую очередь, жив ли он, где находится, либо когда и где скончался".

Прежде чем дать ответ на письмо, начальник УАСО (Учетно-архивный спецотдел) УКГБ при СМ УССР по Одесской области Лавринов дал сле-

дующее указание заведующему Одесского городского бюро ЗАГС Исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся товарищу Кулибабе:

"Просим произвести запись о смерти гражданина Эмского-Могилевсекого Иви Савельевича, 1887 г. р., уроженца города Одессы.

По имеющимся данным, гражданин Эмский-Могилевский И.С. умер в местах заключения 18 июля 1944 года от упадка сердечной деятельности.

Свидетельство о смерти Эмского-Могилевского просим выдать гражданке Могилевской Э.К., проживающей в городе Одессе по ул. Мечникова, 88, кв. 10.

Дату выдачи и номер свидетельства просим сообщить в УАО УКГБ по Одесской области".

Соответствующие письма были направлены в Управление КГБ при Совете Министров УССР по Одесской области начальнику I спецотдела УМВД в Киев и начальнику I спецотдела УМВД в Одессу:

"В соответствии с директивой КГБ при Совете Министров СССР № 108 от 24.08.1955 года, просим произвести отметку в карточке ОСК осужденного в 1937 году тройкой УНКВД по Одесской области Эмского-Могилевского Иви Савельевича, 1887 г. р., проживавшего в городе Одессе по ул. Мечникова, 88, д. 10, о том, что он, находясь в заключении, умер от недостаточности сердечной деятельности 19 июля 1944 года. Смерть зарегистрирована в ЗАГСе.

О смерти осужденного Эмского-Могилевскиго Иви Савельевича объявлено его жене Могилевской Эсфири Клементьевне".

Письма были подписаны начальником учетно-архивного отдела УКГБ при СМ УССР по Одесской области полковником Лавриновым.

В соответствии с такой "удачно проведенной" спецоперацией, 27 февраля 1957 года жена расстрелянного получила следующую справку: "26.11 1937 года за контрреволюционную деятельность был осужден Эмский-Могилевский Иви Савельевич. Находясь в заключении, он умер от недостаточности сердечной деятельности 19 июля 1944 года. Местонахождение захоронения Эмского-Могилевского И.С. неизвестно".

Оставим этот документ без комментария.

Геннадий ГРЕБЕННИК

Записки обитателя одесского истфака*

4

Заведующий кафедрой истории древнего мира и Средних веков профессор *Петр Осипович Карышковский* (1921-1988) был легендарной личностью. Историк божьей милостью. В студенческой мифологии он занимал первое место среди всех наших преподавателей благодаря энциклопедизму, знанию живых и древних языков, экстравагантным манерам. Вот уж кто себя не держал в рамках! Ярко выраженный эпикуреец, любитель вина и любимец женщин. Ренессансная натура. Ходила легенда, что однажды он пришел к "вечерникам" в серьезном подпитии. Встал перед студентами, оперся рукой о стол для равновесия и начал читать лекцию... на латыни. Студенты быстро сообразили, в чем дело, и терпеливо слушали его, ничего не понимая.

Он имел манеру читать по дороге на работу. Высокого роста, худощавый, в очках с толстыми стеклами в роговой оправе, он ходил быстрой походкой, переваливаясь с ноги на ногу, как утка. При этом держал перед собой книгу и читал. Мог увлечься и врезаться в какое-нибудь препятствие, например, в столб. Тогда он производил коррекцию своего маршрута и продолжал движение дальше в том же положении, то есть с книгой перед глазами. И ничто его не отвлекало!

Еще при жизни его признавали выдающимся ученым и, судя по всему, это не было натяжкой. Во всяком случае, поговаривали, что у него была коллекция античных монет, которой мог бы позавидовать крупный музей. Ну, соответственно, и нумизматом он был мирового класса.

Я слушал его курс по истории Древнего Рима, когда ему было 53 года. Как ученый и лектор он был тогда в блестящей форме. Сказать, что он много знал, — значит ничего не сказать. Он рассказывал с такими подробностями о жизни римлян, как будто только вчера вернулся из путешествия по Древнему Риму на машине времени. Он с удовольствием нам пересказывал "свежие" римские анекдоты, которые подслушал во время своего путешествия. Главный интерес истории составляют не процессы и институты, а люди, активные деятели, герои в историческом смысле слова.

* Продолжение. Начало в кн. 45

Мы хотели иметь точное представление, что за люди были римляне. Благодаря каким свойствам этого народа они смогли создать мировую империю, неизменно побеждая своих врагов. И Петр Осипович сполна удовлетворял наш интерес. Мы слушали, затаив дыхание, получая истинное удовольствие от таких лекций.

Я уже сказал и хочу еще раз подчеркнуть, что высококлассного историка отличает знание исторических деталей. Вот я читаю свой изрядно пожелтевший конспект первой лекции Петра Осиповича. Она была посвящена историографии Рима. Мэтр говорил: "Римляне писали на накрахмаленном полотне густыми чернилами. Таким образом писалась государственная летопись". Казалось бы, незначительная деталь, но она вводит нас в древнеримскую цивилизацию. Ведь наша цивилизация до последнего времени была бумажной. Бумага для нас естественный материал для закрепления своей культуры. А римляне писали на полотне, египтяне — на папирусе и камне, ассирийцы — на глиняных табличках, древние славяне — на пергаменте и бересте.

Далее. "Наиболее известным историком из старшего поколения анналистов был Фабий Пиктор, живший в III до н. э. Он писал римскую историю на греческом языке". Во как! Не на государственном языке. А Рим — это сверхдержава древнего мира наподобие современной Америки. Впрочем, Пиктору повезло: он жил в условиях древнеримской, а не украинской демократии.

Еще одна цитата из конспекта лекции Карышковского: "Младшие анналисты писали в эпоху Суллы (в 80-70-е гг. I в. до н. э.). Их отличает то, что они часто выдумывают связные занимательные рассказы, красивые легенды, сплошь и рядом подделывают факты". И это нам хорошо знакомо и понятно по современному периоду украинской историографии. Ах, Петр Осипович, как вас не хватает на сегодняшнем истфаке!

...Спустя некоторое время, листая конспекты лекций Карышковского, я поймал себя на одной мысли. В сравнении с блистательным Петром Осиповичем Анна Михайловна Шабанова выглядела серой мышкой, но вот что любопытно: от ее курса у меня остались конспекты лекций и еще толстая тетрадь с конспектами работ рекомендованных ею авторов, а вот после Петра Осиповича я обнаружил в своей специально отведенной под его курс толстой тетради жалкие отрывки лекций. Она не была заполнена и на одну пятую часть.

Помню, какую сочную характеристику он дал всемогущему диктатору Сулле. Под конец своей жизни от нестерпимого зуда кожи Сулла боль-

шую часть дня проводил в ванне, а из его кожи под действием горячей воды выползали черви. Человек гнил заживо. Кошмар! Так вот, та двухчасовая лекция о сулланском режиме в моем конспекте уложилась в одну строчку: "78 г. до н. э. Скончался диктатор Сулла". Всё.

Свои эмоции от его лекций помню, а их содержание выветрилось напрочь. Петр Осипович артистически читал лекции, демонстрируя в самом выгодном свете свою потрясающую эрудицию. Мы просто забывали конспектировать и слушали, разинув рот, пребывая в полном восторге. Он, подобно волшебнику, захватывал нас и уносил в далекие миры, но... не учил. Артист, премьер, орел, но... не учитель!

Абсолютно не помню, как я сдавал ему экзамен. Кажется, он не вел у нас семинары. У меня сложилось мнение, что метод работы Карышковского со студентами заключался в том, что он не выделял никого из общей массы до тех пор, пока кто-то сам не выделялся и не начинал доставать его своими вопросами. Тогда он давал совет по поводу библиографии — почитать то-то и того-то. Если студент вновь появлялся перед ним и задавал осмысленные вопросы, он начинал приглядываться к такому студенту; следующий этап — он узнавал его в коридоре... Я думаю, это правильно.

Урок третий. Мастер должен ценить собственное время и, как говорится, не метать бисер перед свиньями. У преподавателя и студента задача, в общем-то, аналогичная: преподаватель ищет "своего" ученика, а студент — "своего" учителя. И оба одинаково испытывают "глубокое удовлетворение", если поиск увенчался успехом.

Я как-то зашел на кафедру истории древнего мира и стал невольным свидетелем картины, где Петр Осипович возбужденно показывал всем присутствующим то место в томе полного собрания сочинений Ленина, где вождь резко негативно отзывался об авангардной поэзии "горлана революции" Маяковского. Петр Осипович с явным одобрением цитировал это место. Видно, ему импонировало, что вождь оценивал стихи Маяковского не с партийной точки зрения, а с эстетической, и они Ленину, воспитанному на русской классике, не нравились. Маяковский в известной поэме написал: "Я себя под Лениным чищу", а Петр Осипович, судя по всему, терпеть не мог интеллигенции, находящейся в услужении власти. С другой стороны, и Пушкин удостоился его порицания в связи с известной эпиграммой на губернатора графа М.С. Воронцова ("полуподлец, полуневежда..."). Все же гению порядочность не повредит.

ПэО (так в стиле аббревиатуры величали Карышковского в его ближнем кругу) жизнь медом не казалась. У него были серьезнейшие пробле-

мы в личной жизни. Против него была настроена декан З.В. Першина. Его боготворили студенты, но он испытывал на себе отчужденность многих преподавателей. Преподаватели-фронтовики не могли простить ему "греха": в годы оккупации Одессы он учился в университете, который организовали румыны. Ему это вменялось в вину чуть ли не как коллаборационизм. По-моему, здесь примешивалась зависть к его феноменальному таланту. Ему отказывали в приеме в партию, то есть сама Система выказывала ему недоверие. Но все это, я полагаю, не могло генерально портить ему жизнь. Для человека уровня Петра Осиповича понятие карьеры слишком мелко, чтобы оно могло задевать его честолюбие. Он был Историком и знал на многих примерах истинный масштаб бедствий, отпущенных человеку. Он жил в эпоху сталинизма и был свидетелем того, как круто Система обходилась с людьми, забиравшимися слишком высоко по карьерной лестнице. По сравнению с ними у него были мелкие неприятности. Если и могло что-то доставлять ему настоящую боль, то это проблема собственного таланта, то есть проблема нереализованности. Я не был близок к ПэО, и могу в этом случае строить лишь одни предположения. Его библиография насчитывает более 170 названий. Но среди них нет ни одной крупной работы, достойной уровня его одаренности, мощи его интеллекта, широты познаний. Ни одной обобщающей работы по истории Рима, Византии, русско-византийских или русско-болгарских отношений. Нумизматика, согласитесь, слишком узкая специальность, чтобы вместить Петра Осиповича. Ни одного широкого полотна, достойного кисти такого мастера! Нереализованность — это бич провинции. Нереализованность — это червь, который выгрызает душу изнутри, поскольку свободный человек сам себе тюремщик.

...Скоро будет уже четверть века с тех пор, как Петр Осипович ушел из жизни. Ни одного антиковеда его уровня сегодня нет во всей Украине. И когда появится, и появится ли вообще, — сказать трудно. Кстати, ни одной книги, даже маленькой книжонки о нем до сих пор не вышло. А ведь немало людей считают удачей своей жизни личное знакомство с ним. Мне кажется, что настало время объединиться всем тем, кто его близко знал, с единственной целью: написать большую книгу-исследование о легендарном ПэО. Это — наш общий долг перед памятью Петра Осиповича, и перед Факультетом, и перед всей Одессой, истинным сыном которой он был.

Продолжение следует

Михаил ГАУЗНЕР

Сима, Иосиф, Надежда

Это был уже не первый разговор об эвакуации.

— Пойми, — говорил Иосиф, — в Одессе оставаться нельзя. Уже после "Хрустальной ночи" в Германии стало ясно — фашисты ненавидят евреев, и вы тут не выживете. Моя любимая сестра и ваша маленькая Симочка мне очень дороги. Услышь меня, Семен!



Семен Хари, родной отец Симы, и Сима

— Никуда мы не поедем! Я инженер, хороший специалист, знаю семь языков. Неужели ты думаешь, что дочь и жена мне менее дороги, чем тебе? Немцы — культурная нация и ценят образованных людей, по крайней мере, не меньше, чем малограмотные советские руководители. И хватит об этом, хочешь уезжать — уезжай, а мы остаемся.

Так Семен Хари, инженер-энергетик Одесской областной больницы, расположенной тогда на Слободке, решил летом 1941 г. судьбу всей своей семьи. После взрыва подпольщиками румынской комендатуры на ул. Маразлиевской он разделил участь нескольких тысяч других мужчин-евреев. Его обвинили в намерении взорвать больницу, где он работал, повесили на ее воротах и оставили висеть несколько дней. А Берта Хари, ее мать и двухлетняя Сима вместе с десятками тысяч одесских евреев должны были по приказу от 10 января 1942 г. в двухдневный срок явиться в созданное на Слободке гетто.

По-видимому, иллюзий насчет того, что их ждет, у Берты уже не было — румынские оккупанты успели проявить себя достаточно явно, и евреи оказались совершенно беззащитными перед любым солдатом или просто мародером и хулиганом. Поэтому отчаявшаяся женщина сделала единственно возможный и правильный шаг. Она собрала все ценности, которые еще оставались, отдала их жене дворника больницы, на территории которой они жили, и умолила ее взять к себе и спрятать маленькую Симочку.

Где погибли Берта Рувимовна и ее мать — неизвестно: в перенаселенном голодном гетто или на Пересыпи, бредя к станции Сортировочная по колено в ледяной воде под сильнейшим морским ветром в 20-градусный мороз; в набитом до отказа товарном вагоне или в одном из лагерей уничтожения вблизи Доманевки.



Берта Рувимовна, родная мама Симы

А маленькая Симочка выжила. Дворник с женой ее крестили под именем Маргарита и своей фамилией, держали то ли в кухне, то ли в сарайчике, кормили объедками, но жизнь сохранили. Хотя могли и выдать — ведь люди проявляли себя по-разному. Одни брали у обессилевших людей, которых гнали колонной по Пересыпи, драгоценности и вещи, провозили их на подводах несколько сотен метров и сбрасывали, чтобы взять новых несчастных. Другие, рискуя жизнью, принимали вытолкнутых из той страшной колонны детей и прятали их в потайных местах. К сожалению, такие случаи были единичными.

Всегда голодная, завшивленная, в отрепьях, Сима была лишена не только самых необходимых для маленького ребенка вещей — еды, одежды, игрушек, — но и общения. С ней, такой грязной и оборванной, дети не хотели играть. Однажды дочь главврача больницы, ровесница Симочки, пожалела ее, позвала к себе домой и угостила необыкновенным лакомством — редиской с постным маслом. Сима успела съесть только один кусочек, когда пришла мама девочки и раскричалась: "Зачем ты ее привела? Она грязная, больная, а ты еще редиску ей дала!". Сима заплакала и убежала. С тех пор она никогда редиску не ест...

День освобождения Одессы Сима запомнила — семья дворника ела мамалыгу с постным маслом. Сима, голодная, стояла у окна полутемной узкой дворницкой и мечтала, что теперь все изменится, и ей тоже иногда будут давать такую вкусную еду.

Иосиф Рувимович с красавицей-женой Надей, которая была моложе его на 19 лет, приехали в Одессу одними из первых. Выпускник Горного института, посланный для получения высшего образования в Германию, владевший несколькими иностранными языками, инженер высокой квалификации и руководитель с многолетним опытом, он был направлен на-



Иосиф Рувимович, приемный отец Симы



Надежда Морисовна, приемная мама Симы

чальником областного управления промышленности стройматериалов, так необходимых для восстановления разрушенной Одессы.

Естественно, прежде всего, приехавшие бросились на поиски своих родных и каким-то образом вышли на семью дворника. Радости не было предела — маленькая Симочка выжила! Это хоть немного притупило у Иосифа Рувимовича боль от гибели матери и любимой сестры, и они с женой начали оформление удочерения девочки (своих детей у них не было).

А Сима пока оставалась там, где жила. Иосиф привез ей платьице — первое в ее жизни, повязал на грязные волосы бант, пытался по возможности отогреть этого зажатого и запуганного ребенка. Однажды он где-то достал и дал Симочке невиданное лакомство — шоколадку, но она не знала, что с этим делать. Когда Иосиф ушел, старшая дочь дворника отобрала шоколад со словами: "Отдай, это гадость, это сушеное г..., его нельзя есть".

Через месяц, в День Победы, Симе впервые дали черный хлеб с постным маслом. Обычно ее такими вкусностями не баловали. Восторг, испытанный тогда, запомнился ей на всю жизнь — даже сейчас иногда, удивляя окружающих, она ест это кушанье с наслаждением.

Поиск документов, подтверждающих близкое родство, оказался делом сложным, так как архивы не сохранились. Семья дворника заявила, что Сима — их дочь, и предъявила справку о ее крещении под своей фамилией. Вскоре все стало ясно — они потребовали деньги, и немалые.

Иосифу Рувимовичу пришлось продать построенную им до войны и чудом сохранившуюся дачу на 10-й станции Большого Фонтана и расплатиться за согласие на удочерение Симы — это было необходимо для оформления в райисполкоме, которое, наконец, состоялось. Казалось бы,

все благополучно завершилось. Симе объяснили, что она потерялась на вокзале перед отъездом в эвакуацию, и ее тогда не смогли найти. Потом она жила у чужих людей, а теперь приехали ее настоящие папа и мама, и она будет жить с ними.

Так Сима обрела новую семью. Первое время было очень трудно — девочка всего боялась, плакала, кричала по ночам, никак не могла выйти из запущенного болезненного состояния. Надежда проявляла бесконечное терпение и нежность, привлекала врачей, отмывала ребенка от многолетней грязи, выводила керосином вшей.

Но злоключения на этом не закончились. Старшая дочь дворника нашла Симу, когда взрослых не было дома, и сказала: "Это евреи, они пьют кровь маленьких детей. Быстро уходим домой, а то они тебя убьют!". Конечно, перепуганная пятилетняя девочка послушалась свою так называемую старшую сестру и убежала вместе с ней. Снова пришлось искать, нервничать и дополнительно платить.

Очень медленно возвращалась Сима к нормальной жизни. Этому способствовали хорошие условия, две больших благоустроенных комнаты, хоть и в коммунальной квартире, где жили 36 человек (в разрушенной послевоенной Одессе Иосиф Рувимович не считал для себя возможным требовать большего), а главное — доброта и любовь, которых этот ребенок не знал, сколько себя помнил.

Два года перед школой Сима плохо развивалась физически, с трудом преодолевая дистрофию. К семи годам она производила впечатление пятилетней — маленькая, хилая, тщедушная, постоянно болеющая. Надежда не отдала ее в детский сад и полностью посвятила себя этому, по сути, чужому ей ребенку.

Постепенно Сима начала приходить в себя, и из запуганного существа становилась веселой и непоседливой девочкой своего возраста. Она не только с интересом училась, но и посещала в Доме ученых кружки английского языка, ритмики, а главное — хореографический кружок у А.Б. Рындиной, которая говорила, что у девочки балетное будущее.

Кроме того, Надежда, окончившая до замужества рижскую консерваторию, считала необходимым музыкальное образование дочери. Она взяла напрокат пианино, и Сима поступила в музыкальную школу.

Трудно себе представить, как девочка могла успевать всем этим заниматься. Но Надежда сумела пробудить в Симе разносторонние интересы, и вчерашний заморыш, которую до пятого класса водила в школу мама, делала все это с удовольствием.



Надежда, Сима, Иосиф

Иосиф Рувимович много и успешно работал, занимаясь не только руководством предприятиями своего управления, но и исследованиями. Прекрасное образование и разносторонние неординарные способности привели его к серьезному результату — он разработал способ и технологию производства заменителя кирпича из строительного мусора и обломков разрушенных зданий.

Это предложение стало решением проблемы производства стройматериалов не только в Одесской области, на территории которой нет глины — сырья для изготовления кирпича, но и во многих других регионах страны, ведущих восстановительные работы.

Работа Иосифа Рувимовича была настолько значительной, что ее представили на престижную всесоюзную премию.

В конце 1949 г. премия была присуждена, и вскоре лауреата пригласили в Москву для ее получения. Обратно в Одессу он не вернулся. Через некоторое время Надежду вызвали к следователю, который сообщил об аресте мужа, предъявил для опознания фотографии неизвестных мужчин и спросил, знакомы ли они ей. Оказалось, что Иосиф арестован как изменник Родины, обвиняется во встречах с американскими шпионами и передаче им сведений, содержащих государственную тайну.

Через несколько дней после вызова к следователю ночью пришли несколько человек и предъявили ордер на обыск. Перевернули все, вели себя грубо. Сима много лет не могла вспоминать это без переживаний.

У Иосифа Рувимовича была прекрасная библиотека, значительную часть которой он привез после обучения в Германии, — много литературы по специальности, серия из 12 книг о животных (в переплетах, инкрустированных слоновой костью), гербарий с тисненными обложками из натуральной кожи, большая энциклопедия, разнообразная художественная литература.

Все это со злостью швыряли на пол, бегло просматривали, а затем увезли с собой.

Иосиф Рувимович получил восемь лет лагерей. Надежда, по сути, не имевшая реальной специальности, осталась вместе с Симой без средств к существованию.

В приеме на работу всюду отказывали. С большим трудом она устроилась в киоск "Союзпечать". Многие знакомые уговаривали отдать Симу в детский дом — ведь девочка ей не родная, а рассчитывать на скорое возвращение Иосифа не приходится. С такими людьми Надежда сразу прекращала отношения.

Сколько трудностей и невзгод выдержала эта необычно красивая и гордая женщина, сколько любви и преданности проявила! Она делала все, чтобы Сима могла, хотя бы по минимуму, не испытывать лишений.

От платных кружков Дома ученых пришлось отказаться, но в музыкальной школе девочка продолжала учиться и впоследствии успешно ее окончила.

Когда Иосиф Рувимович был благополучным, известным и неплохо обеспеченным человеком, у его семьи было много друзей. После ареста большинство из них перестали общаться с Надеждой. Исключением были только двое — директор Дома ученых Мария Зиновьевна Зданевич и юрист Б. Апатовский. Они, рискуя своим положением, поддерживали Надежду, как могли. Такое, конечно, не забывается.

Первое время помогали родственники, потом она стала продавать то, что имело хоть какую-то ценность, и посылала Иосифу ограниченно разрешенные продовольственные посылки, не зная, получает ли он их.

Надежда понимала, что ей, жене изменника Родины, угрожает ссылка. Она попросила помогавшего ей своего двоюродного брата, известного харьковского профессора-терапевта Когана-Ясного, взять к себе Симу, если это произойдет.

Через некоторое время сам профессор был арестован по "делу врачей-отравителей".

В том, что ее добрый, веселый, умный, самый лучший в мире папа не может быть изменником Родины, десятилетняя Сима не сомневалась ни минуты, но разубеждать в этом одноклассниц и подруг очень не хотелось. Поэтому она уверяла всех: "Папа в длительной командировке".

К чести учителей и администрации школы, которые не могли не знать правды, нужно отметить — в классе об этом так и не узнали.

Как большинство детей того времени, Сима расплакалась, услышав о смерти Сталина. Надежда подошла к ней, обняла и сказала: "Не плачь, дочка. Вот увидишь — скоро наш папа вернется". Дальше эту тему она не

развивала, а четырнадцатилетняя девочка интуитивно почувствовала, что спрашивать не надо.

Прошло шесть очень трудных лет, Сима уже училась в десятом классе. Однажды днем раздался телефонный звонок, и мужской голос попросил позвать к телефону Надежду. Узнав, что мама на работе, он спросил: "А сколько тебе лет, девочка?" — "Шестнадцать", — "У тебя есть деньги?" — "Нет", — "Одолжи у соседей, возьми такси и приезжай на угол Бебеля и пер. Грибоедова. Такси не отпускай. Никого ни о чем не спрашивай. К тебе подойдет мужчина, ты его узнаешь".

Сима одолжила у соседки деньги и приехала на указанное место. Там стоял какой-то небритый беззубый старик в ватнике, который посмотрел на нее и сдавленным голосом сказал: "Доченька!". Это был отец, которого она помнила элегантным и подтянутым.

До прихода жены с работы он успел вымыться, побриться и переодеться, но шока избежать все же не удалось.

Иосиф Рувимович старался не говорить о пережитом, хотя кое-что все же рассказал. Во время допросов ему переломали ребра, а когда он в бешенстве попытался запустить в следователя пепельницей, с ним случился первый инфаркт. Потом, уже в лагере, был еще один.

После смерти Сталина стало полегче, и он работал там инженером, внедряя технологию, за которую так и не получил премию, а затем был полностью реабилитирован.

Через несколько дней после возвращения ему позвонил Михаил Матвеевич Пахомов, который раньше был его первым заместителем, главным инженером управления, а после ареста — начальником, и пригласил его прийти на работу. Немного отдохнув, придя в себя, вставив зубы, Иосиф Рувимович с естественным волнением перешагнул порог своего бывшего кабинета. Пахомов обнял его и сразу усадил не на стул посетителя, а в свое кресло со словами: "Ваше место — только здесь!". Вскоре с подачи Пахомова Иосифа Рувимовича восстановили в должности начальника управления. Так благородно поступали, мягко говоря, не все.

Недаром говорят, что работа — лучшее лекарство. Иосиф Рувимович активно включился в исполнение своих прежних обязанностей. Он расправил плечи, к нему постепенно возвращалась его прежняя бодрость, жизнерадостность, уверенность в себе. Приходил на работу рано и выглядел в своем строгом костюме с неизменно белой рубашкой и галстуком помолодевшим.

Ежедневно в первый утренний час он просил его не беспокоить — просматривал почту, обдумывал решения возникающих проблем, задания подчиненным, и только потом приглашал секретаря.

Так продолжалось почти восемь месяцев. Однажды утром он был необычно весел, даже провальсировал с Надеждой под музыку из радиоприемника, потом с улыбкой поехал на работу и, как обычно, работал с документами.

Но через час, как всегда бывало, вызова не последовало. Когда прошло еще полчаса, секретарь рискнула заглянуть в кабинет и увидела, что начальник спит, положив голову на руки. Такого с ним не случалось никогда. Это был инфаркт, третий, но смертельный. Говорят, что такой смертью умирают праведники.

После окончания школы Сима попыталась поступить на факультет иностранных языков. На всех экзаменах, кроме одного, получила пятерки, и только по украинскому языку четверку, но принята не была и пошла работать. Впоследствии высшее образование Сима получила заочно, окончив университет.

В девятнадцать лет она начала встречаться со студентом одного из одесских институтов, приехавшим из Крыма.

Ровно год, без выходных и праздников, эти молодые влюбленные ежедневно проводили каждую свободную минуту вместе. Затем они решили пожениться, жених сообщил об этом своим родителям и пригласил их в Одессу для участия в регистрации брака. Увидев совсем юную девчонку в тапочках и простеньком платьице, прибежавшую в обеденный перерыв для знакомства с будущими родственниками, отец жениха сказал: "Мать, к нам вернулась наша дочь!".

Смысл сказанного Сима поняла только в Крыму, в доме родителей мужа, куда они все уехали на следующий день после скромной свадьбы. Свекровь достала из семейного альбома фотографию маленькой девочки в гробу.

Когда Сима прочитала надпись на обороте фото, у нее перехватило дыхание — она увидела СВОЕ имя, СВОЮ новую (по мужу) фамилию и дату смерти девочки, буквально соответствующую дню, месяцу и году СВОЕГО рождения.

Вот что имел в виду ее свекор, сказав жене о возвращении к ним их дочери.

Вы можете сказать, дорогой читатель, что так не бывает. Такое совпадение невероятно. Тем не менее, это — не досужая фантазия автора, а истинная правда.

Вот и попробуйте не верить после этого в мистику и в судьбу!

Надежда дожила до весьма преклонного возраста. Дочь, с которой она все годы провела вместе, узнала о своей истории только после смерти матери, найдя в ее документах выписку из решения исполкома об удочерении. Родственники в ответ на вопросы вынуждены были рассказать правду, объяснив свое многолетнее молчание данным Иосифу и Надежде словом.

Сима и теперь продолжает жить в Одессе. У нее прекрасный муж, любящий сын, невестка, два замечательных внука. О событиях своего детства она старается не вспоминать — слишком тяжело.

В этом очерке намеренно не названа фамилия его основных героев. Имя Симы в действительности тоже не такое — она не хочет быть узнанной, не хочет лишних вопросов и выражений сочувствия.

В сегодняшней непростой жизни многие считают, что возвращение к описанным здесь темам и событиям несвоевременно, и их не нужно вспоминать. Думаю, это неправильно.

Мудрые люди говорили: "Кто не помнит прошлого — обречен на его повторение". Наши дети и внуки должны знать о тех страшных годах и сделать все, чтобы они не могли повториться.



Ростислав АЛЕКСАНДРОВ

Четыре угла

От редакции. Первые четыре номера нашего альманаха (год рождения – 2000) открывались небольшими, но удивительно емкими замечательными очерками известного краеведа Ростислава Александрова о четырех углах двух легендарных одесских улиц, Дерибасовской и Ришельевской. Эти первые номера альманаха спустя 10 лет стали библиографической редкостью, и мы вновь публикуем эти материалы для новых читателей.

Улица – элемент городской структуры. И подобно тому, как каждая клеточка организма содержит его генетический код, каждая улица в своей истории содержит нечто специфичное для города, коему она принадлежит. На перекрестках двух улиц их история, резонируя, создает "мемориальное поле" такой напряженности, что, только ступи сюда, как оно пронзит тебя, генерируя в памяти не только давно забытое, но, казалось, никогда не ведомое.

И если это относится к каждому перекрестку, то что уже говорить о таком, как Дерибасовская угол Ришельевской... Здесь отдает негромкой прелестью Пушкинской, изяществом Ланжероновской, искрометностью Дерибасовской, респектабельностью Ришельевской, а вокруг "годовыми кольцами" отложилась веселая, печальная, мудрая, бестолковая, трагичная, счастливая и неповторимая двухсотлетняя история прекрасного города. Доказать это можно только рассказами о каждом доме на Дерибасовской угол Ришельевской и самим содержанием альманаха "Дерибасовская – Ришельевская", дай ему Бог, как говорили в Одессе, "здоровья, счастья и немножко деньгами".

Четвертый угол. Продолжение традиции

Годы неумолимо бегут все в одном и том же направлении и, может быть, единственным утешением остается "времен стремительная связь", которая, проявляясь порой неожиданно, бывает особенно впечатляющей.

Более полувека выстроенному на месте разрушенного в войну зданию банка на Дерибасовской угол Ришельевской. Многие вообще считают, что оно возвышается здесь испокон веку, а ведь я еще знавал, расспрашивал, выслушивал тех, кто помнил его "предка". Это был длинный двухэтажный, но приземистый дом милой провинциальной архитектуры с двускатной железной крышей, небольшими окнами, над которыми летом нависали полосатые тенты-маркизы, тупо срезанным углом и балконом с алебастровыми балясинами.

До 1838 года этот дом принадлежал некоему Мясникову, после него – Посилину, только вне зависимости от этого большую часть XIX века здесь

помещались главным образом мастерские ремесленников, но, сообразно расположению в центре города, самого высокого класса. Знаменитый Триниte сегодня наверняка стал бы лауреатом самого престижного конкурса парикмахерского искусства; одесские матроны в платьях модистки мадам Дютфуа выглядели совершенно неземными созданиями; часовщик Вейс мог вдохнуть жизнь и в массивные каминные часы с нежными фарфоровыми незабудками, и в драгоценный золотой брегет "с мушкой"; сапожник Басейс шил башмаки "исключительно в истинно французском виде"; оружейный мастер Роберт равным образом "доводил до ума" допотопное кремневое ружье и новейшей модели пистонный пистолет работы известного мастера Ульбриха из Дрездена; с шапками "от Кваша" просто жалко было расставаться по окончании зимы, а "король" одесских портных Наполеон-Луи Лангле из Парижа трудился над каким-нибудь фраком, как скульптор над мрамором или банкир над деньгами.

Почтенные одесские негоцианты не имели тогда интерес всеми правдами и неправдами сорвать сиюминутный куш и опосля прикрыть заведение. Наоборот, они исподволь наращивали капитал и нарабатывали репутацию фирмы, вели дела с дальним прицелом, с перспективой продолжения их детьми и внуками. Так, в 1850 году в доме Посилина открылась "Купеческая контора Фендериха", несколько лет спустя тут же появился его мануфактурный магазин, потом, породнившись с Беллино, Фендерихи основали крупнейшее в Одессе промышленное "Товарищество Беллино-Фендерих". А "золотых и серебряных дел мастер" М. Пуриц, еще в 1832 году записанный в купцы 3-й гильдии, передал свою торговлю часами и ювелирными изделиями сыну; тот, в свою очередь, успешно продолжил прибыльную отцовскую коммерцию и на рубеже 60-70 годов XIX века даже откупил дом Посилина, а внук поставил фамильное дело на столь широкую ногу, что в 1892 году поимел возможность возвести на этом месте респектабельное двухэтажное здание, изначально приспособленное для предприятий крупного бизнеса.

В первые десятилетия XX века здесь кроме "Магазина бриллиантов, золота, серебра и карманных часов Пурица", о котором Валентин Катаев написал, что он считался лучшим на всем Юге России, пребывала "Придворная (знай наших!) фотография" Бернарди, "Модно-мануфактурный и галантерейный магазин" Бобовича, деда одесских поэтов 1920-х годов — братьев Бориса и Исидора Бобовичей, постоянная выставка-продажа автомобилей английской фирмы "Рустон Проктор и К°"... Тут же, в магазине Лурье, каждый уважающий себя шофер мог обзавестись кожаной ту-

журкой, фуражкой и перчатками со щегольскими раструбами, а дамы, важно восседавшие в новоявленных, тогда еще открытых "механических экипажах", жеманно кутались в роскошные меха, приобретенные в "Меховой торговле Когана"...

Для старой Одессы была характерна преемственность, долголетие и исключительное постоянство расположения торговых заведений. К примеру, в домах Мясникова-Посилина-Пурица начиная с первой трети XIX века и вплоть до 1900-х годов последовательно помещались винные погреба Вантра, Нуво, Цезаря Гинанда, принадлежавшая Г. Британову "Виноторговля Поставщика Двора Его Величества Короля Сербии". И поклонники солнечного напитка могли отыскать эти достославные заведения, что называется, с закрытыми глазами, руководствуясь годами исхоженным маршрутом и благородными устремлениями души.

Ровесником винного погреба в доме Мясникова был книжный магазин Сорона, который лишь в 1866 году уступил место магазину Руссо, а тот, "перешагнув" в новый дом Пурица, продержался там аж до "окаянных", по выражению Ивана Бунина, дней. Некоторые солидные книжные магазины помимо торговли когда-то занимались издательской деятельностью, потому что кому как не книгопродавцам дано чувствовать конъюнктуру этого специфичного рынка. В 1913 году стараниями магазина Руссо вышла великолепная книга "летописца-романтика" нашего города Александра де Рибаса "Старая Одесса". Ее факсимильно переиздали уже в преддверии двухсотлетия Одессы, а немногие сохранившиеся экземпляры первого тиража уже давно стали библиографической редкостью, являют собою гордость их владельцев и вожделенную мечту ими не обладающих. И отдельной строкой в историю дома Пурица в частности, да и книжной торговли в целом, должно быть вписано одесское отделение книжного магазина "Товарищество А.С. Суворина "Новое время", которое в 1889 году неоднократно посещал А.П. Чехов и даже подружился с управляющим. С литературными реминисценциями опосредованно связано и помещавшееся тут с 1911 года отделение Сибирского торгового банка, в котором служил бухгалтером А. Файнзильберг, отец Ильи Ильфа. Если же вспомнить, что в старом и новом домах Пурица были когда-то еще банкирские конторы Гринфельда и Люльки, а перед войной областная контора Госбанка, то нынешнее размещение здесь отделения Национального банка Украины вполне можно считать продолжением давней традиции, только жаль, что пока одной...

Татьяна РЫБНИКОВА

Ришельевская: от театра до вокзала

По сложившейся доброй традиции ко Дню рождения города, 2 сентября, Литературный музей и АО "ПЛАСКЕ" выпускают Одесский календарь. В 2010-2011 году он был посвящен улице Маразлиевской, в 2011-2012 – Ришельевской. Автор статьи Т. Рыбникова – сорудник музея, составитель нынешнего календаря.

По одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о существовании океана, утверждал известный персонаж Артура Конан-Дойла.

Что такое история одной улицы? Воспоминание о людях, которые там жили и работали? Память камней, которые видели мир, ныне затонувший в океане времени? Свидетельство образа жизни или отголосок образа мысли прошлого? Это часть истории рождения и развития, строительства и бытования города, соразмерного человеку. Города, который не подавляет, но поднимает и помогает проявить лучшее в характере и дарованиях.

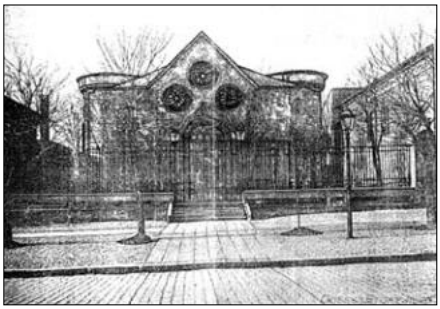


Дом Нолле, построен в 1901 г. Архитектор Е.Н. Смидович

Совместный проект АО "Пласке" и Одесского литературного музея, "Одесский календарь" на 2011-2012 год (от основания города 217) посвящен истории улицы Ришельевской, и это прекрасный повод вспомнить историю, а также задуматься о настоящем и о будущем...

В 70-80-х годах XX века философы, архитекторы, искусствоведы (Ю.М. Лотман, Д.В. Сарабьянов, А.В. Иконников) говорили о том, что творчество, в том числе архитектура, – это выражение присущего данному времени человеческого "смысла бытия". В результате этого рождается феномен стиля. Стиль выражает высшие ценности, идеалы эпохи. Как писал Ю.М. Лотман, "к сознанию человека подключаются сложные этические, религиозные, эстетические, бытовые и другие семиотические нормы, на фоне которых складывается психология группового поведения". Камни хранят память исчезнувших миров.

Давайте пройдемся по улице Ришельевской, полюбуемся пышными формами венского барокко и вглядимся в скромные фасады самых старых



Троицкая, 33, угол Ришельевской, 31
Одесская караимская кенасса. Справа виден дом, в котором размещалась начальная караимская школа для детей обоего пола. Снесена в 1930-е годы



Ришельевская, 41
Этот старый дом охотно рисовали художники

домов. Давайте вспомним жителей этих домов и попытаемся увидеть наш родной город таким, каким сто лет назад его видели они. Нам поможет в этом пристальный и тревожный взгляд Сергея Котелко (современные фотографии), скрупулезная бережность коллекционера Анатолия Дроздовского (старые открытки) и справочник "Вся Одесса" за 1912 год.

...Еще не началась первая мировая война, которая накроет черным крылом XX век... Но уже родились, уже живут, учатся, ходят по одесским улицам, впитывают осознанно или неосознанно их архитектурные уроки одесские мальчики: будущие писатели и поэты, художники, врачи и учителя...

Мир, который мы увидим за фасадами старых домов улицы Ришельевской, — это мир, создаваемый личностью, человеком, берущим на себя ответственность за свое дело.

На Ришельевской находилось не менее четырнадцати разнообразных учебных заведений: тут и женская гимназия Анны Эммануиловны Гецельд, и Еврейское мужское училище III разряда Я.Я. Вассермана, и Школа танцев, пластики и мимики Н.С. Бальц, и всевозможные курсы: бухгалтерии, стенографии, каллиграфии, и прочая, и прочая — вплоть до музыкальных курсов свободного художника М.П. Фидельмана. (Вопрос на засыпку: сколько учебных заведений можно насчитать на улице Ришельевской сегодня?)

Справочник "Вся Одесса" сообщает не только адрес и телефон учебного заведения, но с величайшим пиететом приводит имена преподавателей: Борис Федорович Цомакион преподает латынь в женской гимназии А.Э. Гецельд, Василий Иванович Подлесный читает географию, фи-

зику и естественную историю, арифметике обучают Александра Сауловна Гецельд и Дебора Цекиновская (не родственница ли она Якову Петровичу Цикиновскому, который вел физику в легендарной одесской школе № 116 в 1960-70-е годы?) Преподаватель рукоделия и кройки — Мария Григорьевна Колодная... Примечательно, что в справочнике не просто указана фамилия преподавателя, но также имя и отчество обозначены не инициалами, а дано понятное сокращение: "препод.: рукод. и кройки: Колодная, Мар. Гр.; кл. наставн.: Тригер, Роз. Мих.; Дорнер, Ел. Абр.; Колодная, Дора Григ.; Ткач. Соф. Ил.; Гельфенбейн, Мар. Мих.".



Ришельевская, 15-17. Доходный дом Райха XX век. Архитектор С.С. Гальперин Здесь жил Исаак Бабель



Ришельевская, 31 Доходный дом Одесского караимского общества 1913 г. Архитектор А.С. Пампулов

Чувствуется, что учебные заведения — будь то гимназия или училище — гордятся своими преподавателями. Учитель — уважаемый известный человек. Престиж учебного заведения зависит от качества преподавания, а жизненный успех учеников — от образования, которое они сумели получить...

Начальное училище для детей обоего пола Одесского караимского общества извещает, что у них работает зубной врач Самуил Маркович Казас. Если сообщение о присутствии зубного врача не отпугивало учащихся от учебного заведения, то можно предположить, что Самуил Маркович был известен как хороший дантист и добрый человек.

За медицинской помощью одессит начала прошлого века мог обратиться к частнопрактикующему врачу. На Ришельевской их около тридцати, разных специальностей. Женщина-врач фигурирует в отдельной рубрике: Розалия Наумовна Зайдеман-Розенфельд, специалист по детским



Ришельевская, 11
Доходный дом Баржанского (1875-1878 гг.)
Архитектор Ф.В. Гонсиоровский



Ришельевская, 55. Доходный дом Поповича
1891 г. Архитектор Ю.И. Серадзкий

и женским болезням, принимает больных по адресу Ришельевская, 42.

А вот в доме № 11 обосновались сразу три медицинских учреждения: аптека и химико-бактериологический кабинет Л. Шпанира; оспопрививательный институт д-ра А.М. Линтварева и химико-бактериологический кабинет и рентгеновский институт д-ра Я.М. Розенблата.

Отдельная, чрезвычайно интересная тема, еще ожидающая своего исследователя, — разнообразные общества в Одессе: благотворительные, общества взаимопомощи, спортивные, просветительные, клубы и собрания. Все это сейчас называется "гражданское общество", и в построении этого самого гражданского общества мы не очень преуспели. А между тем сто лет назад существовали и успешно работали на пользу и на радость одесситам: Общество взаимопомощи лиц, занимающихся письменным трудом (Ришельевская, 12, к-ра нотар. Константинова), Общество караимов для распространения просвещения и взаимного вспомоществования (Троицкая, 31-33, уг. Ришельевской), Одесское отделение Общества распространения просвещения между евреями в России (Ришельевская, 11), Общество правильной охоты (Ришельевская, 12)...

Купеческое собрание на Ришельевской, 1, "...доставляет своим членам и их семействам возможность проводить свободное от занятий время с удобством и приятностью..."

И кому это все мешало?...

Александра ИЛЬФ

Рассказ "за пятнадцать рублей"



В статье одессита Семена Гехта, написанной к годовщине со дня смерти Ильи Ильфа и опубликованной в московском журнале "Литературное обозрение" (1938, № 8, 23 апр.), написано:

"Первый рассказ Ильфа был напечатан в каком-то уральском журнале; взял его у Ильфа уральский представитель, заплатив пятнадцать рублей, даже не сообщив названия журнала. Если память мне не изменяет, рассказ был из времен германской оккупации на Украине и главный его герой – мальчик. Помню превосходную сцену: растерянный мальчуган стоит в большом зале среди множества зеркал. Рассказ был написан в импрессионистской манере, слог отличался редким изяществом".

Сюжет, запомнившийся Гехту, позволяет узнать рассказ Ильфа "Маленький негодяй", напечатанный в "Гудке" 6 января 1924 г. (Он не был первым – первая подписная публикация Ильфа появилась в "Гудке" 1 ноября 1923 г.) Нельзя не порадоваться двойной удаче автора: сначала он получил от уральского представителя "сумасшедшие деньги", а потом напечатал тот же рассказ в "Гудке". Однако только сейчас, в 2011 году, в екатеринбургском журнале с неожиданным названием "Товарищ Терентий" (1923-1925) обнаружился рассказ Ильфа "Галаганчик" (в журнале он назван очерком). Это тот самый рассказ "за пятнадцать рублей" – ранний, практически черновой вариант "Маленького негодяя". В нем нет петуха, которым так лихо орудовал малолетний герой, Одесса оккупирована не австрийцами, а французами, и т. д. Есть небольшие расхождения (не Стенька Митрофанов, а Мишка Галаганчик, не Белые Струги, а Трифоновка, не "фунт лиха", а "сотня корешков"); есть и более существенные различия, в том числе стилистические, не говоря о том, что "Галаганчик" значительно короче.

Кстати, начинается он примечательной фразой: "На зеленых деревьях запрыгала и пошла петь мелкая птичья сволочь". Сравните: "В пшенице кричала и плакала мелкая птичья сволочь" (Ильф. Рыболов стеклянного батальона. Гудок, 1923, № 1064, 1 дек.) и "В травах кричала мелкая птичья сволочь" (Золотой теленок, гл. "Сладкое бремя славы"). Исходя из даты публикации "Рыболова...", можно сказать с уверенностью, что "Галаганчик" написан в 1923 году.

"Галаганчик" пополнил цикл коротких ильфовских рассказов на одесские темы.

Мне особенно приятно, что рассказик найден в Интернете не кем-нибудь, а внуком Ильфа и моим сыном – Ильей Кричевским.

Постскриптум: О журнале "Товарищ Терентий" (Интернет)

18 марта 1923 г. вышел первый номер иллюстрированного журнала "Товарищ Терентий" – приложение к газетам "Уральский рабочий" (Екатеринбург), "Знамя" (Пермь), "Советская правда" (Челябинск), "Трудовой набат" (Тюмень); с 1924 года – двухнедельное приложение исключительно к газете "Уральский рабочий".

Первый уральский литературный журнал не только объединил литераторов огромной территории Урала, но в нем систематически публиковались произведения лучших советских писателей тех лет: Демьяна Бедного, Ю. Либединского и А. Неверова, Н. Асеева и С. Клычкова, Н. Ляшко и М. Кольцова, А. Жарова и А. Безыменского, И. Ильфа и Вс. Иванова, Ал. Толстого и А. Серафимовича. Маяковский печатался в "Товарище Терентии" с первого номера. Журналу принадлежат первые публикации его стихотворений "На земле мир, во человецех благоволение", "Газетный день", статей "Можно ли стать сатириком?", "Агитация и реклама", "Мелкий нэп", "О мелочах". В "Терентии" П. Бажов напечатал четыре своих произведения.

Но почему "Товарищ Терентий"? Что за Терентий?

По воспоминаниям П. Бажова, художник, получивший задание оформить обложку нового журнала и пришедший в мастерскую завода "Металлист", выбрал в натурщики некоего товарища Терентия. Имя натурщика записал на обороте эскиза. Организаторы журнала приняли рисунок, и чем-то им понравилось сочетание слов: ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ. Это название и стало заголовком журнала.

ГАЛАГАНЧИК.

Очерк.—**Ильф.**

На зеленых деревьях запрыгала и пошла петь мелкая птичья сволочь. Два французских солдата, театрально разговаривая, перешли улицу. Кроме того, кто-то громко, прекрасно и нецензурно выругался. Утро начиналось обыкновенно.

Но уже к десяти часам заварилась суматоха.

Все удалось скрыть, кроме цены на арбузы. Сначала она поднялась впятеро. Потом стало еще хуже. Арбузы исчезли вовсе.

Крошечная арбузная гавань, тесно заставленная барками, гавань, которая из-за плавающих в ней арбузных корок походила на чудесный, нежно-зеленый и светло-розовый ковер, стала геометрически пустой и пугающе правильной.

Парусники ушли и обратно с арбузами больше не возвращались.

Газеты выходили исправно и каждое утро накачивали читателей брехней о светлом будущем.

Те, кто знал, почем сотня корешков, не верили. Они уже поняли, что Струги Белые (место, откуда возили арбузы) заняты большевиками.

Дела пошли быстрее, чем ждали.

Сегодня всё стало ясно.

Под мост, в порт сползала гремучая негрская артиллерия. Французы в голубых рогатых шапках клялись и божились непонятными словами. Двадцать тысяч греков и двадцать тысяч их ослов одним духом ревели:

— Большевица!

Чемоданы всех цветов радуги грузились на подводы, пресветлые гастрономические магазины благоразумно одевались в железные шторы, дрожки увозили даму в истерике, и в центре всей каши вертелся Мишка Галаганчик, босячок четырнадцати лет.

Как раз сегодня он потерял квартиру, теплый мусорный ящик, в доме № 12.

У Галаганчика был длинный, мальчишеский мокрый язык. За это ему влетело.

— Я тебе покажу большевиков! — орал управляющий домом. — Во-он! У тебя, хулиганская морда, вырастет борода до колена прежде, чем они сюда придут!

Через два часа, теперь, управляющий этого бы не сказал. Галаганчик вспомнил его бушующую бороду, захохотал и помчался по светлому от прошедшего дождя асфальту.

Орущий, смеющийся и растрепанный, он очутился перед желтым дворцом командующего генерала.

Здесь все еще было чинно и тихо.

Для караула, стоявшего у гигантских арочных ворот, эвакуации еще не существовало. Появление возмутительного кривляющегося оборванца еще было невыносимым нарушением порядка.

Раздался короткий свисток.

Расстроенная куча жандармов устремилась на Галаганчика. Он оцепенел, считая несшиеся на него здоровеннейшие кулачищи и предчувствуя бесславные побои.

В ту же секунду голубое небо жутко загудело и лопнуло.

Воздушный вал навалился на малыша, земля дернулась, выскочила из-под ног, и Галаганчик обрушился.

Кругом все рвалось и тряслось от страшного бомбового удара.

Ослепленная и задушенная кучка преследователей развалилась. Сверкнуло еще раз, стало непереносимо тихо, и все, что еще могло ходить, ринулось в дворцовый подъезд, увлекая за собой ошеломленного Галаганчика.

С крыши по налетевшему аэроплану задребезжали пулеметы. Дела шли быстрее, чем того ждали.

В подъезде чья-то десятипудовая и вонючая спина прижала Галаганчика к двери.

Сердце его моталось, бунтовало и колобродило. Страх тащил за ноги. Галаганчик толкнул дверь и поскакал вверх по лестнице, забирая ногами по три ступеньки сразу.

На втором пролете он опомнился и остановился.

Сверху катились бледные лица и стучали сабли. Все это сбегало вниз, толкая и не замечая голодранца.

Решив, что жандармы внизу опаснее бомб сверху, он сделал большущий прыжок, влетел в огромную залу и, завопив от неожиданности, с размаху остановился.

Зала не имела конца.

Стен залы не было видно.

Огромные паркетные площади уходили вдаль, вперед, вправо, влево и терялись в стальном дыму.

И все это колоссальное пространство было битком набито голодранцами.

Сто тысяч голодранцев!

Галаганчик ахнул и опустился на пол.

Сто тысяч голодранцев тоже присели.

Галаганчик радостно засмеялся, поднял руку и сказал:

— Дураки!

Голодранцы разом раскрыли рты и подняли руки.

— Как на митинге! — сказал Галаганчик. — Опустите руки, сволочи!

И сам опустил. Все руки разом упали.

Это был зеркальный зал, и Галаганчики были один Галаганчик. Зала была пуста.

Он подошел к окну и посмотрел вниз.

Там было пусто и тихо.

Аллея шумела под ветром. По земле, шурша, перелетал листок бумаги. В конце аллеи лежал брошенный ранец.

Больше не было ничего и никого.

Галаганчик испуганно посмотрел дальше, вниз, в порт, и тихо зашевелил губами.

По приморской улице, поминутно останавливая и прячась за выступы домов, перебегали три солдата.

Земля задрожала, и вперед солдат выскочил пышущий, полный треска, броневик.

Красный флаг метнулся и пропал за высоким зданием.

С моря, с большого рейда палили окаменевшие громады французских броненосцев. Испуганное небо хоронилось под черным дымом.

Дела шли быстрее, чем можно было ждать. "Большевица" были уже в городе.

В пустом зале радовался и кричал Галаганчик.

— Долой! В будку францу...

На треск паркета он поспешно обернулся.

Прямо на него, к выходной двери, ломая паркет тяжестью своего тела, шел ослепительный офицер.

Галаганчик подошел поближе и посмотрел на француза с неожиданной задумчивостью. Губы его снова зашевелились.

Но офицер, не глядя на него, торопливо шел к двери.

Сверкая всем лицом и любезно, по-детски улыбаясь, Галаганчик ждал.

Офицер приближался.

Хрустальная люстра нервно шевелила своими цацками и звенела.

Галаганчик ждал и не сходил с дороги.

Офицер недоуменно и высокомерно покосился, но не свернул.

Расшитый рукав его куртки поравнялся с носом голодранца.

Галаганчик незаметно и молниеносно выдвинул босую ногу.

Грохот и гром потрясли зал.

Через час куча красноармейцев, появившаяся в широких и высоких дверях зеркального зала, изумленно остановилась.

В самом конце зала на полу сидел французский офицер. Лицо у него было похоже на мраморное мыло.

В пятнадцати шагах от него, держа в руке крошечный, сиявший, как серебряное солнце, браунинг, стоял Галаганчик.

— Сиди, сиди! — шептал он. — А то стрелять буду!

В дверях раздалось хихиканье.

Галаганчик посмотрел вперед, в зеркала, и увидел стоявших в дверях красноармейцев.

Он угрожающе махнул браунингом в сторону офицера и кинулся к дверям.

Там, хохоча и плача, он бешено врал о своих подвигах.

Его перебили:

— Как же ты такого слона...

Галаганчик завертелся на одной ноге.

— Ой! Он идет на меня, а я подножку — раз, он встал — я вторую, а потом по морде, по морде, по морде! Так он даже браунинг потерял с перепугу!

В зеркалах четыреста тысяч красноармейцев приседали от смеха и тормошили Мишку Галаганчика, маленького героя Октября, который был в апреле.



Галаганчик незаметно и молниеносно выдвинул босую ногу.

Грохот и гром потрясли зал.

Через час куча красноармейцев, появившаяся в широких и высоких дверях зеркального зала, изумленно остановилась.

В самом конце зала на полу сидел французский офицер. Лицо у него было похоже на мраморное мыло.

В пятнадцати шагах от него, держа в руке крошечный, сиявший, как серебряное солнце, браунинг, стоял Галаганчик.

— Сиди, сиди! — шептал он.—А то стрелять буду!

В дверях раздалось хихиканье.

Галаганчик посмотрел вперед, в зеркало и увидел стоявших в дверях красноармейцев.

Он угрожающе махнул браунингом в сторону офицера и кинулся к дверям.

Там, хохоча и плача, он бешено врал о своих подвигах.

Его перебили:

— Как же ты такого слона...

Галаганчик завертелся на одной ноге.

— Ой! Он идет на меня, а я подножку—раз, он встал, я вторую, а потом по морде, по морде, по морде! Так он даже браунинг потерял с перепугу!

В зеркалах четыреста тысяч красноармейцев приседали от смеха и тормошили Мишку Галаганчика, маленького героя Октября, который был в апреле.

Конец!

Роман КАРЦЕВ

Открытое письмо Жванецкому

Из всех женщин ему нравились новые.
М. Жванецкий

Это же надо себя любить, как никто! Как никто себя изучать, глядя в зеркало! И внутрь! И выворачивать себя наизнанку! Выставлять себя в таком виде, как никто! Как никто удивляться себе! Как никто видеть себя со стороны! Он писал о себе так: "Прическа дохлая, круглое толстое лицо, морщины у глаз и через лоб. Тоскливые серые глаза, где-то около 38-39. Это не температура, это годы!".

Миша! Что ты клевещешь на себя? Я же тебя знал в эти годы! Красивые глаза! Умные! Пытливые! Любопытные! Да, серые! Ну и что? А что? Черные лучше? Зачем так убиваться? А есть еще косые! Успокойся!

А вот ты пишешь: "Не стрижен, не женат, с женщинами не получается".

Миша! Что ты несешь! Я же многих знал! Иногда мы были с ними вместе. Да! Тогда ты был в большом сексе! Ты и сейчас врешь! Что ушел. Всех пугаешь! Не нервничай, слушай!

Пишешь: "Завидует чужому успеху, потерял свой! Получает удовольствие от выпивки! Перерывы огорчают! Давно не танцевал!".

Кому ты завидуешь, Миша?! Кто тебя переплюнет? Ты что, завидуешь писателю Измайлову? Побойся бога! И когда это у тебя были перерывы с выпивкой? Не смеши! Да, пьешь меньшими дозами! Но с тем же удовольствием!..

А это? Из твоего знаменитого монолога — "Я никогда не буду высоким. И красивым. И стройным...".

Ты чего? Хочешь быть высоким и тупым? Красивым и бездарным? Стройным и болеть? Ты чего? У тебя все при тебе! Женщины не любят красивых! Это я по себе знаю. Да, тебя любит одна, но как!..

И дальше ты пишешь: "Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже".

Миша! Окстись! Мишель Мерсье — половина от твоей Наташи, она лилипутка рядом с ней! А если бы Наташа не сутулилась? А танцевать с ней? А? Миша! Где твоя голова? Между грудями? Я по себе знаю! У меня то же самое.

"Не буду жить в Париже..."

А что, Одесса хуже? А что, девушки в Одессе хуже? Нас с тобой в Марселе пытались снять две марсельезки: во-первых, они были страшные, маленькие, у нас не было франков, они по-русски ни слова... хотя с японками мы договорились молча, они нас сняли без копейки...

Ты пишешь: "Я не возьму семь метров в длину..."

Зачем тебе это, Миша?! Уже прыгнули на девять метров! Ты хочешь быть вторым? Не клевещи, ты всегда первый! Только не в длину, а вглубь!..

"Даже простой крейсер под моим командованием не войдет в нейтральные воды... Из наших не выйдет".

А это тебе зачем? Ты видел эти крейсеры? Они ржавые! Мы же были на авианосце "Кузнецове". Матросы проклинали конструкторов! На койке лежать нельзя, не помещаются! Их тошнит от долгого плавания! Пиши, Миша! Что ты зациклился? Помнишь, мама тебе говорила: "Миша, пиши! Миша, пиши! Ты это умеешь, а моряки нет! Пусть себе тошнят!".

Ой, а это! "И за мои полотна не будут платить бешеные деньги... И от моих реплик не грохнет цирк и не прослезится зал..."

Мишаня! Что с тобой? Ты хочешь еще писать картины? Тебе мало своих полотен?.. От твоих реплик грохнет не только цирк, но вся страна. Тебя цитируют в Думе, в метро, по радио, ты дежуришь по стране! Не кокетничай!.. Помнишь, к нам подошел Миша Галустян, который "Наша Раша", и сказал: "Я на вас вырос", — а ты ответил: "Что же ты, сука, дальше не растешь?".

"Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром радио и телевидения..."

Миша! Тебе мало знакомства с альтом Башметом! Пусть себе играет! Он ничего больше не может! Пусть положит на музыку "Я видел раков"!..

И вот недавно так написал: "Напоминает попугая в клетке. Сидит накрытый одеялом. Вдруг поднимают одеяло — яркий свет, тысячи глаз, и он говорит, говорит. Опустили одеяло — тихо, темно, кто в клетке — неизвестно!".

Миша! Известно всем! Даже под одеялом! Даже в клетке! Иди! Тебя объявили! Выступай! Иди смеши, паразит, иди, любимый!..

Вышел!.. Тишина! Пауза! Смех!.. Вот что ты заработал! Имя!

А это дороже денег!..

Твой Рома

Ефим ЯРОШЕВСКИЙ

Матрас, или Прощание с Бабелем...
Рассказ из 20-х годов

...Мой брат был беден. И была весна. И было лето. Когда наступало лето, и мы задыхались по вечерам от сумасшедшего запаха цветов и акаций, нам было все равно.

Кровь неслась по нашим наэлектризованным телам вверх и вниз, как будто ее кто-то подгонял. Ее подгоняло наше сердце, наши сердца — мое и брата Изи. Они колотились гулко и тревожно... Душа замирала. Соленая кровь совершала тысячу первый раз свой кровавый и вековечный путь по нашим сосудам. В голове шумело... Падали звезды... Шарахаясь из стороны в сторону, от берега к берегу, ходило под Одессой, как под сердцем, большое Черное море... Оно раскачивалось, налетало на берег и сразу уходило, — как будто его ждали на другом берегу... Море, море!.. Какая пошлость — думать за матрас! И все-таки, как только подходило к концу лето, и уже не было ни сладкого запаха дынь на базарах, ни теплых лунных ночей, ни собак у булочных, ни... мало ли чего еще? И уже начинался ветер, и шумел парк, и пахло осенью, и хотелось тепла, — я и Изя, мы оба начинали лихорадочно думать про матрас. Мы думали про него всю зиму... Мы сочли бы иметь его один на двоих. Мы даже забыли о женах. Мы хотели матрас. И несчастье произошло. На нашей улице действительно купили его. Новый. Полосатый. Голубой. Это была давняя мечта — моя и моего брата Изи. Матрас сладко звенел, как арфа, когда вы на него садились, и долго провожали вас гудением своих струн, когда вы поднимались с него... Это был настоящий орган!.. Это была бы роскошь на грани безумия. И его купили. Это не сделал ни я, ни брат Изя. Это сделала тетя Песя, здесь сидящая. ОНА сделала это... Она сделала это публично, при всех. По улице везли матрас. Была весна. И мы пошли за ним, как за гробом...

2

...О не спрашивайте, что было потом! Конечно, весь квартал вылез из окон и смотрел на нас, провожая нас сочувственными взглядами. Все знали, как мы хотели матрас, и все видели, как мы не имеем его. Мальчишки преследовали нас по пятам. Все сумасшедшие квартала шли за нами, кривляясь. Даже тихий помешанный Шая бросил ковырять в носу и плел-

ся за нами в сандалиях на босу ногу, и глаза его осмысленно смотрели. Сморкатые дети, золотушный приплод Привоза, не отставали от нас ни на шаг и дразнились...

Тогда мы не выдержали. Мы не выдержали унижения.

...Тень брата качнулась на стене. Она тронула тетю Песю за руку: "Вы помните это, расскажите, как это было, в точности".

Тут вмешался я.

— Мосье Бабель, — сказал я, потому что передо мной сидел именно он. — Вы, как всякий, я думаю, писатель, — умный человек. Вы гораздо умнее, может быть, чем известная Хана Маневич с Малой Арнаутской (пусть земля ей будет пухом!)... и губернатор Новороссии, вместе взятые. Я бы даже сказал, за самого царя!.. Но — не будем преувеличивать...

— Да-да, не будем преувеличивать, — мягко и с глубоким ехидством сказал Бабель.

...Так вот, я прошу у вас каплю внимания к этой истории. Мы не могли выдержать унижения и печали. Мы начали умолять тетю Песю, обладательницу сокровища, и обещали ей все. Мы на ходу отдали ей все наши деньги и говорили о счастье наших детей и внуков, и о благодати Божьей, которая опустится на нее, о милости, в которой не отказывают, о том, какое благодеяние перед Богом и людьми она совершит, — если продаст нам этот матрас, средоточие наших помыслов, нашу мечту...

И на глазах у всех случилось чудо. Великая доброта и жалость снизошли на тетю Песю, бедную мать единственного сына, убитого по ошибке в прошлом годе налетчиками в мануфактурной лавке Арона Ципеса.... Короче говоря, мы перекупили его. Прямо на улице. Он был наш. Целиком. Со всеми своими звонкими потрохами. Тугой и воздушный. Мы готовы были голодать, чтобы купить его. И мы бы голодали, в этом нет сомнения! Но несчастье произошло...

3

...Когда мы подходили целой процессией к дому брата, в конце улицы показались конники, это были петлюровцы. Они неслись с шашками наперевес, прямо наперерез нам, по Малой Арнаутской, не доходя Преображенской... Они неслись на своих мыльных конях, матерно ругаясь, задыхаясь от погони и от жажды, от запаха евреев и предвкушения погрома. (Это было, как раз когда мы доходили до Изиного дома, и с балкона чуть не выпали его дети, кричащие нам вслух...) Они

неслись нам навстречу. Наш матрас несли два лепетутника с Провоза, два чужих человека. Увидев близко от себя конские морды петлюровцев, они испугались.

МОЖНО было испугаться, но НЕЛЬЗЯ было бросать дорогую вещь. Они бросили его прямо под копыта контрреволюции, и обезумевшие всадники пронеслись над ним, как судьба...

...Они рас-топ-тали наше добро во мгновение ока. Каждая лошадь считала своим прямым долгом всадить копыта в голубой шелк и серебряную спираль пружины — вещи, которой мы не успели насладиться. Больно было видеть это. И мы ослепли от горя... Но брат Изя, наверно, ослеп больше, чем я. Иначе он заметил бы, что стоит слишком близко от дороги — слишком близко от смертоносного пути разгоряченных коней... Бедный Изя, он рванулся вперед. Он совсем забыл о страхе, он хотел спасти свою мечту, которую терзали кони неизвестно откуда взявшейся банды... И он попался.

С криком, который я не могу вам передать, ЕГО ПОЛОСНУЛИ по лицу бандитской саблей. И брат упал...

Я не буду долго размазывать по тарелке кровавую кашу из пыли и слез... Я скажу коротко: всадники, как ангелы смерти, пронеслись над нашими головами — над нашим горем — и исчезли в золотой молдаванской пыли...

4

...Налетела на город настоящая буря, из тачанок и красных знамен, и никогда больше погромная банда не возвращалась в нашу жизнь. Революция пришла и больше уже не уходила с прекрасных улиц Одессы. Началась, КАК ВЫ САМИ УЖЕ УСПЕЛИ ЗАМЕТИТЬ, наша с вами жизнь, вечная радость для наших внуков, и как знать, может быть, даже (не дай Бог, конечно) правнуков... Но брат Изя был убит навсегда.

...Видите ли, что я вам еще скажу... Я скажу вам, что наша прихоть, наша мечта, наша надежда на маленькое счастье, которое заключал в себе тогда этот несчастный и великолепный по тем временам (да и по нынешним тоже!) матрас, — стоили нам дорого... Так всегда бывает, за мечту надо платить. Как вы думаете, я не прав? Я прав.

Качая большой мудрой головой, вы улыбаетесь со слезами на глазах и считаете, конечно, что эта местечковая трагикомедия (назовем ее так) не

очень достойна вашего пера... Но вы понимаете также и то, что эта маленькая история из жизни больше, слава Богу, не повторится, и от этого вам грустно, радостно и немножко больно...

...Старая тетя Песя, у которой на лице уже не было места для морщин, гладила своими остывающими пергаментными пальцами теплую руку писателя и качала белой от воспоминаний головой...

Одесса, 1980



Михаил ПОЙЗНЕР

По воле Божьей...

...Смотрю на календарь.

Вот-вот Проводы. А мне аж на два кладбища — на Второе и Слободское. К Витьке Лебедеву и Вальке Грицюку. А кто еще пойдет? Уже больше никого нет...

Если внук успеет из рейса, то подбросит. А так — маршрутки и пешком. Через всю Одессу.

А что, легко?

Не надо так громко на меня смотреть — я всего 26-го года! Конечно, нетрудно посчитать, сколько мне. А зачем считать? Я и так знаю.

Вот доковылял до таких лет. И при румынах выжил, и в Советском Союзе, и теперь тоже еще что-то кручусь.

Смотри хоть вдаль, хоть себе под ноги — все равно перед тобой уже пробежала вся жизнь. Много говорить...

Вот доберусь, посижу возле ребят моих. Помяну и вспомню. А вспомнить, слава Богу, есть что.

Кажется, всю жизнь я бредил морем.

А как иначе? Вырос на Торговой, в самом-самом начале улицы. Сейчас вместо моего 4-го номера — пустота и памятник очередному "закрытому" ученому. Это все война — в 41-м бомбили порт и вот попали к нам.

А учился за углом в 37-й школе, на Софиевской. С Витькой Лебедевым и Валькой Грицюком все время проводили на склонах, соединяющих мою Торговую с Приморской улицей. Те склоны — это как отдельное государство! Летом вообще — настоящие джунгли с заброшенными тропками среди старых акаций и зарослей "кашки", черепичными крышами, дымящими кухнями, сохнущим бельем, пасущимися козами, гордо разгуливающими курами и "злыми" собаками.

Здесь мы и курили втихаря, и в карты резались, и казенили школу, и... взрослели.

А где еще в Одессе такое открытое место, как начало нашей Торговой, откуда можно было бы так вовсю увидеть и порт, и море?! Казалось, вот-вот рукой дотянешься до любой корабельной палубы! А шагающие портальные краны, железная дорога, снующие туда-сюда буксиры, голоса судов у причалов? Короче, море — дом родной. И даже больше.

Уже потом, когда плавал, еще на подходе к Одессе всегда пристально всматривался в берег, пытаясь распознать наш Армянский переулок.

Разве надо что-то еще рассказывать про Армянский переулок?!

Старые тополя. Кирпичные дымоходы на крышах. До боли знакомая трансформаторная будка... Тут тебе и водка даже глубокой ночью, и самогонка, и перепродажа шмоток, и... приключения на закуску. А военные моряки с золотистыми ленточками на бескозырках? А дорога к портофлоту? К Андросовскому и Потаповскому молам? Представлялось, что я иду на судно, — впереди чужие моря, и прохожие с завистью смотрят мне вслед... Я же жил этим!!!

А с того Армянского до моего дома — уже пробежать чуть по лестнице наверх. Каких-то пару минут...

Не сразу доходило, что дома моего давно, еще с войны, нет. Нет и родителей, нет ничего и никого, что связывало с той жизнью.

...Тогда все нуждались, а ученик я был, по правде, никакой. Сразу после семи классов пошел учеником фрезеровщика на судоремонтный завод Марти. Это тот самый Марти, о котором в Одессе говорили: "Завод Марти — ни заработать, ни уйти". Хоть курево уже начал покупать за свои, хоть в семью не лишняя копейка...

На тех же склонах вместе с Витькой Лебедевым и Валькой Грицюком отметили свое взросление. Я вообще был больше уличным, чем домашним... Для самоутверждения, что ли, или для большей взрослости, чтобы не казаться маменькиными сынками, решили сделать каждому по наколке. А кто тогда не пел "Мурку", кто тогда не имел наколки?!

Короче, две иголки перемотали ниткой, макнули в обычные чернила — и вперед... Вообще, простой рисунок наносили на глаз, сложный — переводили с кальки или копирки, слюнявя химический карандаш. В этом деле у нас были свои мастера! Кололи так, чтобы иголки глубоко не входили в тело. Кололи весело, покуривая, как бы между прочим.

Мне сделали наколку на спине.

Я же не видел, что там колют! Обещали "море с чайками", а в шутку, безо всякого злого умысла (мы же были четырнадцатилетними пацанами!), шлепнули совсем другое. Накололи... распятие Христа — Иисус Христос, принимающий мученическую смерть на кресте! И это мне, мальчику из приличной еврейской семьи!!!

Не спрашивайте, что было дома.

Вначале все забыли за ту наколку — спасали меня. Температура за 39, спина горит. Решили, что уже началось заражение крови. Срочно в Еврейскую больницу, к знаменитому доктору Файнблату. Потом примочки, таблетки, уколы...

Не так быстро все улеглось, а наколку не сотрешь — это уже на всю жизнь. Дома постепенно смирились, хотя скрывали "такой позор" от соседей, родственников и знакомых. Тогда же в разгаре была борьба с религией, а тут такое клеймо. Одним словом, конец света...

Я Витьку с Валькой не вложил, обиды прошли, и мы продолжали еще крепче дружить.

Потом началась война.

Отец погиб в народном ополчении еще во время обороны Одессы. Маму с бабушкой убили сразу же, в октябре 41-го, когда брали заложников. Я остался случайно.

Евреев хватали везде — на улицах, базарах, толчках. Вытягивали из квартир и подвалов, вылавливали по селам и проселочным дорогам. Конечно, не без помощи соседей, дворников и наших "активистов". Многие сдавали евреев, чтобы выслужиться или чтобы забрать их имущество. Многие просто "за боюсь", многие просто так...

А как было мне? Вокруг ни одной родной души!

Я всегда думал, что Одесса очень-очень большая. А оказалось, что как раз еврею спрятаться негде...

Первое время спасался на моих довоенных склонах. Ночевал здесь — вокруг все же было знакомо до каждого кустика! Голодал — это не то слово... Потом только дошло, что тут могут опознать уличные знакомые, одноклассники. Хотя изменился, казалось, до неузнаваемости — изменил прическу, стал совсем по-другому одеваться. Весь гардероб — кепка, куцый пиджак, дырявый шарф и еще кое-какие обноски. Пацан пацаном...

Крутился то там, то здесь. Прятался. Внутренне я ощущал себя евреем. Боялся самого себя. Смогу ли выдержать чей-то подозрительный взгляд? Пугался громкого окрика за спиной. А вдруг кто-то признал?

Хочешь — не хочешь, очень быстро взял себя в руки. Не реагировал ни на какие румынские указы. Все документы уничтожил, сохранил лишь "нейтральный" пропуск с фотографией на завод Марти. Чуть подкорректировал свое имя. Вместо Веня Кравец подправил — ВАНЯ Кравец. Одна буква решила все.

...Как-то в марте 42-го шел с Витькой Лебедевым по Преображенской, в сторону своей Торговой. По улице гнали толпу евреев, очевидно, в гетто на Слободку. Мы заболтались... На меня указала какая-то баба. Тут же конвоир-румын попытался втолкнуть меня в эту толпу. Первым опомнился Витька. Он с криком задрал мой свитер и указал на наколку. Какой он еврей?! Смотри на распятие! Он же верующий!!!

Действительно, какой еврей, да еще в советское время, будет носить такую наколку?! Конвоир подозвал офицера. Наколка оказалась весомее любого документа. От меня отцепились.

Тогда-то я понял, какая ценность у меня на спине. Понял, что Бог даровал мне жизнь, что Бог хранит ее... Что все это неспроста. Как никогда уверовал: Христос — Спаситель мой.

Потом по пропуску на завод Марти получил временную румынскую бумагу на имя Вани Кравца. Нацепил на шею шнурок с деревянным крестиком, научился креститься. Выучил: "Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя...".

И "Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, и всею мыслью твоею...". Или там "Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешного...". И много чего другого...

Да и сейчас, еще по той оккупационной привычке, внезапно даже для себя автоматически крещусь — где надо и не надо. Тогда для меня это было какой-то паузой, чтобы выиграть время и выйти из затруднительного положения.

Вот так и выжил.

Прибился к беженцам из Бессарабии. Они и румынский хорошо знали, и обычаи их. Ну как бы вроде свои. Таскали, разбирали развалки, чуть строили... Что они могли знать обо мне? Сирота, дом разбомбили, родители погибли под обломками. Очевидно, из религиозной семьи...

Только со временем понял, что если буду жить сам и постоянно на одном месте, большая вероятность беды. Поэтому старался не отрываться от моих бессарабцев. Каждый раз поселялись то там, то здесь. Ну где строили, там и жили. Толпой входили, толпой выходили...

Одни бессарабцы передавали меня другим. Так бежало время...

А то подрабатывал грузчиком на Товарной, то с гробокопателями на Слободском кладбище. Так кантовался среди добрых людей. Одно время был даже на подхвате в буфете театра "Интим" на Греческой, то подносил-уносил в магазине "Романия" на Александровском проспекте, то восстанавливал взорванную Хаджибейскую дамбу.

Важно, что я всех приучил, — когда чувствовал себя неуверенно, когда поднимали острые темы, — всегда спешил на молитву. К таким моим отлучкам привыкли.

А сколько раз стоял у Алексеевской церкви или на Преображенской, под Успенской церковью, с протянутой рукой... Кто хлеба кусок, кто лепешку, кто яблоко... Сердце стучало: "Господи, помоги! Помоги, Господи!!!". И Господь всегда помогал.

Наколка не подводила, она была надежнее любой метрики. Предъявлял ее от случая к случаю для большей убедительности. Как бы случайно... Да и проверить никто ничего не мог — дома моего нет, спросить некого — соседи и дворники разъехались кто куда. Проверка "на обрезание" тоже ничего не давала...

А как-то в 43-м на Пасху возле вокзала уже наш полицай забрал Вальку Грицюка в участок. Валька специальным длинным крючком стягивал с бортовых машин овощи, там, буряк или капусту. Голодуха... Куда денешься?

За воровство румыны наказывали жестоко. Я шел следом, но как выручить Вальку? Рискнул воспользоваться своей наколкой. Уже в участке, улучив момент, нахально одернул этого полицая: "Дяденька, идет Пасха! Буду Господа просить за ваше здравие. У Господа я свой, он меня услышит... Но я могу попросить и наоборот. Он меня тоже услышит. Помогите моему брату, Христом Богом прошу!". Услышать такое из уст шестнадцатилетнего пацана! При этом стал на колени, демонстрируя мое "распятие".

Полицай онемел. Мы договорились без второго слова — я побежал и принес еще серебряные ложки — единственное, что случайно осталось от мамы моей... Так выкупили Вальку Грицюка. А сколько раз Валька рисковал жизнью, прикрывая меня?

...Как-то настоятель Алексеевской церкви случайно увидел наколку, обратив внимание на то, как я усердно и довольно долго молюсь. Указывая на меня, он молвил прихожанам: "Дети мои! У него Господь не только на теле, Господь у него в душе... Сынок! Господь тебя не оставит...".

С другой стороны, мне просто не было куда идти — я долго молился еще и потому, что в районе Алексеевского базара проходила крупномасштабная облава.

...И когда сегодня звонят колокола на Соборке, мысленно возвращаюсь к еще тем страшным дням. А если по-честному, я до сих пор так и не знаю, какому Богу поклоняюсь. Жизнь все перепутала...

Потом я долго спрашивал себя: "Неужели все прошло?". Но все только начиналось.

Война не отбила охоты плавать. Уже в 46-м поступил в Одесскую мореходную школу № 4, на Сабанеевом мосту. Лоции, навигация, морские узлы, политзанятия. Начинал матросом на "Карле Марксе" — это бывшая "Диана". Рейсы на Румынию, Болгарию. Потом "Чехов", еще потом — "2-я пятилетка". Ходили и на Америку, и на Индию. В Америку — руду, в Индию — зерно. Назад — каучук, джут. А отоваривались тогда в Сингапуре — костюмы, сандалии-туфли, рубахи, отрез "бостон". Невесте — так отрез на платье, чулки...

Перегонял "Иртыш" и "Дунай" из Одессы на Каспий, в Баку. Это через Гибралтар, Гамбург, Ленинград, затем по Мариинской системе аж через 42 шлюза — на Волгу, дальше вниз — в Баку. Потом уже по Каспию добирался с зерном даже до Ирана.

А с 50-го года ходил уже боцманом, пока в 78-м не ушел с флота совсем. Дела семейные. Старая песня...

Что я?

Работал не хуже других. Хотя как было? Капитан всегда подбирал "своего" стармеха и "своего" боцмана. А иначе что? Иначе сам будешь лезть в машину, сам будешь заниматься палубным хозяйством. А только один такелаж чего стоит?!

...И хоть сам впрямую никогда не воевал, а считаюсь участником боевых действий. Ракеты, пушки и другие "игрушки" — на Кубу, во Вьетнам, в Анголу.

Тогда особо не задумывались, что в тех районах идет настоящая гражданская война. А мы же шли на помощь. Мол, наших бьют!

Ты швартуешься, а тут рядом слышны взрывы — идет бой...

А охрана корпуса от диверсантов?

А проводки без лоцмана, который с испугу дал деру?

А рев танков, сходящих с кормовой аппарели?!

Казалось, сердце вот-вот выскочит. Дома же молчал, как рыба, — все хорошо, кругом весело...

В голове до сих пор еще та "Белоруссия" с уникальным капитаном Моней Соловьевым и "Сызрань", и "Фролово", и погибшая "Умань", и "Дивногорск", и "Капитан Алексеев", и "Октябрьская революция". И родные лица, и чужие страны, и радость швартовки к одесскому берегу. И как детей своих поднимал на руки... Короче, все равно, в голове Карибское море заодно со Средиземным...

...Эх, жизнь, жизнь, с ее остановками и поворотами!

Уже после войны, особенно, в 50-60-е годы, наоборот, — как мог скрывал свою наколку. Опять пришлось прятаться... Как тогда относились к религии, известно.

В жарких странах выходил на палубу в футболке. И так мне как "инвалиду 5-й группы" визу открывали с большими трудностями. Зачем же гусей дразнить? Про Рождество, там, Пасху или крещение детей говорили только с очень близкими, и то вполголоса. Даже крестики нательные не носили, боялись. А стукачей у нас всегда хватало, да и помполиты тоже хлеб напрасно не ели.

Иногда ко мне не просто присматривались. Особенно в 67-м году — после шестидневной войны на Ближнем Востоке.

В пароходстве называли то Ваней, то Веней. Так кто же все-таки он? Кто этот еврей с "распятием"? Обошлось... А как-то, завидя наколку, 2-й помощник зло пошутил. Я при всех взял его за душу: "Не тронь, сволочь, Господа. Берегись гнева Господня...". По приходу жаловаться он побоялся. Побоялся, что мои слова все-таки могут дойти до Бога...

А вообще, где теперь те, кто учил нас родину любить?! Где они сейчас? По Лондонам да по Грециям с Кипрами — при своем бизнесе. Зачем им та Одесса?

А как осуждали, как били себя в грудь? Как загоняли в угол жизни...

Сами-то при первом удобном случае — ноги в руки. И крестятся теперь сразу двумя руками.

Люди, люди...

Наверное, уже пойду.

Еще на Комсомольский бульвар и туда дальше — в сторону Торговой, где когда-то стоял мой дом.

Теперь смотрю на все это сквозь годы.

Перед глазами опять мама, наши склоны, Витька с Валькой, заклеенные накрест окна... Еще те буксиры на рейде и шум порта, и запах отработанного машинного масла, и палубы судов, на которых пробежала вся жизнь.

И боль от той наколки, напоминающей, что есть добро на белом свете.

Валерий КУЗНЕЦОВ

Прощание с мечтой

Я сижу в своей чудесной квартире, по которой бегают тараканы-пруссаки. Я не могу с ними бороться, потому что нет сил. Нет сил, бороться с судьбой нет сил. Они кончились. Меня хватает только на то, чтобы схромать на Привоз, купить что-нибудь поесть и приготовить еду для моего больного сына. Сам я стал очень мало есть, я упал духом, потому что понял, ничего не могу сделать, потерял силы, вкус к жизни.

Совсем недавно, несмотря на мои семьдесят три года, я строил планы и мечтал осуществить свою последнюю надежду, уйти в море вокруг земного шара. Умереть в море на чистом ветру, безоблачном небе, среди белых барашков, окаймлявших гребни волн, под крики чаек и свист ветра в вантах. Это были очень красивые, очень желанные мечты. Мне часто снились все действа, которые сопровождали мой уход в это последнее плавание. Я хлопотал с приготовлениями, переживал во сне все перипетии отхода — таможня, погранцы и т. д., и просыпался, напитанный сонными впечатлениями и переживаниями. Часто делился с друзьями-яхтсменами своими снами и, оказывается, им тоже снилось, что под всеми парусами несутся по Дерибасовской или Пушкинской и, поворачивая на перекрестке, волнуются, что не могут притормозить, чтоб пропустить встречный транспорт. Это и смешно, и трагично, и что-то щемящее душу. Человек, однажды заболевший морем и парусами, на всю жизнь останется влюбленным в них.

Я стал строить яхту для осуществления своей последней мечты. Много чудесного в жизни нашей. Для меня самое большое чудо было познавать мир глазами и душой. Путешествия и приключения, которые случались в моей жизни, будоражили кровь и воображение. Новые неизвестные места, по которым я бродил, будили фантазию и гнали меня все вперед и вперед навстречу приключениям. Я катался на доске на цейлонских волнах, нырял в Эгейском море на южных Спорадах, бродил на раскопках Трои, и всегда думал на старости лет сидеть у камина и рассказывать внукам моим открытия мира и его сокровищ. Но, видимо, к старости не угомонился и не рассчитал сил и возраста, собрав все пенсионные копейки, решил осуществить свою последнюю мечту — путешествие вокруг земного шара.

Каждый погожий летний день отправлялся далеко за город на дачу знакомого, где строил яхту. Доехав до конца маршрута, брел пешком несколько километров до дачного поселка. С собой у меня была бутылка пи-

ва, которую выпивал, проходя городское кладбище и крематорий. Придя на свою самодеятельную верфь, я складывал бутылку из-под пива к другим, выпитым ранее. Каждый месяц я их сдавал и покупал крепеж или какую-нибудь мелочь для своей работы. Друзья и знакомые посмеивались, считая старческой блажью мою затею. Но были и такие, которые помогали деньгами и советами, ободряли меня, вселяя веру в конечную цель. Наверное, если бы не они, то я не построил бы яхту, или затянулась бы эта стройка на многие годы. Мне удалось построить ее за три года. Я спешил. Я вспоминал случай, когда один мой приятель — портной, завзятый парусник и путешественник, как-то в декабре пришел ко мне и предложил идти через Атлантику, и на мое предложение отсрочить до весны, потому что мои домашние дела меня не пускали, возразил, что может не успеть. Он торопился, ему было 75 лет, и он через месяц умер, не успел.

Укладываясь спать, я каждый раз молил Всевышнего помочь моей мечте. Во сне мне часто виделись острова, окаймленные белой полосой прибоя. Чистая прозрачная вода, в которой преломлялись солнечные лучи, уходящие вглубь, и темная бездна, пронизанная полосами этих лучей, вселяющая мистический ужас в душу, и восторг, как будто ты плывешь в космосе. Наверное, высшие силы услышали мои просьбы и послали мне помощника. Вася, недавно окончивший университет и, как большинство молодежи, безработный, стал моим верным помощником и строителем. На деньги, заработанные в итальянской тюрьме, где я сидел за контрабанду, я купил старенькую "копейку", на которой мы стали ездить на яхту и возить материалы. Вася, имеющий права водителя, был моим бессменным шофером, незаменимым помощником. Единственный из всех знакомых молодых — романтик и мечтатель, желающий пойти со мной вокруг шарика, хотя в море никогда не бывал. Самый что ни на есть сухопутный человек. Руки у него были золотые, несмотря на молодость, он все умел: электросварщик, плотник, слесарь, а главное, придерживался моего жизненного правила, что не боги горшки обжигают. Жалко, что построив со мной яхту, он вдруг таинственно исчез. После, в каюте, я обнаружил в кульке шприцы и наркоту. Эта проказа, поражающая современную молодежь, видимо, зацепила и его.

Утонув в своих мечтах и видениях, я потерял ощущение реальности времени и, увлекшись своей идеей, жил в выдуманном мною мире, ни о чем не думая, кроме своей яхты. Времена же переменились. Если в совковые семидесятые я строил яхты в черноморском яхт-клубе и имел там постоянную прописку, уходил оттуда в свои плавания и не имел

проблем с финансами, то есть не платил за стоянки или платил символическую плату, которая была мне по карману, то на этот раз, закончив строительство, я столкнулся с действительностью рыночной экономики. Раскупив побережье, новоявленные бизнесмены и дельцы стали наворачивать арендную плату за стоянку на так называемой их территории. Я, родившись в СССР и выросши в социализме, не мог никак адаптироваться в этом диком капитализме. Не мог понять, как может морской берег принадлежать одному человеку, наживавшему свой капитал на таких романтиках и любителях моря, как я. Теперь мне стало понятно, почему дочка, которая живет в Америке, сказала мне в телефонном разговоре, что ее знакомые, узнав, что у папы яхта, говорили ей: "У тебя богатый отец". Мало того, когда мне пришлось столкнуться с регистрацией яхты, техосмотром, пропиской и дальнейшим документальным оформлением, я пришел в отчаяние. Везде чиновники устроили себе кормушки, и платить приходилось баснословные суммы, в сотни раз превышающие те прейскуранты, которые были в совковые времена. Кроме того, надо было совать взятку, чтобы было быстро и благожелательно к тебе отнеслись.

Пришлось на моей "копейке" объездить все побережье, чтобы найти стоянку далеко за городом, в Затоке, в маленьком лиманском заливчике, куда все окружающие дачные кемпинги и постройки сливали нечистоты. Плата за месяц стоянки равнялась моей пенсии.

На место пропавшего Василия подвязался в качестве помощника мой бывший матрос, ходивший со мной в Пирей лет двадцать назад. Одержимый манией разбогатеть. Планы у него были самые фантастические, от торговли пауками "черная вдова" до драгоценных камней, добытых на Цейлоне. Все идеи его были основаны на слухах. Он мечтал раскопать древний курган, где надеялся найти золото скифов, найти немецкую танкетку на дне лимана, времен первой мировой войны, за которую якобы немцы платили большие деньги. А пока промышлял тем, что рвал в лимане траву для аквариума или собирал рапаны для продажи сувенирщикам. Был он крупный, с чертами лица, будто вырубленными из дуба. Вместе с собой он таскал шкета — Толю, своего верного Санчо Пансу, на которого взваливал все тяжелые и грязные работы. Толя возомнил себя великим поваром и захламил всю яхту кастрюлями и всякими кухонными причиндалами. Яхтсмены они были никудышные, и мне приходилось всякий раз учить их и объяснять, как ставить стакселя и подбирать шкоты, когда меняли галс. Они плохо поддавались учению — то ли возраст, то ли сухопутные привычки. Но каждый раз стаксель ставился вверх ногами, а шкоты путались в блоках.

Вот с такой командой я стал выходить в море. Мне необходимо было выявить и исправить все недостатки в такелаже и дизеле. Потому что я знал: за границей все ремонты становятся дорогостоящей проблемой. Однажды я застрял на Босфоре из-за поломки дизеля. У меня полетел четвертый цилиндр. Пришлось возвращаться в Одессу под парусами. И хотя моя предыдущая яхта "Св. Петр и Павел" ходила только в полветра, я добрался домой, но шел восьмеро суток вместо обычных трех.

Я спешил. Силы с каждым днем уходили из меня. Последние дни постройки я уже не мог работать. Сидел на солнце, грея старые кости, и говорил своему помощнику Васе, что и как делать. Доктор, обследовавший меня, сказал, что у меня анемия, что весь гемоглобин куда-то уходит, а куда — он не определил. И хотя я слабел с каждым днем, и терял последние остатки сил, но желание быть в море, с морем, не исчезало.

Первый выход на Тендру был благополучный. Погода стояла тихая, жаркая. Яхта спокойно шла по курсу, слегка покачиваясь на волне, неся два стакселя. Иногда, когда ветер совсем убивался, я подрабатывал дизелем. Делая три-четыре узла, мы дошли за сутки до Тендровского маяка. Сон мой становился явью. Бесконечно длинная желтая полоса берега уходила за горизонт. Чистый девственный песок с россыпью рапанов и тихий мелодичный плеск прибоя, музыкой звучавший в ушах. Воздух, напоенный запахом йода и солнца, прозрачная чистейшая вода, сквозь которую на дне были видны крабы, моллюски и скаты, напоминающие воронов в полете. Все это казалось мне прелюдией к осуществлению моей мечты.

Поломки и аварии в моторе и такелаже держали меня в Одессе. На их устранение уходило много сил и денег. Я вновь и вновь уходил в море, испытывая свою постройку, гоняя яхту в полветра и полный ветер, проверяя навигацию и дизель. И вот последний испытательный выход перед большим походом в Средиземное море.

Потратив полдня на пограничные формальности, мы во второй половине дня вышли в море. На борту кроме меня был мой давний знакомый, такой же старый, как я, и мой помощник.

Не помню, откуда эта информация, то ли из телепередачи, или я прочел где-то, что Земля — планета, живое существо, которое, как и человечество, живет, стареет, болеет. Это меня всегда волновало. Я помнил "Энтов" Толкиена, моя покойная жена говорила мне, что она никогда не чувствует себя одинокой среди природы. В лесу она толковала с деревьями и кустами, в поле — с цветами, и как никто ощущала природу, находилась с ней в полной гармонии.

Я, стоя вахту у штурвала, особенно остро чувствовал себя частью моря, и иногда разговаривал с ним, как с живым. И оно отвечало мне шорохом струй вдоль борта, ревом бурунов в свежую погоду, и ласково кидало мне в лицо тучу брызг, чистых, как слезы ребенка. То спокойное, как покрывало, то разъяренное, как зверь, ревущее так, что становилось жутко. Когда я нырял, купаясь с борта, оно принимало меня в свои прохладные объятия, нежно покачивая и поглаживая по телу. Или бросало с волны на волну, словно шаливший ребенок. Жутко было смотреть на разбушевавшуюся стихию с подветренного борта. Крутые волны кидались на яхту, обрушивая белые гребни на палубу. Чтоб успокоиться, я смотрел на наветренный борт, где они плавно перекатывались, ныряя под киль.

Мы вышли из затона в 17.00, завели дизель, прошли узкий извилистый фарватер и, нырнув под мост, очутились в море. Оставив по правому борту ряд буев, ограждающих подводную косу, я взял курс на мыс "Е". Дул плотный вечерний бриз. Заглушив мотор, подняли стакселя и двинулись вдоль берега. Моя цель была побыть подольше в море, проверить ходовые качества яхты и выяснить экономический ресурс мотора. Если первый поход на Тендру я шел открытым морем, прямым курсом 900, то в этот раз плавание было каботажным, вдоль берегов Одесского залива. Мне хотелось на прощание пройтись по старым маршрутам, вспоминая прошлые далекие годы, полные впечатлений и приключений, когда я открывал для себя "новые земли" на шестиметровом шверботе, первой построенной яхте. Неторопливо трехузловым ходом мы проходили мимо Санжейки, Ильичевска, Большефонтанского мыса и дальше вдоль Большого Фонтана, Аркадии, Отрады. Это были уже не прежние полупустынные пляжи, полудикие скалы и глиняные склоны, которые временами обваливались, погребая под собой пляжников. Сплошной вереницей тянулись кафешки, рестораны, дискотеки. Шумели и гремели барабаны, как будто это не Одесса, а Берег Слоновой Кости, и дико завывали и визжали "Поющие трусы". Тихо стало, когда от бывшего второго судоремонтного завода мы отвернули на мыс "Е", и звучала только музыка волн и свист ветра, который с темнотой усилился, стал плотнее и порывистее. Я подумал: не к добру, тем более солнце село в тучу, — и отвернул мористее. Мы шли вполветра, переваливаясь с волны на волну. Ориентировался я по огонькам на берегу и рейдовую стоянку порта Южного постарался обойти мористее. Вскоре открылся Березанский маяк. Было полнолуние, и лунная дорожка освещала море, перепаханное белыми гребешками волн. Я понял, что начинается непогода, а зайти постоять на Березань — негде спрятаться.

Рассвело. Мои спутники, появившись на палубе, не узнали моря. Из ласковой кошечки оно превратилось в бешеного зверя. Мы шли в бакштаг, а иногда в полный фордевинд. Волны швыряли нас в стороны. Очень тяжело было держать курс. Приходилось все время крутить баранку от трактора, которой снабдил меня мой помощник, в прошлом тракторист и шофер. Вот тут-то и выяснился первый недостаток. Яхта плохо слушалась руля, видимо, перо было маленькое. Дальше больше. Я чувствовал, что лодка стала тяжело взбираться на волну, и приказал помощнику поднять моторный люк. То, что я увидел, повергло меня в ужас. Там плескалась вода, заливая стартер, генератор и аккумуляторы. "Насос!" — закричал я. "Нет насоса, сломался", — угрюмо ответил помощник. Тут я впервые понял, насколько я стар и физически беспомощен. Я не мог проконтролировать своих помощников, и у меня не хватало сил проверить готовность всех узлов и оборудования. В первые выходы поломки сыпались одна за другой. То электроосвещение исчезало. То аккумуляторы разряжены. Подсветка компаса не работала. Всего не перечислить. Зато "кухня" у них была в идеальном порядке. Рулевая рубка напоминала кухню. Везде на гвоздиках висели кастрюли, сковородки, доски для разделки овощей и т. д. В качку вся эта кухонная утварь сыпалась на палубу и путалась под ногами. Они очень заботились о гальюне, сделав его из какого-то фонаря, и даже на леера присобачили писсуар в виде пластиковой бутылки, на горлышко которой был надет шланг, выведенный за борт. На все мои замечания и требования помощники отмахивались, уверяя, что все будет в порядке. Я не "закручивал гайки" и, как сказала моя приятельница, "не делал резких телодвижений", боясь потерять их, как потерял Васю, и не найти других. Уж слишком неординарна была моя затея, а молодежь забыла, что такое романтика.

В шесть утра открылся Березань, весь окруженный кольцом пены. Я отвернул от него и пошел вдоль Кинбурнской косы в Тендровский залив, надеясь спрятаться там от шторма. Мы шли в полутора милях от берега вдоль Кинбурнской косы. Я старался не жаться к берегу, зная, что там стоят сети, в которые можно въехать и запутаться. Мимо проплывал остров Майский, весь покрытый деревьями, вдали мелькали хаты Покровского хутора. Вскоре с правого борта открылась веха на северной оконечности Тендровской косы. Я отвернул на два румба влево и вошел в залив. Волна на мелководье стала меньше, но круче. На палубу летели брызги и пена. Лодка стала лучше слушаться руля. У меня болели кисти рук от непрерывного вращения румпеля, и я ночь не спал. Поставив помощника

к рулю и указав ему курс, я пошел вздремнуть. Вспомнил совет английских яхтсменов: чтобы уснуть, нужно дышать в такт качке. Когда я засыпал, мне виделся кубрик носовой на "Бригантине": я шел из Порт-Саида в Сицилию в семибалльную погоду, после вахты, опрокинув рюмку спирта, засыпал на "кисах" с парусами. Форштевень, как качели, подкидывал меня и мерно опускал. Я, как в колыбели, пьяный от моря и спирта, засыпал легко и свободно.

Очнулся я от легкого толчка. Когда выглянул из каюты, увидел, что мы ткнулись в песчаный берег. Прибой разворачивал яхту лагом к берегу. "Кто приказал?" — закричал я. Помощник, угрюмо ворча, взял кусок брезента и спрыгнул на берег. "Укачался", — заявил он. Лег на брезент и тут же захрапел. А храпел он так, что в каюте спать не могли. Воспользовавшись стоянкой, мы с моим другом откатали воду из моторного отсека и определили, что течет дейдвуд. Когда открутили гранд-буксу, обнаружили, что набивки нет. То ли она сработалась, то ли ее вообще не поставили. Поиски запаски ни к чему не привели, и мы намотали пеньку, надеясь благополучно добраться до Одессы. Темнело. Ветер усиливался. Волна стала бить яхту о берег. Я растолкал помощника и, подняв один стаксель, мы пошли вглубь залива. Ветер набирал силу, волны швыряли нас с бока на бок. Стало быстро темнеть. Проводка, сделанная на соплях и плохо изолированная, окислилась, свет стал тусклым, а потом совсем погас. Ругать моего матроса не было смысла, денег на профессионального электрика не было. А потому я поверил, что помощник справится с электрикой, как он меня заверял. Посадив звезду на ванту, я держал курс вглубь залива, надеясь добраться до Кучугур. Там в заливе можно было переждать шторм. В это время луна спряталась и стало темно, как в катакомбах, по которым в детстве лазил. Вокруг мелькали белые барашки. Ветер срывал с них пену и швырял нам в лицо. Звезда, ориентир, исчезла. Я потерял ощущение пространства, вокруг была только тьма и волны.

Вдруг нас сильно ударила волна, и мы покатились в бок. Яхта легла парусом на воду, и я понял, что мы сели на мель. "Вон берег!" — закричал помощник. Мы вывалились за борт и, бросив яхту, поплыли к берегу. Он оказался совсем близко. Несколько сот метров. Низкий, песчаный, покрытый пеной, выброшенной прибоем. Я без сил повалился на мокрые водоросли. Меня била крупная дрожь. Мы прижались друг к другу, пытаясь согреться. В полутьме мелькали силуэты каких-то мелких зверьков. Это были барсуки. Немного придя в себя, мы нагребли на ветер кучу песка, спрятались и, укрывшись мокрыми плащами, в которых выплыли на бе-

рег, забылись дремотным тревожным сном, изредка просыпаясь и прижимаясь друг к другу. Но вот взошло солнце, и мы грелись под его лучами. Яхта была у берега. За ночь ее прибоем и ветром выкинуло на песок. Мой друг стал строить убежище от ветра. Вкопал два весла в песок и натянул парус. Я же пошел посмотреть, сколько мы не дошли до Кучугур. Каково было мое отчаяние и горе, когда я увидел, что до заливчика, где я хотел спрятаться от непогоды, оставалась сотня шагов. Яхту било о песок, и я стал вместе с командой тащить ее к заливу. Это был адский бурлачный труд. Трехтонный корпус, да еще залитый водой, с трудом тащили три уставших замерзших человека. Полдня длился этот каторжный труд, но яхту мы спасли. Буквально по сантиметрам передвигая вдоль берега, мы затащили ее в залив и, повалившись в песок, заснули мертвецким сном. Нас не разбудили ни тучи комаров, ни оводы, слетавшие к нам от одичавших лошадей, табун которых несся неподалеку.

Самое противное и гадкое ощущение беспомощности, которое я ощущал, — когда, проснувшись, я увидел свою яхту, свою мечту, лежащую у берега, как подстреленная птица. На мою отчаянную просьбу откатать воду из лодки, чтобы она могла снова всплыть и закачаться на волнах, мои спутники отказались. Они убеждали меня, что яхту не спасти, что надо выбираться к людям. Стали собирать и складывать в кучу все, что удалось спасти с яхты. Я же, пытаясь откатать воду, на десятом ведре сдох и понял, что моих сил не хватит.

Бросив прощальный взгляд на свою "Мечту", я поплелся вдоль берега за своими спутниками. Ощущение беспомощности и отчаяния не покидало меня. Я вспомнил, что точно такое же состояние было у меня на острове Калимнос в Эгейском море, где мою яхту арестовали по вине фрахтовщика. Нас, арестованных, собрали на пирсе, и я смотрел со слезами, как греческая полиция буксирует мою яхту на штрафную стоянку. Тогда босс, который меня фрахтовал, подошел ко мне и, похлопав по плечу, успокоил: "Не волнуйся, кэп, мы отобьем твою яхту". Она до сих пор стоит там, в Греции, а может, ее уже нет. Но тогда у меня была надежда, а сейчас ее не было, потому что я понял: нет уже у меня сил осуществить свою последнюю мечту.

С десяток километров мы протащились по берегу, засыпанному ракушкой, под палящим солнцем, комарами, подбирая бутылки, в которых иногда оставалась вода, пока, наконец, не вышли на рыбаков.

Это были молодые ребята с Херсонщины, чистые и прозрачные души. Рыбаки пятого поколения. Они обогрели, накормили нас и уложили от-

дыхать, а сами на катере пошли к яхте. Когда я очнулся, то увидел катер, тащивший на буксире мою "Мечту".

Бригадир, молодой парень Алеша, выпрыгнув из катера, подошел ко мне, обнял меня и сказал: "Ну, капитан, принимай свою "Мечту". Я подарил яхту и все, что на ней было, этим людям.

И теперь сижу в своей тараканьей квартире и благодарю Бога, что свою "Мечту" отдал в настоящие морские руки. Благослови их Бог и дай им попутный ветер и семь футов под килем.

А мне остается, ждать конца и плавать во сне по всем морям и улицам Одессы.



Игорь ПАВЛОВ

"И всюду были чудеса..."

* * *

Боясь о розы исколоться,
В пыли, в тени, в завалах книг
Мы видим звезды из колодца,
И в полдень созерцая их.
Ну, кто же, кроме нас, узрит их,
Нас, догадавшихся о том,
Что здесь, во тьме, в глубинах взрытых —
Звезда живая, не фантом?
А с выси — крик луча прольется:
Друзья! Вы прячетесь? Вотще!
Эй! Вылезайте из колодца!
Там делать нечего мечте!

* * *

"Куда ж нам плыть?"
А.С.Пушкин

"Почему ждем пути, когда он перед нами?"
Слова Христа из "Агни-Йога"

Дальше? Дольше. Молодой же!
Значит, долго должен жить!
И растянута все дольше
Парки парковая нить.
От аврала, от запарки
Отрешаясь, отрешась,
Мы уходим в парке к Парке,
Пряной праной надышась.
Кислородная подушка!
Порождение весны!
Не оазис, а ловушка —
Кладезь вечной новизны.
Тянет губы, как к иконам.
И — плыви! Куда ж нам плыть?

В поении зеленом
Тщанье с городом-драконом
Незаметно примирить.
Бес на страже, бес не дремлет,
Сквер сквозит сквозь рой реклам,
А душа-то — не приемлет!
А душа приемлет — храм.
Он везде. Он в нежной капле
Божьей утренней росы.
Что с того, что гроб поваплен?
У судьбы в руках — весы.
Ясен путь. Безмерный. Верный.
Там — тебя Сознанье ждет
И, очищенный от скверны,
К Абсолюту припадет.

* * *

Ты прошла, озарив этот вечер,
Облик милый, родной — и простой.
Нет надежды на новую встречу
И нельзя тебе крикнуть: "Постой!".
И опять под сомкнувшейся сенью
Холодеет пустая скамья.
Ты прошла, словно дождик весенний,
Ты прошла, словно юность моя.

* * *

Луна, чуть зрима, как обломок,
Качалась в облачных хоромах.
Дул ветер и жила роса,
И всюду были — чудеса,
Я прозревал их в каждом месте:
В любом углу, в любом подъезде,
Где пряталась в тени любой,
Как заговорщица, — любовь.
Но власть акаций и черемух
Продлится только до утра.
А поутру — встает чиновник,

И жить параграфам пора.
Деревья — все! — на заднем плане,
Морская даль — такая даль!
Не добрести! — и мы в капкане,
Нам недоступна литораль.

Определение поэта

Голый в одежде
Лепета мытарь
Молнией — между
Богом и бытом.



У стихов волшебная сцепка

И тогда уже головы кругом,
когда буквы, обнявшись крепко,
начинают любить друг друга.

И тогда уж мы сердцем с ними.
А расчувствуемся — навзрыд.
И гори она пламенем синим
иерархия — алфавит.

Если буква сольется с буквой,
рифмы выровняв заподлицо,
это Бог простирает, друг мой,
обнимающих рук кольцо.

В каждой букве под оболочкой
тлеют угли его огня,
красотою удачной строчки
в несказуемое маня.

Одесса,
30 апреля 2011

Отпуск в Уэльсе

Неотвратимо, тревожно и странно:
годы летят, умножается проседь,
ныть начинают душевные раны —
это грехи отпущения просят.

Но у зазубренных стен Карнарвона
море Ирландское в скулу мне двинет.
Девичий смех — звучней карильона.
Кто ты, смешливая? Кинния? Гвинедд?

Взгляд не отводит, ни тени смущенья.
Сердце колотится — только нацелься.
Если грехи просят об отпущение,
может быть, отпуск поможет... в Уэльсе.

Карнарвон — Одесса,
апрель-май 2011 г.

Правда

Истина куда сложнее,
чем ты думала сначала.
В мире правды нет страшнее
той, что ты порассказала.
Правду резала наотмашь,
ко двору — не ко двору.
Потому, спасая дом наш,
я поныне вру и вру.

Верона,
6 июня 2010

Где ты, озимь?

Листья жухнут на морозе,
и недолог их побег.
Где ты, озимь? Где ты, озимь,
уходящая под снег?

Листья жухнут, с веток рвутся,
жизнь их, видно, истекла.
Им не суждено проснуться
под веснушками тепла.

Мы у осени попросим
хоть берложий, да ночлег.
Где ты, озимь? Где ты, озимь,
уходящая под снег?

Эти слезы на морозе,
как поминки каждый год.
Где ты, озимь? Где ты, озимь?
Где спасительный исход?

Гурзуф ,
16 сентября 2010

* * *

Я бы засыпал Советский Союз песком.
Ветром пустыни — до самых кремлевских звезд.
Пусть бы осталось хоть что-нибудь на потом
от мира, в котором я родился и рос.

От мира абсурдов, в котором давали жрецы
уроки безбожия — где это слыхано, видано?
И ритуальные тексты читали почти мертвецы
на мавзолее усопшего старшего идола.

Мира зеленых лужаек поверх безымянных могил,
где мы гоняли в футбол, я отцовские бутсы донашивал.
Мира, в котором я, может, и счастливо б жил,
если бы думал поменьше, о лишнем не спрашивал.

Я бы засыпал Советский Союз песком,
так же, как память свою, что болит и поныне.
Пусть бы осталось хоть что-нибудь на потом,
может, раскопки, а может, мираж в пустыне.

Хургада — Одесса,
27 ноября — 4 декабря 2010

Зачистка файлов

Перегружена память у старших.
Мегабайтам грозит сокращенье.
И зачистка файлов уставших —
это то же грехов отпущенье.

Позабыть бы, не тратить нервы,
что терзало меня до поры:
кого я обижал, во-первых,
кто меня обижал, во-вторых.

И отправлюсь куда далече,
жаждой странствий опять влеком.
А наступит срок, его встречу
улыбающимся стариком.

Одесса
23 апреля 2011 г.

Боязнь закрытых пространств

Это боязнь закрытых пространств. Я с ней знаком.
Страх скорлупы родовой с годами острей.
Если мне спать, — конечно, с открытым окном.
Если мне жить, — так лучше бы без дверей.

Это озноб закрытых пространств, стен, потолков,
скудных квадратов квартирных, отмерянных свыше.
Дед еще помнил, когда сквозняки Соловков
воздух студили для целой страны, как кондишн.

Это невольничья память, как спазм горловой,
генный испуг, что с веками еще не заглох.
Это сигналы скорлупки моей родовой,
проба пространства для жизни — на выдох и вдох.

Эдинбург — Одесса
8-26 апреля 2011

Метеоры

"Возможно... это самое красивое место на Земле"
Из путеводителя "Метеоры", Салоники, 1999 г.

Ведома ль, нет кому благодать —
дело Господне такое.
Можно и просто сюда приезжать
за красотой и покоем.

Здесь поднебесная выгнулась ширь
властью крутого пригорка.
Скальный на солнце горит монастырь —
крыш апельсиновых корка.

Ветер раскольник, гранитов разбег,
жизнь на обрыве, у края.
Здесь забывает себя человек,
запах пространства вбирая.

Из-под земли муравьиной тропой
в гору ползут пилигримы.
Известняков осенен мезозой
купиною неопалимой.

Высокотравье штурмуют шмели,
рай луговой растревожив.
Здесь я сижу — у разлома Земли.
Вот он я, Господи Боже!

Метеоры — Одесса,
май 2011



Галя МАРКЕЛОВА

Поэзия звука

Это было очень давно, в том царстве, в том государстве, где заснеженная улица Усиевича упиралась в зимний лес. Где под "Гастрономом" пьянчужки с интеллигентными лицами искали "Шипилова". (Кто вспомнит сейчас бедного советского функционера, ставшего первым саркастическим акцентом, поставленным "человеком с улицы" в восприятие советской действительности?) Там, где в уморительных очередях за сверхскромной снедью можно было встретить и поэта, и почитателя, и равнодушного, там же можно было ненароком столкнуться с полутрезвым щеголеватым Поэтом, собиравшим всегда стадионы обожателей.

"Йдут белые снѐги, как по нитке скользя"... Строчку эту Анатолий Борисович Свенцицкий (декламатор, как говаривала его мама, народный артист Литвы, а потом и России) всегда читал с ударением на первом слоге — "ѝдут белые снеги...". Архаизм, почти церковнославянское звучание, мгновенно включало временной механизм линейного, исторического времени, следования одного за другим, протяженности "от началу века" до сиюминутности, в которой скользили снѐги и "нитка" — жесткая, вещественная, гнетущая, противная — растворялась, расслаивалась, становилась невидимой в общем направлении скольжения, в вибрации звучания комариного, подсознательного "льзя".

А незатейливость, простота народной мудрости во второй строчке: "Жить да жить бы на свете, да, наверно, нельзя..." — с ее почесыванием затылка, с полупьяной ухмылкой собутыльника (мол, вон какой я умный, догадливый-то я какой!), доводит визг этого второго, усиленного "льзя" до крещендо, до осязаемого звука рвущейся завесы полотна метели, ткани холода земного, за которой скрыт потерянный рай и утраченное бессмертие. И только зуд от лязга замерзшей стали, обморочный взвизг невпопад проснувшегося комара, оторопь догадки ("льзя"!), уводящей в чащобу праязыка.... И нить, раздражавшая тебя, исчезает.

Ты погружен в огромность, во вселенскую грусть, в сакральное знание всех религий, в стремление всего человечества к раскаянию. Величие поэта, способного простыми словами вызвать вихрь чувств, когда на неосознанном уровне включаются невидимые механизмы, и слезы сами струятся из твоих глаз, обволакивает тебя, подставляя братское плечо для рыдания.

Игра гениальности, способной простыми словами вызвать водоворот чувств, когда на неосознанном уровне включаются невидимые механизмы, материализуясь в зримые, реальные слезы, посверкивающие в уголках плаз слушателя, есть подтверждением диалектического закона сохранения энергии. Чужая чувствительность обволакивает тебя, подставляя братское плечо для рыдания. (Ах, как жаль, себя, подлеца, что не можешь жить вечно! А ведь, кажется, мог бы!)

Нет, не только о переходе, а глобально, о всеобщей трансформации, о той великой загадке поэзии. Загадке, для которой нет ни времени, ни расстояния. Когда время имеет только векторную направленность (в будущее), срабатывая подобно сжатой пружине, и даже тоньше, сходно квантовому переходу с его способностью изменять свойства материи. Когда ты чуешь манящую цель неким животным блоком, скрытым в тебе, а то, что будет водить, носить тебя кругами по буеракам да болотам, застилать внутренний взор постыдным маревом, отбрасывая и удаляя из реалий действительности, не имеет никакого значения. Ты в омуте, где звуковые свили и вихри еще первозданны, но вот мгновение — и

"то, как зверь, они завоют, то заплачут, как дитя...".

И ужас, только что пронизывавший тебя направленной вибрацией гласных, организован гением в бессмертную строку. И язык изложения здесь не имеет никакого значения!

Гийом Аполлинер зачерпнул из этого коловорота вязкость меланхолии, текущей под мостом Мирабо, где звук течения закругляется и смыкает в кольцо любовь и смерть, выводя Стикс на поверхность ленивым течением Сены...

Самое пророческое, ведовское камлание в свистящем звуке "с", словно Тарасов хрущ, виражом сквозь видения Антоныча, не выдавая своего присутствия, просвистело в "Осанне Осени" Лины Костенко гимном созревшему золоту народного сознания в пронзительной голубизне грядущего, задолго, за несколько десятилетий, озвучив его цвет грудными регистрами отчаянной поэтессы.

Ряд этот длится и длится, проскальзывая влажной тропинкой по всем поэтическим полям, приостанавливаясь, прислушиваясь к рокоту розы ветров перекрестка Борхеса, удирая от предрассветного гомона птичьих согласных туда, к осязаемой гармонии, к вечному солнцу Поэзии.

Похвала Лютеру

Изящного письма гусиный папский росчерк
пространства разума к станку склонял, и гибли,
и падали леса, друидские лысели рощи
в угоду шелесту листов печатных библий.

Шурши псалмом, латинскую пролистывая мессу,
упрямый братец Мартин Лютер,
в тьму паствы свесив реформацию с отвесом
готических, национальных литер!

Конец, конец приходит эре Гуттенберга, —
империи фантазии парящего пера
с литым, свинцовым основаньем слова.
Ах, занесла ее словесная пурга!

Увы, мы очевидцы — чтение книг все реже...
Мы так уверовали во всезнанье монитора,
и странно, что душа не дрогнула на скрежет
мыши, барахтающейся в виртуальном соре!

Открещивались бабушки: "Свят! Свят! Свят!",
Пикантное пролистывая чтение,
А я отмахиваюсь нынче: "Спам! Спам! Спам!".
Пожалуй, совпадают мнения!

И есть соблазн всемирного масштаба —
все напечатанное скирдовать в единый файл,
чтобы затем злодей, блаженный ли, растяпа
движеньем пальца вмиг поудалял.

Тень Лютера на плечи Микрософта
бросает виртуальное пространство...
Так ельники рождественские сохнут —
их души в жертву слову больше не сгодятся.

* * *

Взошла луна, зависла над окном,
но странен, необычен стал наклон
ее над временем, теченьем дней,
где четче, где проявленней, ясней
библейская определенность — "время о̀но" —
в обыденном воскресла и знакомом.

В. К.

Не печалься, пичуга — подруга,
скроен крест в самый раз, по плечу,
отряхни все невзгоды — недуги,
и вперед, в небеса по лучу.

Круг за кругом под пристальным бденьем
сил пернатых и всех сил иных
воспаряй, хору вышнему внемля,
не скатись, получая под дых.

О, не счесть Божьей милости за день —
всякий раз, поднимаясь с колен,
постигаешь, что шанс тебе даден
миновать и приманку, и плен.

Щебечи, щебечи как подольше
О талантах, о судьбах, любви —
мы тобою в них вплѐтены тоже,
старики и старушки твои.



Тина АРСЕНЬЕВА

Иберийский бессмертник

1. Над рекою Тахо

Где твердые кряжи, пытаясь поставить предел
Разбегу равнины, легли с перебитым хребтом;
Где в робкие струи всевидящий зрак поглядел
И каменный остов речушки открыл под мостом;

Где в рост колоколен курчавые сосны нейдут,
А в зорях и звонах полощется проседь олив;
Где, что ни врата, совершается каменный суд,
Как волну, лоснящимся мрамором смерть убелив;

Где в храме обители юный возлег Дон Хуан
Усмешливым каменным гробом себе за грехи,
Подножием Спасу в отметинах колотых ран,
И мертвым, двоим, на подворье поют петухи;

Где бурые взгорья, впитав благородство кровей,
В суеты подножных местечек глядят свысока,
И песнь о Родриго эль Сиде ревет суховей,
Врываясь в руину в предсмертной горячке быка;

Где сизый дымок, восходя из девических уст,
Не ест молодому послушнику каменных глаз
И, каменный, в небе порожнем божественно пуст
Девический зрак над ладонью, воздетой за нас;

И где, разрубая в утесы базальт-монолит,
Цикадою свищет реки покривлённый клинок,
А справа-налево-сторонняя памятность плит
Колючую вязь врисовала в терновый венок;

И где автотрассы, террасы, стенные зубцы
Сдавили посад, словно лютой печали змея,
А с верха, с исподу, из чрева пестрят изразцы,
Как будто скудель воззвала к небесам: "Это я!" —

О, как же здесь внятен, четыре столетья спустя,
На малопонятном наречьи изгнанника плач,
В кривых лабиринтах, куда, автобан очертя,
Ввалился наш век и плутает, незнан и незряч.

И дух, вразумленный внезапной своей нищетой,
Трепещет, твердя златоуста-галерника* сказ:
— Что значит покинуть сей город, печаль моих глаз,
Сей град, серафимом крещенный в реке золотой!..

2. Мост

Растрясу запас убогих слов
И подамся нынче налегке
Слушать тихий звон колоколов,
Льнущий к тихо льющейся реке.

Лунный город ставит мне зачет,
Строчкой пуль серебряных прошит,
А река в Атлантику течет,
Притворясь, что вовсе не спешит.

И к чему мне вышитая шаль
И в сиренях мокрое крыльцо
Там, где знаю: потерять не жаль
В одночасье имя и лицо;

Не сгибаясь, лет гранитный груз
Потащить в почтении немом,
Где окно Хуана де ла Крус
Каменным затянуто бельмом;

Где на стрежне птичьих верениц
Белизна померкла на ходу,
Пустотою башенных глазниц
Зачерпнуть нежданную звезду;

* ¿Què tengo de despedirme de ver al Tajo dorado?..
Miguel de Cervantes
Надпись у моста Алькантара

И в медовом свете фонарей
Сосчитать и, как ни далеки,
Распознать персты монастырей,
Словно пальцы собственной руки,

Уяснив, что, мал или велик,
Перед этой твердой прямизной
Исчезаешь, как фонарный блик
Поутру с поверхности речной.

3. Город

И, не спросясь, — на петлистую лесенку спуска,
Накось в зигзаг переулка!
Сердце Кастилии, ты восхитительно пусто,
Каменным отгулом гулко.

И, безответно, — во все приоткрытые створки,
Через железные скрепы!
Ибо, как прежде, двуглавые агилы** зорки,
Львы над вратами свирепы.

И не поманит в узорочье свитая нега
Влагой багряно-зернистой:
Каждая улица — только расщелина в небо,
В оное входят конкистой.

Тысяча кованых врат для суровых напутствий,
Чтоб, отшагав мостовую,
Рокотом собственной крови и грохотом пульса
Тишь отмечать вековую;

И попроситься в ученье смиренно и просто,
Ибо пристрастие вздорно, —
В твердый урок у ристалища и у погоста,
Каменоломни и горна,

** Aguila — орел.

Чтобы пуд соли, кус хлеба, и бык, и голубка
Пелись в литании длинной...
Сердце Кастилии несокрушимо и хрупко:
Камень, проложенный глиной.

Наверняка от мирских загражденное толков
Улиц кольчужным сцепленьем,
Огнеупорное сердце ответствует только
Неба нещадным веленьям.

Сердце Ла Манчи врачует гранитные даты
И черепичные крыши,
В улицу Ангела ливень приняв благодатный,
Как благовещенье свыше.

4. На Гринвиче

Двунадесять — нет, сорок сороков
И семьдесят семижды ветряков,
Хоть, кажется, и ветра вовсе нет,
Белесый воздух мелют в желтый свет,
Как желтый злак в муку во время оно,
Возвысив над равниной костяки,
Чтоб с легкой дирижировать руки
Четверкой колоколен Арагона:

В четыре стана Дева дель Пилар*
Навытяжку вымаливает дар
Седым холмам, проплешинно-курчавым,
Колючим, смятым, в тропах меловых
Проложенных, ручусь, не для живых,
И, в нищенстве, надменно-величавым.

Ни колоса, ни лоз, ни миндаля.
По окоем пустынная земля
Черства, как в пыльных латах воин сивый.

*Собор Девы дель Пилар, или Богородицы Столпа, в Сарагосе.

Заржавел плуг и раскололся пресс,
Остался шаг до яростных небес —
Кровавый плеск в огонь неугасимый.

Лишь, угнездясь в обломе, монастырь
Маячит, пеплов каменную стынь
С ожогом вековым слия в покое,
Да в гладь небес, взойдя из суровья,
Четыре кипарисных острия
Вонзаются докукою мирскою.

В терпеньи упования прогорк
Сей край, стрясенный шествием когорт,
Себя вверяя Деве досточтимой.
Крещен огнем и Каином клеймен,
Громоздом поперек реки времен
Он лег, яря поток неотвратимый.

5. Коста Дорада

С высокой луною средиземноморская ночь
Не пахнет, я вам поручусь, ни лимоном, ни лавром,
Ну, разве что морем, и то, если помнить о главном:
Что это не Ялта, — поскольку почти что точь-в-точь.

Да вот еще что, — подмечаешь, слизнув карамель
С пластмассовой ложечки, сидя в кафешке случайной:
Ведь этой волною целовано столько земель,
Что взор ее моря от века доныне печальный.

В тяжелых бурунах уже захлебнулась луна,
А долго барахталась, будто подбитая птица, —
И даже цикада не свищет; в одышке волна,
И грузную тучу вдали полоснула зарница.

Средиземноморского утра скворчиный присвист
Глаза на свету защекочет незрелым лимоном,
А неба эмалевый таз по окружности мглист:
Глядишь, уже осень грядет на курорт с угомоном.

И точно, — помилуйте, осень-хозяйка честна! —
Сдавили беспечную синь многослойные пеплы,
А в них завозились балконы, и волны окрепли,
И спели: "Ты знаешь ли край, где навеки весна?".

6. Монтсеррат

Все та же на обочинах сосна
В девическом пушистом умиленьи,
И розово осклабилась десна
Горы, в подол сбирающей селенья,
Которые нисколько не бедны,
Не чуждые привычкам старины.

Здесь меньше башен и железных врат,
И беленые домики глазастей,
И облако, на темя Монтсеррат
Брюхато навалясь, вершину застит,
А выше туч в стерильность полнолунья
Помещена Патрона Каталунья.

Приблизясь — в ширину разъятых глаз
Не втиснуть, — недостанет слов подённых:
О, что за пропасть разделила нас,
Славнейшая из жен земнорожденных!..
О, как в зенит рванулись валуны —
К стопам порфиросолнечной Жены!

Не два, не три базальтовых столпа:
Стремительной незрячею грядою
Коленопреклоненная толпа
Встает, прямится, всходит чередою,
Выходит на отвес — и нет земли, —
Осталось — ввысь, в чем недра родили!

Ни посоха уже и ни весла,
Уже ни слова до, ни слова после,
Лишь мнится, что вершины сотрясла

Паломников натруженная поступь;
Лишь мглится в небе синь пороховая,
Лишь длится: "Из глубин к Тебе взываю"...

...А там уж не к базальтовой — к живой
Чреде пристроясь в полутьме собора,
Который нашпигован столбовой
Усопшей знатью, — пядь за пядью, — споро
Цифруем память: ангела — у врат,
Себя — на фоне Девы Монтсеррат.

"Silencio", — лишь вспышки и щелчки.
Томление, почти как на вокзале.
Сухих прелатов мертвые зрачки,
Усатый Змееборец в круглой зале,
Светильники, надгробья, алтари.
Стекло. Кумир эбеновый внутри.

Такие встречи странны, — поза — блик!.. —
Ведь скалы строем двинулись недаром.
Сей королевский долгоносый лик,
Покрытый несмываемым загаром, —
Но скрытность глаз — и тверд стопы упор, —
Ах, вот оно: пастушка здешних гор!

Но что я, кроме "Радуйся!", скажу
Сей царственной готической пасторе?
Каким местам и дням принадлежу?
Какой мне прок от царств и их историй?..
Что Бог всезрящ, но Каин ищет трона...
Храни нас, Каталонская Патрона!

И пусть в невзгоду вспомнится исход
Нагих титанов, к горним поселеньям
Поверх зеленых гор, соленых вод
Стремящих путь нездешним повеленьем,
В стремленьи позабыв, что всяк — вершина,
Святой обет держа ненарушимо.

7. Cobertizos*

От Исавели к Урсуле, от Павла к Луке,
К двум Доминикам, к Лоренцо, Тересе и Кларе, —
Кладези неба! Вот кануть в такой налегке,
Оттанцевав на земном, на вертящемся, шаре.

В сумерках, ставя стопу осторожно, как вор,
Голову вскинув, несу изумленное бденье:
Где же сквозь толщу гранита сочится во двор
Дамбою стен загражденное мерное пенье?..

Каменность, где голосам не ответствует даль,
К воле людской несклонима, как жажда и голод;
Глыбами сдавленный, голос бурит вертикаль,
Словно растущий от гальки до флюгера город.

Скальная мощь монастырских излучин. Молчок.
Донные сумерки улиц, не знающих полдня.
На полушаге зазывный смирят каблучок
Пестрые гальки, походку инакую помня.

Нет, не гранаты, — гранит; не браслеты гитан —
В звонком искрении гибкие полосы стали.
В сердце потупленной Девы входящий металл.
Ступор проулков, врасплох загражденных крестами.

Ввысь пламенеющим сводом, — рывком из оков,
Шпилем буравя эпохи в крови поколенной, —
Сумрачный город, ты светлая точка веков,
Словно чумного столетья зрачок гобеленный!

Переживи нас, — храни, не меняясь в лице,
Вычертя века параболу аркой подковной,
Рыцаря приснопечальный портрет в изразце
И розмаринов над речкою запах церковный.

*Район монастырских галерей в Толедо: "Навесы".

Снежана ПАВЛОВА

"Мой дед — Шолом-Алейхем"



Бел Кауфман

В этом году (13 мая) исполнилось 95 лет со дня смерти писателя Шолом-Алейхема.

Внучка классика еврейской и мировой литературы, автора легендарного "Тевье-молочника", писательница Бел Кауфман живет в Нью-Йорке. Ей 10 мая исполнилось 100 лет, и она полна идей, связанных с проектами, направленными на популяризацию творчества Шолом-Алейхема.

Мы связались с Бел Кауфман и сразу стало ясно: дар любви к людям, жизни, умение тонко иронизировать, шутить очаровательной Бел передалось по наследству от ее известного и всеми обожаемого дедушки.

— Ваше детство прошло в Одессе во время революции. Какие воспоминания оставил тот период жизни?

— В Одессу я приехала с родителями, когда мне было три года. Во время революции я, конечно, волновалась и боялась, мне это передавалось от взрослых. Родители тогда много говорили о ЧК, нас называли буржуями, и мы сразу сделались врагами, потому что большевики ненавидели буржуев.

Я отчетливо помню голод. Я стояла в очереди за зеленым хлебом, который был сделан из гороха, так как не было муки. Когда мой братик родился, мне было 9 лет. Однажды я гуляла перед нашим домом на Ришельевской. И вдруг подошли две женщины в кожаных куртках, вынули из коляски ребенка, положили его на мои худые руки, сказав "У нас тоже дети", забрали коляску. Я пришла домой с ребенком в одеяльце, мокром от моих слез. Меня увидела мама и спросила: "Белочка, что случилось?". А я ответила: "У них тоже дети!". Еще я помню, как из Америки прислала моя бабушка, вдова Шолом-Алейхема, посылку, в которой был кусок шоколада. Мы ели его, как мышки, по маленьким кусочкам каждый день. Мама говорила, что как только мы приедем в Америку, она купит этот шоколад. И она нашла его: оказалось, что это кусковой шоколад для кондитерских изделий. Но для нас, голодных, измученных, это был самый замечательный шоколад!

Была еще история. Меня отправили на одну неделю в лагерь для детей, потому что там кормили. И я помню, нам каждому дали по кусочку

вареного мяса, и каждый его делил на более маленькие кусочки, чтобы на больше хватило. Папа мне принес тогда подарок в лагерь — пол-апельсина. Я положила его под подушку. А кто-то из ребят украл. Я помню, как мне досадно было тогда...



С дедушкой

— Как вам удалось выехать в Америку?

— После революции нужно было уехать из-за преследований. И мама спасла нашу семью, иначе бы нас убили. Имя моего дедушки Шолом-Алейхема было очень известно, и моя мама пошла к министру культуры Луначарскому, сказала ему, что хочет навестить свою маму, вдову Шолом-Алейхема, в Нью-Йорке со своим мужем и двумя детьми. Это был умный ход. Луначарский чтил Шолом-Алейхема, тут же подписал нужные бумаги, и мы легально выехали в специальном вагоне прямо в Ригу, а оттуда на пароходе в Америку. На этом же пароходе впервые ехал в Америку с труппой актеров Станиславский.

— Помните, каким был дедушка?

— Он обожал меня и мою двоюродную сестру Тамару, которая была на пять лет старше. Помню, как мы втроем гуляли по Женеве, и он, показывая на горы, говорил: "Видите эту гору, я дарю ее Тамарочке, видите это озеро — я дарю его Белочке". Когда я выросла, я поняла, что его настоящий подарок — любовь к людям и к юмору, гораздо важнее выдуманного им подарка — озера. А еще во время прогулки я крепко держалась за его руку, потому что он мне говорил: чем крепче я буду держаться, тем лучше он будет писать. Так теперь я всегда шучу, что если вам нравится, как он пишет, то это из-за меня. Я очень крепко держалась!

— Он в жизни так же шутил, как в своих произведениях?

— Дедушка был очень веселым и говорил с детьми на смешном языке, выдумывал игры, а меня научил говорить рифмами. Я все еще пишу рифмами... Шолом-Алейхем говорил: "Даже если вы не понимаете шутки, смейтесь заранее! Когда-нибудь вы будете их понимать". А в заве-



Одесса. 5 лет

щании он просил, чтобы на каждую годовщину его смерти люди не предавались скорби, а собирались вместе, читали его смешные рассказы и веселились.

Там, где был дедушка, было шумно и весело. А ведь у него была трудная жизнь. Он был бедным, у них с Ольгой было шестеро детей. Дедушка зарабатывал творчеством и подрабатывал, где мог. Было и такое, что он получил много денег от отца своей жены в наследство и все проиграл на бирже в Киеве. А моя бабушка Ольга работала зубным врачом. В то время это не давало большого заработка, но она, как получалось, помогала прокормить семью. А ведь в Киеве в то время евреям можно было жить, только если у них была профессия. Так вот дедушка даже пытался показать ее пациентам, что она пользуется известностью. Для этого он иногда просил членов семьи надеть пальто и шапки, положить каждому вату за щеку, как будто щека опухла от флюса, и сидеть, постанывая от зубной боли в приемной у бабушки, будто ожидая своей очереди.

— Что выделяет писателя Шолом-Алейхема среди других писателей России, Европы и Америки, на ваш взгляд?

— Он сделал идиш литературным языком. Ведь он писал и говорил со своими друзьями на идиш. Шолом-Алейхема обожают во всем мире. Его именем названа улица в Нью-Йорке. А когда я выступала в Монреале, ко мне обратился мужчина в инвалидной коляске: "Я слепой, вас не вижу, я глухой и вас не слышу, но когда я узнал, что приезжает внучка Шолом-Алейхема, я решил, что должен дотронуться до вашей руки". Это было так трогательно! Шолом-Алейхема любят не так, как других писателей — Толстого и Диккенса, например. Его любят как члена всемирной еврейской семьи. И он оставил в наследство в своих произведениях любовь к жизни и к людям. Это его выделяет.

— И вы знаете идиш?

— Я вполне понимаю идиш, но говорю на нем не очень хорошо. У нас в семье говорили только по-русски. Мой первый язык немецкий, так как

я родилась в Берлине. А о дедушке рассказываю на английском языке, и для русских — на русском языке.

— Мюзикл по произведениям Шолом-Алейхема до сих пор показывают на Бродвее?

— Да, хотя мюзикл "Скрипач на крыше" был поставлен почти 40 лет назад по мотивам повести "Тевье-молочник". Это замечательный мюзикл, пользуется большим успехом, и я была на премьере вместе с мамой и братом!

— А перед постановкой советовался с вами режиссер?

— Конечно, и я даже помогла. Тогда у нашей семьи был очень плохой адвокат. И мне в театре пожаловались, что мы не можем подписать контракт, потому что не отвечает наш адвокат. Я позвонила, и через пару дней контракт был подписан. Я горжусь этим, ведь без этого могло не быть такого спектакля — "Тевье" (тогда он так назывался).

— Вы ведь тоже пишете. Наверное, вас невольно сравнивают с дедушкой?

— Я была тронута, когда вышла моя книга "Вверх по лестнице, ведущей вниз". Критики одобрили, сказав, что у меня такой же юмор и гуманизм, как и у Шолом-Алейхема. Мне показалось, что таким образом они дали мне позволение писать...

— Как вам удается быть в такой прекрасной форме?

— Я слишком занята, чтобы стареть! Я всем интересуюсь, веду активный образ жизни. Вот только жаль, дети живут далеко, в разных штатах...

— В Украину не собираетесь?

— Я была и в Киеве, и Одессе. Это красивые города! Украину с большой ностальгией вспоминал дедушка, мне рассказывала мама. Ведь он там прожил большую часть своей жизни. В одном из писем он прямо сказал: "Киев — это ведь мой город". А в другом написал: "Как скромно выглядит Киев после блестящего Парижа и после чистенького Берлина! И все-таки, если бы мне предложили выбрать один из трех городов, я остановился бы только на Киеве, хотя он не так благоухает и не так благоустроен".

Досье

Бел Кауфман родилась 10 мая 1911 года в Германии, где ее отец учился на медицинском факультете Берлинского университета. Выросла в Одессе, с 1922 года в США. Первую поэму, "Весна", опубликовала в детском журнале в 7 лет. Потом писала для школьного журнала, в колледже — для журнала колледжа. Печатала короткие рассказы в общедо-

ступных изданиях. Впервые подписалась именем "Бел", а не "Белла", для того чтобы опубликовать рассказы в журнале для мужчин "Эсквайр" (редакция не печатала женщин-авторов), и это стало ее псевдонимом.

Долгое время работала школьной учительницей. Славу Бел Кауфман принес роман "Вверх по лестнице, ведущей вниз" (1965 год). Это роман о школьниках и их учителях, детях и взрослых, о тех, кто идет против системы. Имеет двух детей. Дочь Тия (67 лет) — психолог. Сын Джонатан (69 лет) — профессор математики.

Замужем за Сиднеем Глаком, президентом "Фонда Шолом-Алейхема", который занимается популяризацией, переводом и изданием книг Шолом-Алейхема, и организацией еврейских фестивалей в разных городах и странах.

На заметку туристам и поклонникам

1. Мемориальная доска Шолом-Алейхема находится в Киеве (Саксаганского, 27), Одессе (Канатная, 28) и Львове. Также улицы Шолом-Алейхема есть в Белой Церкви, Житомире, Полтаве. Памятники Шолом-Алейхему стоят в Киеве (в центре города, в скверике на улице Рогнединской) и в Москве на пересечении Большой и Малой Бронной. Похоронен Шолом-Алейхем в Нью-Йорке, на кладбище в Квинсе, в 1916 году.

2. Новый музей Шолом-Алейхема (филиал Музея истории города Киева), который был открыт к 150-летию писателя, находится на Большой Васильковской, 5. Также усадьба-музей Шолом-Алейхема (и его бронзовый бюст) есть в Переяславе-Хмельницком под Киевом, где родился писатель (Летописная, 2). Мемориальный архив-музей есть и в Тель-Авиве (Беркович, 4.). В архиве хранятся свыше 400 оригиналов рукописей и свыше 7000 писем Шолом-Алейхема и его адресатов.

3. В репертуаре Киевского национального академического украинского драмтеатра им. Ивана Франко есть знаменитый спектакль "Тевье-Тевель", где мудрого еврейского молочника блестяще играет Богдан Ступка. Спектакль смело можно назвать одним из самых популярных в Киеве. Билеты на него нужно покупать за месяц.

А каждый год в Киеве проходит международный театральный фестиваль "Блуждающие звезды", посвященный творчеству Шолом-Алейхема, в Чернигове — городской фестиваль еврейской культуры имени Шолом-Алейхема.

Фото из личного архива Бел Кауфман



Ольга ТАНГЯН

Возвращение в Украину

Рассказы художника Амшея Нюренберга (1887-1979) об учебе в Елисаветграде и в Одессе дополняются письмами его мецената – немецкого агронома коллежского секретаря Оскара-Яна-Эмиля Августиновича Беренса. Использованы материалы из Художественного музея города Кировограда (бывшего Елисаветграда) и личного архива внучки художника Ольги Тангян.

О ранних годах моего деда известно мало. Откуда у провинциального мальчика появился интерес к искусству? От увиденных дома олеографий с изображением голландской зимы? Кто были его первые учителя?

В "Автобиографии" Нюренберг приводил такие сведения о своей юности в Елисаветграде и Одессе:

Родился в 1887 г. 17 апреля в городе Кировограде (бывшем Елисаветграде). Влечение к рисованию я рано почувствовал.

Первым моим учителем изобразительного искусства был маляр альфрейщик Иван Глинянный. Он великолепно владел росписью стен и потолков в трактирах и чайных. Когда дело касалось изображения идиллических фигурных сцен и романтического украинского пейзажа, он меня брал в помощники. Я, конечно, был очень рад. У него я узнал также первые приемы скульптуры.

Через год я с помощью одного агронома, которому понравились мои работы, отправился в Одессу, где был принят в головной класс Одесского Художественного училища. Руководителем этого класса был итальянец Иорини.

Потом я перешел к Ладыженскому — замечательному акварелисту, который меня быстро переправил к Костанди, сказав, что "у него мне нечего делать". У Костанди я пробыл до 1910 г., изучив настоящую колоритную живопись. Костанди был блестящим мастером станковой живописи. В это время я начал готовиться в Париж, куда меня звали мои бывшие друзья по школе: Мещанинов, Федер и Мильман...

(Архив Нюренберга)

Недавно в архиве Нюренберга обнаружились и три его рассказа "Елисаветград", "Одесса. Осень 1904", "Погром", написанные предположительно в 1930-1940-е годы. В первом рассказе, "Елисаветград", Амшей предстает 15-летним мальчиком, робко начинающим заниматься искусством.

Он имеет художественный талант, но сознает, что ему как старшему сыну в семье следует, в первую очередь, подумать о насущном хлебе. Поэтому он идет учиться писать трактирные вывески в малярную школу.

Амшей был одаренным и хорошо воспитанным молодым человеком. И обладал способностью располагать к себе людей. Среди тех, кто симпатизировал ему, оказались учитель рисования в школе, руководитель малярной школы Глинянный, владелец конторы инженер Гольденберг, делавший ему первые заказы, а главное, его меценат — немецкий агроном Беренс, который финансировал его учебу в Одесском художественном училище. Покровительство Беренса предопределило выбор профессии Нюренберга.

Известно, что фамилии часто указывают на происхождение семьи или род занятий. Размышляя над историей фамилии Нюренберг (первоначально она писалась как Ниренбергъ), можно предположить, что предки моего деда происходили из одноименного немецкого города. Свое имя Амшей художник объяснял как производное от Иегова — Иешуа. Его отец Марк был глубоко религиозным человеком, и потому дал старшему сыну библейское имя.

Семья Нюренбергов была небогатой, но многодетной, — 10 человек детей. Отец Марк занимался торговлей рыбой. Однако больше всего его интересовали метафизика и религия. Он хорошо знал Священное Писание и любил пофилософствовать на библейские темы. По воспоминаниям сына Амшея, отец мог горячо включиться и в дискуссию о том, сколько жен было у царя Соломона, и как он с ними уживался.

Трудно было ожидать от человека, столь далекого от реальности, успехов в торговле. Больших успехов у него действительно не было. Непосредственно торговлей занималась мать, которая не разделяла отвлеченных интересов своего мужа и полностью посвятила себя заботам о семье. Нюренберг запечатлел типичный диалог-спор, возникший между родителями относительно того, как распорядиться первым заработком сына и как отнестись к предложению Беренса послать его учиться в Одессу. Несбыточным иллюзиям отца противостоял трезвый взгляд на жизнь матери:

Отец первым делом потребовал, чтобы я свой золотой спрятал на счастье или приобрел на все пять рублей выигрышных заграничных билетов:

— Чем черт не шутит, — говорил он, как обычно, ковыряя в ухе в моменты волнения, — вдруг мы все разбогатеем, и тебе, сынок, не придется писать вывески. Ты сможешь сдать экстерном за восемь классов гим-

назии и потом поступить в университет. Выйти в люди. Все может случиться.

Но мать, не знавшая тяжелого плена тщеславия, ему убеждающе говорила:

— Чего ты пристал к мальчику? Не понимаю. Нашелся человек, который хочет помочь ему достигнуть цели, — и пусть. Пусть он едет в Одессу. Счастливого пути!

("Елисаветград")

Так молодой человек решает ехать учиться в Одессу, где, по словам хозяина технической конторы Гольденберга, можно легко "сделаться человеком". Тогдашняя юношеская наивность описана им с известной иронией:

И я, убаюкиваемый этой сладкой лестью, незаметно для себя отрываясь от работы, живо рисовал себе далекую сказочную Одессу, где можно скоро сделаться человеком. Одесса мне казалась городом, равным Нью-Йорку, Парижу. В возбужденном горячем мозгу рождались фантастические образы длиннейших улиц и небоскребов. По асфальтированным улицам неслись толпы спешащих, хорошо одетых, тщательно умытых и выбритых счастливых людей.

("Елисаветград")

Существовало несколько версий того, как познакомился молодой Нюренберг с Беренсом. Из рассказа Нюренберга "Елисаветград" следовало, что знакомство произошло благодаря инженеру Гольденбергу, для которого Нюренберг делал заказную работу, и который рекомендовал его будущему меценату. По версии писателя Виктора Финка, получалось, что меценат познакомился с молодым Нюренбергом в лавке, где была выставлена его скульптура Льва Толстого*:

Летом 1904 года в Елисаветграде, в писчебумажном магазине был выставлен для продажи бюст Льва Толстого. Говорили, что эта работа какого-то местного жителя.

Но вот пришел в магазин ученый агроном, некий Беренс. Скульптура заинтересовала его, он пожелал познакомиться с автором. Приказчик сбегал и через несколько минут привел мальчика лет пятнадцати. Это и был скульптор-самоучка.

Мальчика звали Амшей Нюренберг. Ему очень хотелось учиться, но не было средств. А ученый агроном оказался русским интеллигентом. Он не

* Поскольку комплект открыток был выпущен при жизни Нюренберга, эта версия не могла возникнуть без согласования Финка со своим другом. Возможно, Нюренберг хотел романтизировать свой дебют.

смог оставаться равнодушным к судьбе молодого таланта. Он увез мальчика в Одессу и устроил его в художественное училище, где начинающий скульптор предпочел учиться живописи. Беренс содержал его до окончания курса и помог ему поехать в Париж для дальнейшего усовершенствования. Ведь о петербургской Академии художеств мальчику в то время и мечтать нельзя было.

(Сопроводительная статья В. Финка к комплекту открыток
с репродукциями работ А. Нюренберга. М., "Советский художник", 1970 г.)

Легендарная личность Беренса приобрела реальные очертания, когда я прочла его письма своему подопечному и увидела фотопортрет с надписью: "Моему дорогому брату, Амшею, на добрую память от просящего у него прощения за содеянное зло". Беренс хорошо знал пословицу: "Не хочешь зла — не делай добра". На самом деле, если бы он мог предвидеть, как сложится профессиональная судьба Нюренберга, он бы не пожалел о "содеянном зле".

Переезд из Елисаветграда в Одессу явился важным событием биографии Нюренберга. Молодой человек 17 лет впервые покинул свой дом и начал самостоятельную жизнь в большом городе. Он снял комнату вместе с тремя другими жильцами, с видом на море и стоящие в порту корабли. Вначале ему жилось нелегко, но в Одессе он встретил многих единомышленников и начал участвовать с ними в совместных выставках.

Море стало для молодого художника главным открытием и источником вдохновения. Не случайно в ранних картинах Нюренберга преобладали морские мотивы: "Паруса" (1910), "Алые паруса" (1910), "Купальщики" (1916), "Белые паруса" (1916). Сюжет и название одной из картин предвосхитили название романа "Алые паруса" (1923) писателя А. Грина, тоже одержимого морской романтикой.

В Одесском художественном училище Нюренберг сначала посещал классы скульптора Иорини и акварелиста Ладыженского, затем класс академика Костанди. Спустя несколько лет вслед за Амшеем тот же класс окончил его младший брат Давид (позже известный как Д. Девинов-Нюренберг). Оба художника считали себя учениками Костанди.

Можно позавидовать памяти и наблюдательности Нюренберга, запомнившего все детали внешности, одежды, манеры разговаривать, маленькие слабости своих профессоров. Он считал, что душевные свойства учителя играли для ученика подчас более важную роль, чем его педагогические таланты. О профессоре Иорини, который не только наставлял молодых людей, но и отечески опекал их, написано с особой теплотой:

Его метод преподавания, построенный на старых академических принципах, казался нам скучным. Но задушевная искренность и всепоглощающая любовь к искусству этого редкого человека делали то, чего не могли делать лучшие методы преподавания. С Иорини я скоро не без грусти расстался, перейдя в основной гипсовый класс.

("Одесса. Осень 1904")

О профессоре Ладыженском, которого он недолюбливал, но склонял голову перед его авторитетом, было сказано выразительно и жестко:

Это был крайне нервный, желчный и как динамит вспыльчивый человек с лицом старой хитрой мартышки. Его замумифицированное сердце редко давало чувствовать себя и казалось мертвым. Его слова, напитанные ядовитой слюной, в состоянии были вывести из терпения самых толстокожих людей. Он избегал общества и почти всех людей рассматривал как своих личных врагов. Но его класс пользовался заслуженным авторитетом, и оценка, данная Геннадием Александровичем, решала участь учащегося.

(Там же)

Большинство сохранившихся писем Беренса своему подопечному относится к периоду учебы Нюренберга в Одесском художественном училище. В первом сохранившемся письме от 1905 г. Беренс четко сформулировал цель, ради которой Нюренберг должен был учиться:

...Учитесь усердно, чтобы, достигнув того, к чему Вы стремитесь, для чего Вы учитесь, Вам бы со временем жилось легче.

Беренс был строг: мог похвалить Нюренберга, но мог и отругать, и даже отказать ему в просьбе. И требовал отчета за проделанную работу, скрупулезно проверяя, на что были потрачены деньги. Он не был расположен помогать в тех случаях, когда был не убежден в целесообразности своей помощи. В письме 1909 года он писал:

К моему великому сожалению, я должен Вам ответить отказом в Вашей просьбе. ...Но я не чувствую своей вины только потому, что я глубоко убежден, что Вы вступили на ложный путь.

Будучи студентом, Нюренберг подпал под влияние декадентских настроений. Тогда была в моде пьеса О. Уайльда на библейский сюжет "Саломея". И Нюренберг написал серию чувственных картин с изнеженно возлежащей на ложе царицей ("Завтрак Саломеи", 1911; "Пир Саломеи", 1915). В письме 1908 года Беренс предостерегал молодого художника от увлечения модными течениями:

Бросьте и Вы лучше эти настроения, которые никому ничего положительного не дали, а лучше изучите прежде то, что создано другими. А уж

когда изучите все существующие школы, то выбирайте любую из них или даже создавайте свою собственную, если хватит на то сил, но теперь увлечение декадентством только может сбить Вас с толку, помешав изучать то, для чего Вы поступили в школу.

Он упрекал молодого человека в недостаточном трудолюбии, поскольку тот полагался скорее на свой талант, чем на тщательную работу. У Беренса были основания для недовольства. Вскоре после поступления Нюренберга в училище в 1904 году начались политические волнения, отвлекавшие его от занятий. Потом Нюренберг прерывал образование для поездки в Париж и был вынужден позже сдавать недостающие экзамены. В результате он лишь в 1917 году сумел получить полноценный диплом. Все это не могло радовать его покровителя. Беренс распекал нерадивого студента еще в 1909 году:

Вы говорите, что в Академию уже поздно подавать прошение, что Вам хотят дать какой-то "куцый" аттестат. Да разве, если бы Вы серьезно любили Ваше искусство, Вы не подумали бы о том, что подать прошение нужно тогда-то, да разве Вы могли бы получить куцый аттестат?

Благотворитель Нюренберга пытался уговорить его не ехать учиться в Париж, усматривая в этой поездке тягу к легкой богемной жизни, а потому лишь пустую трату времени:

Но что может Вам дать Париж при Вашем отсутствии характера и настойчивости в достижении известной цели — я легко могу себе представить, а потому искренне Вас отговариваю от этой мысли. Подумайте хорошо над этим, Вы сами себе сознаетесь, что Вас тянет в Париж не искусство, а парижская жизнь, которую другие Ваши товарищи с "куцыми" аттестатами нарисовали особенно привлекательной.

Беренс первый отметил некоторую противоречивость натуры Нюренберга: его желание заниматься сразу несколькими предметами, в частности, искусством, литературой, философией. А также разбросанность устремлений и отсутствие конечной цели.

Несомненно, что Беренс был во многом прав. Но он рассуждал о творческой работе с точки зрения служащего, а не художника. Подобная мудрость не всегда применима к творческим натурам, которые нуждаются в жизненном опыте и знакомстве с другими культурами. Им необходимы яркие впечатления, они не могут существовать в замкнутом пространстве. Поэтому Париж, куда в начале XX века устремились художники со всех концов света, был для молодых людей особенно притягателен.

Однако главное в отношениях мецената и начинающего художника было то, что он не ограничивался лишь денежной помощью, но стал для молодого человека наставником. Призывал его трезво оценивать свои возможности. Свою строгость объяснял тем, что ему было небезразлично его будущее, что он хотел оградить его от дурных влияний и ошибок. При этом Беренс неизменно проявлял заинтересованность в судьбе своего протеже, искренне радовался его успехам. И поддерживал в нем веру в успех.

Иногда его письма становились по-настоящему теплыми. Так в 1912 году он писал 25-летнему юноше в Париж:

Если Вы действительно имели намерение облегчить мою ноющую душу, то Вы достигли этого вполне, и я крепко обнимаю Вас за Ваше прелестное письмо. В нем Вы поговорили со мною искренне и сердечно, забыв совершенно о форме и стиле, так много портивших Ваши прежние письма и так заслонивших мне того Нюренберга, которого я в Вас всегда чувствовал.

Ну и какой же из Вас декадент? Разве Вы сами этого не видите? Следуйте Вашему сердцу и чувству, отбросьте все модные учения и увлечения разными направлениями, и Ваши произведения кисти также смогут тронуть до слез, как и несколько просто написанных строк, которыми Вы меня так тронули.

А я глубоко верю, что то, что положено Богом в Вашу душу, рано или поздно выйдет наружу, а мне только кажется, что я лучше Вас видел, что у Вас там есть, и вижу теперь, что предположения мои сбываются.

В связи с письмами Беренса вспоминается известное высказывание: "Любить — это видеть человека таким, каким его задумал Бог". Как человек был задуман, можно судить по его ранним годам жизни. При ближайшем рассмотрении первоначальный замысел угадывается и в последующие годы. Действительно, Беренс сумел увидеть в молодом человеке то, что в полную меру проявилось в нем лишь позже.

Бесспорно одно: Нюренберг испытывал к своему покровителю глубокую признательность. Иначе он не хранил бы всю жизнь его письма и фотографию. И не сдал бы их потом в музей как реликвии.

С Одессой у художника были связаны не только приятные воспоминания. Там застали его и трагические события: политические волнения, еврейский погром 1905 года. Рассказ Нюренберга "Погром" об известных событиях в Одессе в октябре 1905 года стал уникальным свидетельством очевидца. Автор сумел передать испытанные им ужас и унижение. В исключительной ситуации он не потерял самообладание, а был готов к са-

мообороне и даже мечтал о мщении. Именно в связи с первым пережитым погромом зародились социалистические убеждения Нюренберга, приведшие его позднее к участию в революционном процессе.

В 1919 году еврейский погром произошел и в родном городе художника. Нюренберг уже не жил в Елисаветграде и описал события со слов родителей, которых приехал навестить:

Мать и отца я нашел в подавленном состоянии. После погрома они пожелтели и осунулись. Много печального рассказала мать в тот вечер. Медленно скатывались крупные слезы на ее голубую кофту. Отец курил и изредка шептал: "О Боже мой! О Боже мой! Где ты был во время погрома? Не стыдно тебе!". Молча слушал я сетования отца на Бога. В горле закипали слезы.

(А. Нюренберг. Одесса – Париж – Москва. М., "Мосты культуры", 2010, с. 190)

Родители рассказали сыну, что пострадали многие друзья. Погиб школьный учитель рисования Нюренберга, собиравший его ранние рисунки. На глазах у его друга, художника Зоси Константиновского, были убиты отец и брат. Тот успел убежать, но чуть не сошел с ума. После этого они с женой поспешили оставить родные края.*

Сами родители не пострадали, но судя по сохранившимся документам, так до конца дней и не смогли оправиться от шока. Из письма сестры Анны брату Амшею 10 июня 1920 г. (из Елисаветграда — в Москву):

*Мама и Папа немного изменились, поседели и побледнели. Особенно папа после Яшиной** болезни изменился. Теперь — неполучение вестей, неполучение рыбы вовремя, все волнует его и тревожит.*

Если бы можно было Маму и Папу отправить на поправку куда-нибудь, было бы хорошо.

Мать утратила волю к жизни и умерла в Елисаветграде в 1922 году. Дневниковая запись Нюренберга за этот год была печальной:

Никогда уже мне не говорить "мама" или "мать". Мать умерла 26 января в 6 часов утра, не приходя в сознание.

(А. Нюренберг. Одесса – Париж – Москва. М., "Мосты культуры", 2010, с. 272)

Нюренберг часто писал старых людей. Изображая старых супругов, представлял себе своих родителей. Такова была картина Нюренберга "Ужин" (1930 год, Третьяковская галерея). Двое пожилых супругов запечатлены за скромной трапезой и за разговором, который мог сводиться

* Иосиф Константиновский покинул Одессу в 1919 году на корабле "Руслан", в трюмах которого меценат одесских художников Яков Перемен увозил в Палестину свою коллекцию. Там же были и ранние полотна Нюренберга.

** Яков — младший брат Амшея.

к следующему: муж строил перед женой очередные "воздушные замки", та соглашалась, устало кивая головой:

Никогда не увянет в моей памяти печальный образ моих настрадавшихся стариков. И теперь, когда я пишу или рисую старых людей, передо мной ярко оживает этот непотухающий скорбный образ.

(А. Нюренберг. Одесса – Париж – Москва. М., "Мосты культуры", 2010, с. 190)

Определенную роль в развитии взглядов Нюренберга сыграли беседы, которые вел с ним сосед по комнате социалист-портной Минастянц. Это он открыл молодому Нюренбергу глаза на несправедливое устройство общества и советовал писать портреты бедных людей, лица которых считал более значительными, чем лица богачей ("Одесса. Осень 1904").

За свою жизнь Нюренберг написал целую галерею портретов бедных и старых людей, которых называл "рембрандтовскими стариками". Когда Рембрандт начал писать портреты стариков и старух, это вызвало недоумение у его современников. Тогда были в моде парадные портреты знати и богатых горожан. И во времена социалистического реализма не было принято писать портреты старых, больных и инвалидов. Однако Нюренберг оставался убежденным хроникером украинских местечек, воссоздавая образы, увиденные им в детстве, которые он объединил позднее в серию "Юдаика" (в современной транскрипции – "Иудаика"). Одна из лучших картин этой серии имела два названия – официальное "Инвалид войны" и неофициальное "Жертва еврейского погрома". В 1927 году эта картина была выставлена в парижском Осеннем салоне.

Из неопубликованного дневника А. Нюренберга:

1936. Осень.

Приехали из Немирово, где провели неплохих два месяца.

*Писал евреев. Чудесный, живописный материал! Какие руки, шеи и глаза. Ах, как жаль, что я раньше не занимался этим матерьялом. Я только теперь вошел во вкус. Как жалко, что столько лет было потрачено зря на разные безделушки, никому не нужные, никого не волнующие. Написал триптих из Гражданской войны: 1. Еврей-партизан уходит на фронт и прощается с семьей; 2. Еврея, тяжелораненного, привозят домой. Его встречает семья. Осень за окном. Привозят русские товарищи; 3. Новая жизнь, после всех трудов – веселье. Танцует молодежь. Молча, грустно-радостно наблюдает старость.****

*** А. Нюренберг "Счастливая юность", масло, 1936 год, находится в музее г. Запорожье.

Рассказы Нюренберга отмечены особым стилем. Пишущий художник отличается от профессионального литератора. Для художника природа — всегда пейзаж. Со своими красками, композицией, драматургией:

С моря налетел холодный сырой ветер. Он приволок две тучи, окрашенные сажей, и нелепо растянул их над восточной частью города.

("Погром")

Во время печальных событий:

Небо висело, как серая простыня.

(Там же)

А человеческое лицо для художника — это предполагаемый портрет, который ему было бы интересно написать:

Руководитель школы маляр Глинянный — человек добрый с робкими темно-коричневыми застенчивыми глазами, сухим лицом и нахмуренным низким лбом, навевавшим воспоминания о ноябрьском степном небе, встретил меня неприветливо.

("Елисаветград")

Неодушевленным предметам Нюренберг умел придавать собственный характер, используя неожиданную красочную метафору. Он не раз рассказывал о том, что его друг парижанин Марк Шагал воспринимал "витебские заборы" как своих друзей, о которых тосковал вдали от родины. Нюренберг считал своими друзьями деревья (серия "Деревья и люди"), которых он нарисовал множество. Также его друзьями были солнце, небо, ветер, облака, которые он наделял человеческими качествами:

Солнце, неуклюжее окоченевшее, ежась и озираясь, медленно ползло в свою конуру. Ему, как и нам, вероятно, не совсем приятно вспоминать об этих двух днях. Оно выражало сожаление.

("Погром")

Нюренберг редко жаловался на судьбу, предпочитая выражать свою печаль в иносказательной форме. Так отъезд из родного дома, отрыв от семьи, его грусть и опасения по этому поводу были им переданы в описании небывалого заката и движения отходящего поезда:

Когда вагон, скрипя, медленно отошел от того места, где стояли близкие мне люди, и я взглянул на зарево, мне показалось, что все небо облито керосином и горит. Мне даже почудилось, что я чувствую запах гари.

("Елисаветград")

В рассказах Нюренберга много смешного и грустного. А выручало его в трудную минуту всегда одно — самоирония. Свойство истинного одессита.

* * *

В 1920 году Амшей Нюренберг и его жена Полина Мамичева окончательно перебрались в Москву. Тем не менее, Париж и Москва не заслонили родной Елисаветград и Одессу. Нюренбергу всегда хотелось приехать в места его юности.

В 2009 году я познакомилась с киевским искусствоведом Людмилой Ковальской. Она рассказывала о встречах с Нюренбергом в 1970 году в Москве, куда приезжала, чтобы забрать его работы для киевского музея. Он заинтересованно расспрашивал ее: "А эти сапожки у вас с Украины, а эта косыночка с Украины?". Он была молодая и франтила. Поэтому отвечала с гордостью: "Нет, из Италии". А ему хотелось, чтобы она привезла ему с собой кусочек Украины. Она только потом осознала, что он тосковал по родным местам.

Она же рассказывала, как Нюренберг прочитал ей вслух письмо к нему Марка Шагала. В этом письме ее поразило то, что Шагал спрашивал старого друга: "Как там у нас?" — подразумевая под этим вопрос — "У нас на Родине?". Живя уже столько лет во Франции, он продолжал ощущать своей родиной Россию. Такова была сила привязанности художника к месту своего рождения, детства.

О ранних картинах Нюренберга, как и о его ранних рассказах, долгое время ничего не было известно. Лишь после ретроспективной выставки "Одесские парижане" коллекции Якова Перемена в 2006 году в Израиле выяснилось, что многие из них сохранились. Похожая судьба постигла рассказы Нюренберга и письма Беренса, многие годы лежавшие в архивах.

Существует некая логика в том, что надолго забытые картины "одесских парижан" попали во владение киевского коллекционера Андрея Адамовского. Также и экспозиционные залы Кировоградского художественного музея вновь открылись для художника-земляка Амшея Нюренберга. У картин началась новая история, а имя художника и литератора оказалось тесно связанным с родными местами, которые он покинул в юности. Хотелось бы верить, что возвращение Нюренберга в Украину будет счастливым.

Елисаветград

Мне было 15 лет, когда я пришел экзаменоваться в малярную школу имени богача Фирсова, ее основателя.

Мне хорошо памятен этот день. Было туманное розовое утро. Матовое, точно марлей затянутое солнце, голубые дымки над сонными еще, сутулыми домишками, спешащий на службу и базар народ и бодрящий аромат умирающего лета. В такое утро мне и экзамены рисовались розовыми и легкими. И с сердцем, полным радости, я легко взобрался на горку, где находилась школа.

Руководитель школы маляр Глинянный — человек добрый с робкими темно коричневыми застенчивыми глазами, сухим лицом и нахмуренным низким лбом, навевавшим воспоминания о ноябрьском степном небе, встретил меня неприветливо.

— Где вы раньше учились? — угрюмо спросил он меня, внимательно разглядывая свои большие грязные ногти.

— Во втором казенном, — робко ответил я.

— Вас... что же вытурили оттуда?

— Нет, я ее окончил.

— Ага. Ага-а-а. А краски и кисти у вас есть?

— Нет, я куплю.

— Ну, добре. Берите пока казенное добро. Только помните: не очень рыпайтесь... и дурака не валяйте.

И после паузы добавил:

— Не стройте из себя таланта и не думайте, что художником заделаетесь за две недели.

Он смачно, с достоинством сплюнул, неспешно растер ногой и как-то особенно музыкально крякнул. Затем подал мне небольшой лист плотной бумаги и палочку угля:

— Берите и садитесь.

Я сел. Измазанные "пробами тона", как в малярных мастерских, стены, загрунтованные мелом холсты и жестяные вывески, старенькие выцветшие олеографии и три-четыре больших полотна — беспомощные копии с картин Айвазовского и Шишкина. На двух сосновых мольбертах, стара-

* Орфография и синтаксис оригинала сохранены. (**О. Т.**)

тельно измазанных грязными красками, стояли неоконченные работы. Натюрморт — разрезанный на две неравные части пунцовый арбуз с маленькими миндалевидными черными косточками, два ярко изумрудных персика и один тяжелый черно-лиловый баклажан. Все это было сложено под не совсем чистым полотенцем, щедро расшитым пестрым украинским узором. Пахло вареной олифой, столярным клеем и гуашью. Я жадно разглядывал мольберты, палитры со спектрально расположенными красками, пестрые копии с известных художников, олеографии. Я с наслаждением вбирал в себя все запахи, вызвавшие мое глубокое уважение к школе и ее руководителю.

С большим волнением я начал рисовать натюрморт. Воля меня покинула. Я ждал неудачи. Уголь плохо приставал к бумаге, резинка не счищала, а пачкала, линии контура мне показались расслабленными, неуверенными. Я чувствовал, что проваливаюсь.

— Ну, что же, приходите завтра с кистями и бумагой, — услышал я позади себя хриплый, придавленный голос.

Я оглянулся. В светившихся небольших глазах Глинянного я прочел одобрение и дружбу. Мною овладело состояние, похожее на счастье. Розовое радостное утро не обмануло меня.

Через неделю я уже писал копии с "Лунной ночи" Айвазовского, грунтовал жесть для вывесок и изучал несложное малярное дело. Надо признать, что Глинянный своей педагогикой нас особенно не утомлял. Учеба не блистала сложными методическими принципами. Обычно занятия происходили так: Глинянный давал ученику кусок полотна или бумаги, кисти, палитру с выдавленными на нее акварельными или масляными красками, потом брал ученика за рукав, подводил к поставленному на стол натюрморту и сухо, небрежно говорил:

— Намалюйте вот это.

И все. Конечно, ученик, если он плохо знал ремесло, должен был себя чувствовать как человек, которого, чтобы научить плавать, бросают в глубокую реку. Талант есть — выплывешь. Ко дну пойдешь, не удержавшись на поверхности — значит прослывешь бесталанным.

Живопись и акварель у нас считались лакомыми блюдами. Этим мы имели право заниматься после основных занятий, т. е. после занятий по изучению малярного, вывесочного и альфрейного дела**. Разумеется, мы все делали, чтобы увильнуть от этих занятий.

** Декоративная отделка интерьеров.

Глинянный аккуратно воевал с нами:

— Раньше вывески и окна, черти окаянные, а потом пейзажи и портреты, — с улыбающимся лицом говорил он, — вы, как и я, с удовольствием бы взялись за картины, но это отвлекает от учебы.

Порой, когда его упрямство ему самому надоедало и воевать с нами ему казалось слишком утомительным, он сдавался:

— Ну, черт с вами. Малюйте картины.

Несомненно, он сам любил живопись, хотя ясно не понимал, в чем она заключается. Он не знал, чем он может помочь, хотя готов был это сделать. Особенно он любил атмосферу творчества. Ему нравилось готовить натюрморты: ходить на рынок, покупать яркие ароматные яблоки, груши, дыни и арбузы, потом раскладывать их в "живописном беспорядке" и наблюдать, как нестриженные молодые ребята их малюют.

Как-то раз я к нему пристал:

— Аксентий Родионович, скажите, какие правила существуют для того, чтобы научиться хорошо писать картины?

Он почесал свое хмурое небритое лицо, прищурил темно-коричневые глаза, показав еле уловимую улыбку:

— Пишите так, как в природе. Вот. И вы станете настоящими художниками. Чтобы рукой можно было взять. Поняли. Вот вам все правила.

И мы стремились написать так, "чтобы рукой можно было взять".

Ровно через год я сдал экзамен на звание живописца вывесок. Экзаменовавшийся должен был зашпаклевать и загрунтовать лист жести, набитый на подрамник, и написать по выбору (такие существовали в школе традиции) сценку бритья или франта из модного журнала.

Сценка бритья изображалась так: в богатом кресле непринужденно, как подобает шикарному аристократу, сидел красавец брюнет, изящно обвязанный белоснежной простыней. Над ним — почтительно склоненный элегантный парикмахер, в грациозных руках которого блистала бритва. Слева от фигур — дорогое зеркало и шкафчик, встречаемые только в домах купцов первой гильдии.

Изображение франта требовало не меньшего творческого напряжения. Надо было дать тип модника-иностранца. Обычно ученики эту проблему решали по шаблону, выработанному самим Глинянным. Американского покроя темно-серый костюм и приделанная к нему голова красавца-шатена в высоком черном цилиндре, яркие желтые перчатки и изящная трость. Франт изображался в профиль на фоне роскошного парка.

Я остановился на франте. Через три дня вывеска была готова. Осмотрев мою работу, Глинянный ухмыльнулся и ехидно сказал:

— Вам, Нюренберг, будут больше удаваться портреты старьевщиков и раввинов.

В поисках работы я ходил по мастерским живописцев вывесок. Однажды я узнал, что инженеру Гольденбергу, любителю живописи и музыки, нужен живописец вывесок. Говоривший это тут же добавил, что "нужен работник первого сорта, с золотыми руками". Оглядев свои руки и придя к невеселому выводу, я все-таки решил испытать судьбу и отправиться к инженеру Гольденбергу.

Отец мой посоветовал мне одеться женихом и привести в полный порядок мои праздничные штаны, одеть черную суконную тужурку, сшитую одесским портным Гершале Спиваком, и начистить ваксой свои штиблеты "так, чтобы вся улица в них отражалась".

Инженер Гольденберг меня принял в кабинете, похожем на магазин случайных вещей. В его круглой и мягкой руке лежал массивный серебряный портсигар, усеянный золотыми монограммами, на носу блестело золотое пенсне, во рту сигаретка.

— Вы искали опытного живописца вывесок? — робко спросил я.

— Да, именно опытного, — ответил он, нажимая на слово "опытного". Голос у него был мягкий.

— Я верю, что Вы меня за работу ругать не будете, — нерешительно сказал я.

— У вас есть образцы вашей работы?

Я подал ему картонную папку с моими акварелями и рисунками. Это были копии с открыток и олеографий, висевших у нас дома. Помню среди акварелей копию с гравюры, украшавшей нашу залу. Это была сцена из голландской жизни. С тех пор у меня осталась любовь к голландским серым зимним пейзажам.

Он внимательно рассмотрел все мои работы и с чувством, свидетельствовавшим о его любви к живописи, внушительно сказал:

— Что же, человек вы способный... Я думаю, что вы мне фасад не испортите. Хорошо. Беритесь за работу. В добрый час.

Я разглядел его. Небольшая лысина, умные убеждающие глаза и доброжелательные семитские губы. Некоторые болезненность и усталость, заметные в его движениях, придавали ему оттенок печали. Не знаю почему, но в этот момент я решил, что он должен стать моим меценатом.

Сумма, предложенная им, показалась мне головокружительной. Пряча свое радостное волнение, я долго собирал и складывал свои работы. Он дружественно протянул мне свою круглую руку.

Я приступил к "фасаду". Надо было написать четыре сложных машины, тонко вырисовав все детали и гайки, и около 120 букв различного стиля и размера. Первая машина (нефтяной двигатель) в серо-черных и зеленых тонах была готова через три дня. Работал я с увлечением и любовью.

Инженер Гольденберг приходил в мастерскую, устроенную в магазинном складе, ежедневно. И, усевшись позади меня, долго смотрел, как я работаю, курил короткие светло-шоколадные сигаретки и давал указания:

— Машина, мой юный друг, любит точность. Это вам не пейзаж. Гаечку пропустите, и работа уже не та, не годится.

Вывески писал я долго, месяц, а может и дольше. Порой мой работодатель (когда коммерческие операции ему не удавались и жена хворала) был похож на осеннюю тучу, отраженную в нашей мутной речке Ингул. Тогда он меня иронически называл "маэстро":

— Знаете, маэстро, — насмешливо начинал он, — ваш нефтяной двигатель мне напоминает опрокинутый старый биндюг. Ой, боюсь вы задрипаете весь фасад лучшей в Елисаветграде технической конторы.

Нужно ли рассказывать, как на меня такие слова действовали?

Но такие нерадостные дни тянулись недолго. Гольденберг долго не мог дружить с печалью, и скоро его губы и глаза опять всем улыбались.

— Вы молодец! Я недаром почувствовал в вас тонкого художника. Вам обязательно необходимо поехать в Одессу. Там вы скоро сделаетесь человеком. В этой дыре таланту нечего делать.

И я, убаюкиваемый этой сладкой лестью, незаметно для себя отрываясь от работы, живо рисовал себе далекую сказочную Одессу, где можно скоро сделаться человеком. Одесса мне казалась городом, равным Нью-Йорку, Парижу. В возбужденном горячем мозгу рождались фантастические образы длиннейших улиц и небоскребов. По асфальтированным улицам неслись толпы спешащих, хорошо одетых, тщательно умытых и выбритых счастливых людей. У каждого из них в руках обязательно желтые перчатки и изящная трость. Над ними ярчайшее солнце, но они так счастливы, что им даже лень, а может, некогда глядеть на него. Пусть себе, мол, сияет!

Как-то раз после обеда вернувшись в мастерскую, я нашел моего заказчика озабоченным и чуть взволнованным. "Опять неудачная операция", — подумал я.

— Ну, юный друг, в ближайшие дни кончайте вашу работу. Ваше дело в шляпе. Радуйтесь — вы едете в Одессу.

Я почувствовал, как у меня поднимается температура. Я онемел.

— Да, вы едете в Одессу и будете учиться в Художественной школе. Ваши рисунки видел один богатый немец. Они ему очень понравились. Он даже купил одну акварель и уплатил пять рублей. Вот они.

На розовой ладони блистала, точно кусочек солнца, золотая монета. Одесса стала мне близкой... Я еду учиться... Температура все повышалась. Кровь зазвенела в ушах.

Кто был этот первый коллекционер, заинтересовавшийся моей судьбой? Зачем я ему понадобился? Я бросился домой.

Отец первым делом потребовал, чтобы я свой золотой спрятал на счастье или приобрел на все пять рублей выигрышных заграничных билетов:

— Чем черт не шутит, — говорил он, как обычно ковыряя спичкой в ухе в моменты волнения, — вдруг мы все разбогатеем, и тебе, сынок, не придется писать вывески. Ты сможешь сдать экстерном за восемь классов гимназии и потом поступить в университет. Выйти в люди. Все может случиться.

Но мать, не знавшая тяжелого плена тщеславия, ему убеждающе отвечала:

— Чего ты пристал к мальчику? Не понимаю. Нашелся человек, который хочет помочь ему достигнуть цели — и пусть. Пусть он едет в Одессу. Счастливого пути!

Вечером за ворчливым шарообразным самоваром на семейном совете было решено, что я должен непременно ехать в Одессу.

Сестры бережно упаковали мои вещи. Их нежная заботливость и любовь ко мне не могли прикрыть нищету, выглядывавшую из всех щелей моей небольшой старенькой корзины. И, после недолгих размышлений, я решил обшить ее мешковиной. Подушка, солдатское одеяло неуловимого цвета гнилой свеклы и короткое зимнее пальто на бумазейной рыжей подкладке.

Пышные проводы носили трогательный характер. Отец, мать, сестры, пес Жук и золотистый закат. Незабываемый осенний закат, пришедший с облаками, полными радости и веры в мои одесские дела.

— Ну, Амшей, будь трудолюбив. Помни, сын, — начал отец иронически, — что родители у тебя ни в каком родстве с Ротшильдом не состоят и что у Когана в банке я пока что кредитом не пользуюсь. А потому учись и не трать время на глупости. Если этот немец-чудак действительно тебе будет помогать — то это редкое посланное самим Богом счастье!

Во влажных глазах сестер и матери сверкала радостная печаль. Звонки. На ярко светящемся циферблате две упавшие вниз жирные стрелки. Грохот окутанного паром добродушного паровоза.

— Не забудь печенья, оно в газете.

Меня обнимают. Я на площадке ярко зеленого новенького еще пахнущего машинной краской вагона. Последним прощается закат. Когда вагон, скрипя, медленно отошел от того места, где стояли близкие мне люди, и я взглянул на зарево, мне показалось, что все небо облито керосином и горит. Мне даже почудилось, что я чувствую запах гари. Но через несколько минут голубо-оранжевое пламя погасло. Облака потемнели, посерели, и город, только что казавшийся мне выкованным из червонного золота, потускнел и почернел. Я не ожидал таких торжественных и смутивших меня чувств.

Одесса. Осень 1904 г.

Я поселился на Польском спуске, 12, в большой прокопченной дымом и временем комнате. В ней, как во всех одесских комнатах, сдававшихся в наем, всегда пахло несвежим бельем и жареным луком. Из окна, уставленного геранью и бутылками, был виден порт с уходившими и приходившими иностранными пароходами. Можно было ежедневно глядеть на море с кораблями. Это меня соблазнило, и я внес задаток. Условие — за полный пансион 10 рублей в месяц. Платить будет мой протектор немец Беренс.

Живу и знакомлюсь с моими соседями. Латыш Эд. Высокий, жилистый человек с почти квадратным сухим лицом. Пасмурный, неразговорчивый. Как потом выяснилось — человек совершенно неуловимых дел и таинственных профессий. Он исчезал рано, чуть свет, и возвращался вечером. Придя домой, он тщательно и глубокомысленно осматривал свою изношенную обувь, потом долго и как-то солидно мыл свои потные ноги, причесывался, ковырял зубочисткой в зубах и, наконец, когда он от всех этих процедур уставал — ложился на старый косолапый диван, служивший ему кроватью, и читал скучнейшие книги — приложения к журналу "Родина". Питал он неисчерпаемую нежность к длинным любовным письмам и в дневные часы, когда нас не было, с увлечением их писал на кремовой бумаге.

Когда его спрашивали: "Эд, где ты пропадаешь?" — он спокойно отвечал: "В порту работаю, брат". Но никто из нас ему не верил.

Более яркой и ароматной личностью был армянин Минастянц. Среднего роста, улыбчивый и приветливый. Портной. Работал в мастерской богача Ландемана. Он называл себя "социалистом" и аккуратно посещал политические лекции и доклады.

Третьим соседом был великоросс Попов. Высокий, крепкий ширококостный, голубоглазый дядя. Манеры у него были приказчика гастрономического магазина. Его главной специальностью, кажется, было исключительное умение живо и картинно рассказывать анекдоты. Он их знал тысячи. Домой он являлся чаще всего в 12-1 ч. ночи, шумно и весело напевая воровские или проститутские песенки. Когда он находил нас спящими, он бесшумно раздевался и в нижнем белье медленно с высоко поднятой головой, точно совершая какой-то ритуал, обходил нас, стаскивая с нас одеяла.

— Проснитесь, сукины сыны, есть новый анекдот! Замечательный!

Мы громко ругались, но он был неумолим. И мы должны были, ежась и дрожа от холода, выслушивать новый замечательный анекдот.

Хозяйка наша Ольга Павловна, толстая с желтым и запавшим лицом женщина, кормила нас такими обедами, что все мы должны были носить в кармане пузырек с каплями Иноземцева. Когда изнуренный желудочными коликами добрейший Минастянц страдальчески говорил ей: "Ольга Павловна, что ты, милый человек, кладешь такое в твой суп, что мы всю ночь бегаем?", хозяйка с лицом, полным изумления и возмущения, отвечала: "Не понимаю, в чем дело? Продукты свежие, посуда чистая! Это вы где-нибудь схватили в паршивых обжорках и на меня сваливаете".

— Эх ты, Минастянц Минастянцевич, да неужели ты не понимаешь, что наша Ольга Павловна нам готовит не на сливочном, а на резинном масле? — насмешливо говорил Попов.

— Ничего вам до самой смерти не будет, — скороговоркой победоносно отвечала она.

Минастянц со мною часто говорил о жизни, о бедности, о бедняках и богачах. Меня поражали его яркие мысли о религии. Он отрицал существование Бога и жестоко высмеивал все человеческие добродетели.

— Бог, — говорил он хриплым голосом, — выдуман богачами. Он им нужен. Бедным людям Бог нужен, как чирей на заднице. Что он им может дать? Ничего. Синагога и церковь — это цирки.

Он пламенно ненавидел полицейских, жандармов и глубоко верил, что рано или поздно им будет мокрый конец. "Ничего, доживем до того дня, когда я на них верхом покатаюсь. Вот уж покатаюсь".

К художникам и ко мне, в частности, он относился очень тепло:

— Жалко художников. Они много голодают.

Слово "много" он произносил нараспев.

— Ты, — обращался он ко мне с окутанным лаской и добротой лицом, — ты должен рисовать только бедных людей. Художник, по-моему, должен быть певцом бедных. У бедных людей есть большое сердце. В глазах бедных всегда горит человеческий огонь. Да. Если бы я был художником, я бы рисовал только бедных, голодных, оборванных и калек. Я не могу объяснить вам, но чувствую, что они на картинках должны выходить лучше.

Когда наступили сильные холода и на окнах появились узоры, будившие воспоминания о детстве, мы упрашивали хозяйку:

— Ольга Павловна, положите лишнее поленце в печь. Мерзнем, как местечковые собаки.

— Такие бравые и молодые ребята и так мерзнут. Стыдно, — отвечала она. — Берите еще одеяла.

И мы, ругая ее крепкой бранью, отставали от нее.

* * *

Мою жизнь в Одессе нельзя было назвать блестящей. На каждую горсть радости судьба, в то время не ладившая со мной, отпускала мне тонны неприятностей и горя.

Я плохо питался. И только мой крепкий организм, неистребимая бодрость мяса и нервов меня поддерживали. Я приобретал зверские желудочные болезни и как-то лихо и весело расставался с ними. Моими дежурными блюдами были изюм мелкий, так называемый кишмиш, и сельди. Эти продукты я получал в неограниченном количестве. Но я не мог злоупотреблять связывавшим меня доверием лавочников, и брал столько, сколько мне нужно было.

Я не всегда мог писать натуру. Красок не хватало, особенно белил, уходивших во время работы в большом, пугавшем количестве.

Но все это меня не так волновало, как вопрос об одежде. Я скоро понял, что ходить по улицам с пустым желудком не страшно, а, разумеется, можно. Но ходить по улицам в старых, грязных, цвета половой тряпки штанах и в рубахе, рождающих даже у спешащего пешехода невеселую мысль о цвете и запахе нищеты — никак нельзя.

У меня завелась рыжеволосая курсистка. От нее, так мне казалось, пахло свежим запахом трав. У нее были кошачьи глаза, обещавшие все

земные и неземные радости. Мне хотелось предстать перед ней обязательно в светло-синих, диагоналевых штанах.

* * *

В школе я делал заметные успехи. Быстро переходил из одного класса в другой. За год я дошел до натюрмортного класса и удостоился весьма теплых отзывов.

В первом классе занятиями руководил итальянец Иорини. Обаятельная и добрейшая личность. Очень высокий, с сильно согнутой временем и пережитым спиной, круглый череп, слабо обтянутый старческой землисто-желтоватой кожей. Простой, до наивности доверчивый и необычайно рассеянный. Ни семьи, ни друзей у него не было — только доброжелательно посмеивавшаяся над ним живопись и безгранично любившие его ученики.

Он свирепо не любил высшего начальства и держался по отношению к нему очень независимо. Ему доставляло большое удовольствие глядеть на него сверху вниз. Учитывая его заслуги перед скульптурой и особенно его преклонный возраст, оно мирилось с его мятежным характером. И терпело его.

Все мы широко пользовались его кошельком, точно забывая, что деньги, лежавшие там, нажиты его горбом и морщинами. Часто в его классе можно было услышать такой диалог:

— Мосье Иорини, что делать? Хожу почти босяком. Денег на покупку обуви нет... Холодные дожди...

— Ай, ай, ай, — слышен был хриплый старческий голос, — как можно, босяк? Плёхо, плёхо. На, бери пять рублей. Пойди, купи.

Его метод преподавания, построенный на старых академических принципах, казался нам скучным. Но задушевная искренность и всепоглощающая любовь к искусству этого редкого человека делали то, чего не могли делать лучшие методы преподавания рисования. С Иорини я скоро, не без грусти, расстался, перейдя в основной гипсовый класс.

Здесь я два месяца работал под руководством бесцветного и апатичного Попова, автора бессмысленных морских видов. Он подписывал свои пошлые морские пейзажи холодной подписью "А. Попов".

Четвертым натюрмортным классом руководил известный акварелист Ладыженский. Это был крайне нервный, желчный и как динамит вспыльчивый человек с лицом старой хитрой мартышки. Его замумифицированное сердце редко давало чувствовать себя и казалось мертвым. Его слова,

напитанные ядовитой слюной, в состоянии были вывести из терпения самых толстокожих людей. Он избегал общества и почти всех людей рассматривал, как своих личных врагов. Но его класс пользовался заслуженным авторитетом, и оценка, данная Геннадием Александровичем, решала участь учащегося.

Особенно свирепо он относился к печати и к газетчикам:

— Мерзавцы, продажные шкуры! Дашь им целковый, и они вам все места вылижут, — фыркая и заикаясь, говорил он. — Они губят художника. Они никогда по-настоящему не любили ни художника, ни великого искусства. У-у... Сволочь...

Он выпивал. И мы, зная его слабость, порой зло шутили над ним. Вытаскивали из его кармана небольшие бутылки с водкой, выливали их содержимое в натюрмортные вазы, а их наполняли чернилами или водой и клали ему опять в карман.

Живопись он ставил выше всего. Он горячо и вдохновенно любил сияющую многокрасочную живопись. Как и Делакруа, он считал, что враг всякой живописи — серое. Это он на всю жизнь привил нам почтительную любовь к старым венецианцам и французам. Он не признавал хорошей живописи с плохой поверхностью. "Натюрморт, — говорил он, — это не только цвет, но и поверхность".

— Если картина хорошо написана, надо чтобы все знали об этом, надо трубить... А если вещь плоха, дрянь, то надо говорить откровенно: перед нами — дерьмо.

Из русских художников он высоко ставил Репина, Врубеля, из французов — Делакруа, Коро, из немцев — Менцеля, Лейбля.

— Какая манера! — восторженно говорил он. — Какая манера-а-а! Менцель! Гений! Да, гений. Такие художники родятся раз в сто лет. Вот у кого нужно учиться работать. Какой живописец, и какой рисовальщик! Редкое сочетание! Одним словом — гений!

И мы, не видавшие ни одного оригинала этого расхваливаемого гения, бросались в школьную библиотеку и жадно (взасос) глядели и изучали фотографии с работ Менцеля.

Ладыженский любил сам ставить натюрморты. У него был огромный старомодный ореховый шкаф, доверху набитый разноцветными тканями, тряпками, металлическими кувшинами и китайскими вазами всех веков и стилей. Он любил долго рыться своими сухими и почти белыми руками в шкафу, вытаскивая и разглядывая то одну, то другую вещь. Он напоминал антиквара в своей лавке.

— Вот умру, — грустно и протяжно говорил он, — тогда берите все: и парчу дорогую, и китайский фарфор...

Он высоко ставил способных учеников, но зверски грубо обращался с неспособными и малоуспевающими. Особенную ненависть он испытывал к франтившим ребятам:

— Вам, господа в хороших тужурках с белыми воротничками, нечего здесь делать. Идите себе в коммерческие школы. Надо иметь право заниматься искусством. А у вас этого права нет и никогда, уверен, не будет.

Своих учениц он называл — невестами. Он их грубо, цинично и всеми средствами, как и "тужурщиков", выпроваживал из своих двух мастерских.

— Чего-о-о вы, девочки, время до-о-орогое теряете? Женихов надо искать!

У него были свои любимчики. И он любил о них долго, горячо говорить. Особенную симпатию он питал к Фошко*, тринадцатилетнему неопрятному мальчику с большой гривой взлохмаченных черных волос.

— Фошко-о-о. Это изюминка. Божья искорка. Та-а-алант. Хранить надо. Прятать от женщин надо. Та-а-алант.

В редкие минуты благодушия он надевал огромные оловянные очки и внушительно и степенно, как подобает мэтру, покашливая, присаживался к Фошко и помогал ему писать. Холст прыгал на мольберте под нервными ударами кисти его прозрачных рук и становился все более ярким и радужным. В такие минуты все мы амфитеатром устраивались позади него и ревниво глядели на его изумительную работу.

Погром

Повсюду говорят о больших политических событиях. Манифест, вырванный народом из рук растерявшегося и струсившего царя, трещины в троне, присмиревшая жандармерия, торжество Государственной Думы и обезумевшие от счастья две столицы.

"Народ, — пишет газета "Одесские новости", — наконец-то получил то, за что столько лет боролся — свободу".

На улицах и в парках, в пивных, трактирах и кафе густые толпы возбужденных с горящими глазами людей. На Ришельевской улице группа

* Иосиф Фошко (1891-1971), художник. Родился в Одессе. После окончания Художественной школы в возрасте шестнадцати лет получил стипендию для обучения в Париже. Имел персональные выставки во Франции и США.

хорошо одетых людей неистово с радостным ревом качала какого-то пожилого седого офицера. Смешно было видеть, как его тяжелая круглая туша взлетала над шляпами и тяжело погружалась в них.

Но радоваться Одессе долго не суждено было. Вечером подул ветерок. Слухи, слухи, сеявшие в сердце тревогу и опустошение. У ограды городского сквера я слышал, как один хорошо выбритый мужчина в светлой шляпе говорил другому такому же:

— Ой, их будут бить. И как бить. Заплатите жидки. Будет вам свобода!

Вечером уже дул свирепый ледяной нордост. Город почуял несчастье и притаился. Над ним быстро плывущие со стороны моря сине-черные облака. Точно они знают о готовящемся и спешат на то место, где это несчастье должно случиться. Первые зрители погрома.

Сухие звуки оружейной пальбы растут и бегут к нам, в центр. На Молдаванке, говорят, начался погром. Бритые господа были правы. Ночью часов в 10 была получена бодрящая весть: "Погром ликвидирован, убитых нет, есть раненые. Срочно организуйте самооборону, держите связь. Будьте готовы".

Я бросился к друзьям. Меня познакомили с районными организаторами самообороны. У них я узнал, что оружия уже нет, что револьверы "до единого расхвачены" и что остались железные палки. Я взял железную палку.

Я жил на Ново-Рыбной улице в семье дальнего родственника. Как раз против ворот нашего дома находилось жандармское управление, в эти дни напоминавшее штаб действующей армии. Здоровые огромные усатые верзилы то вбегали в ворота управления, то выбегали из них.

Помню скорбное осеннее утро. Небо, похожее на грязную простыню, и пустынные улицы, производившие впечатление зараженных и брошенных жильцами катакомб. Было около 8 часов утра. У наших ворот стоял знакомый молодой человек с заспанным желтым лицом, член самообороны. Он рассказал мне, что жандармы всю ночь готовились к работе, пробовали свои тяжелые наганы:

— Пили водку и пели "Коль славен". А знаете, — закончил он, — когда жандармы пьют водку, поют царские песенки и стреляют в своем тире, то надо ждать еврейской крови...

Он не ошибся. В это утро она уже была пролита. По Ново-Рыбной я дошел до Пушкинской. Со стороны Ришельевской доносился шум. Шум, холодящий сердце. Через несколько минут я увидел толпу убийц.

Портрет царя и хоругви плясали в их охмелевших и обессиленных руках. Рев, гиканье — точно в зверинце в час кормленья. Момент — и мне казалось, что вся эта сумасшедшая орава — статисты на открытой сцене оперного театра, управляемые опытным и ловким режиссером, что они кувыркаются и поют дикие и пьяные песни по его заданию — и что через несколько секунд, когда зрителю все это надоест — они быстро улизнут за боковые декорации. Но, увы! Статисты эти, ведомые жандармами и полицией, в руках, измазанных свежей, еще теплой детской кровью, держали огромные железные ломы и сеяли настоящую, а не театральную смерть.

Впервые в жизни вижу еврейский погром. Незабываемая картина!

На серой мостовой, казавшейся равнодушной и присмиревшей, разбитые фанерные ящики, старое длинное зеркало без стекла, с торчащими зазубринами, кучи разноцветной бумаги, пятна крови на разодранных подушках и пух, поднимавшийся высоко-высоко в грязное небо.

С тех пор церковные хоругви и портрет Николая стали в моем сердце ассоциироваться с еврейским пухом.

Вечером, на третий день погрома. Солнце, неуклюжее окоченевшее, ежась и озираясь, медленно ползло в свою конуру. Ему, как и нам, вероятно, не совсем приятно вспоминать об этих двух днях. Оно выражало сожаление. Как только оно исчезло за почерневшими крышами, с моря налетел холодный сырой ветер. Он приволок две тучи, окрашенные сажей, и нелепо растянул их над восточной частью города.

Ночью шел дождь, помогший всем умыться и придти в себя. Впечатление создалось такое, что все устали. И убиваемые, и убийцы, и мы все, и улицы, и небо, и кареты скорой помощи. Всем захотелось отдохнуть, дух перевести. И чуть-чуть вздремнуть.

Утром на Ришельевской и Канатной появились бело-кремовые, хорошо выпеченные знаменитые одесские калачи с крупным изюмом и воодушевляющим запахом только что испеченного хлеба. Они продавались на уличных, мокрых, не успевших еще обсохнуть ящиках. Их продавали худые, сморщенные, с заплаканными глазами еврейки.

Я иду в морг медицинского факультета. Там, говорят, "можно ознакомиться с итогами погрома". У входа в морг группы небрежно одетых людей. Людей, близко видевших смерть и потерявших поэтому способность беспечно говорить о ней.

Вонь гниющего тела и карболки. В большом квадратном светлом помещении длинные невеселые столы. На них лежат убитые студенты. Большинство из них — участники самообороны. Их человек 15. В форменных шинелях, в воротничках, густо и щедро измазанных кровью и грязью.

Запомнился один студент. Он производил такое впечатление, что через него прошла армия. Лица не видно было. Оно было покрыто грязью и кровью, но во впадинах и выпуклостях угадывались молодые, энергичные черты. Помню еще узенькую полоску запекшейся темно-коричневой крови — остатки разбитого и изуродованного рта, два ярких белых зуба, новенькая, очевидно, щегольская шинель, чудовищно измятая и загаженная конским пометом.

Рядом с этим студентом лежала девочка лет 7-8 с мягкими и нежными формами тела, с чистой светящейся улыбкой, будто вылепленная из голубо-желтого воска. И казалось, что лежит она в паноптикуме, но стоит завести над ней ключом звучащую пружину, и глаза у нее откроются, а круглая головка, немного дрожа, ритмически с легким скрипом начнет двигаться, то в одну, то в другую сторону.

Почему девочка попала сюда в университетский морг, куда свозили только студентов? Вероятно, по недосмотру, а может, так, "для контраста смерти".

В стороне от морга, в подвалах медицинского факультета лежали убитые громилы, провокаторы и переодетые городовые. Человек 40. Мне показалось, что вонь от них шла более густая и что она была одуряющая и тошнотворная. Я спустился по усыпанным деревянными опилками и гравием ступенькам. Убитые лежали точно на пляже в легких, непринужденных позах. Часть из них была без верхней одежды. С широкими руками, покрытыми волосами, с невысокими, плоскими лбами. Меня поразила одна особенность: все они были похожи друг на друга. Почти все они погибли в роковых неосвещенных молдаванских переулках, наивно доверившись им.

На еврейском кладбище можно было глядеть в холодное свинцовое небо и глотать теплые слезы. Мои усилия казаться мужественным и не плакать были тщетны.

Никогда в жизни не забыть мне этих сцен!

Письма Оскара Августиновича Беренса, мецената Амшея Нюренберга

Из архивов Кировоградского художественного музея и О. Тангян

18.03.1905, Бандурка.

Ниренберг! Очень печально все то, что происходит на белом свете, но как бы это ни было тяжело, мы должны дальше трудиться, а потому не смущайтесь волнениями и учитесь усердно, чтобы, достигнув того, к чему Вы стремитесь, для чего Вы учитесь, Вам бы со временем жилось легче. Посылаю Вам чеки по 15 рублей и надеюсь, что Вы и впредь не будете принимать участия в демонстрациях, устраиваемых молодежью.*

Сердечно жму Вашу руку.

О. Беренс.

Пишите, что у Вас слышно вообще и о Вашей школе, в особенности, и отвечайте, получили ли деньги.

Бандурка 7.X.8.

Дорогой Ниренберг!

Все Ваши открытки получил и очень жалею, что не мог сейчас же Вам ответить. Все это время, как, впрочем, и всегда я был очень занят и не мог собраться это сделать. Я все же очень жалею, что Вы какой-то экзамен не выдержали и он отложен до весны. Мне говорили, что были какие-то рецензии в Одесских газетах о выставленных Вами эскизах, но в чем заключаются эти рецензии, мне повторить не могли, а я сам их, очевидно, пропустил. Виделся я во время земского собрания в Елисаветграде с Вашим бывшим преподавателем рисования из реального училища. Он очень вас не хвалит за то направление, в которое Вы теперь ударились. Видно, люди, серьезно изучившие Вашу специальность, сходятся на этом убеждении (ведь Попов, как Вы мне говорили, тоже такого же мнения), и Вам следовало бы прислушиваться к тому, что говорят авторитеты. Я, лично, не могу Вам давать советов, касающихся художественных произведений, но, скажу откровенно, ко всему декадентскому чувствую глубокое отвращение. Я глубоко убежден, что декадентство вообще есть результат неумения логически мыслить, это — направление (как в литературе, так и в живописи), кото-

* В письмах О. Беренс писал "Ниренберг", используя старое написание фамилии. (**О.Т.**)

рое существует вне определенных форм и понятий, а создает только туманные образы, какие-то "настроения". Я, например, уверен, что Вы не найдете ни одного декадента между математиками и это только потому, что мысли у математиков всегда последовательны и логичны. Бросьте и Вы лучше эти настроения, которые никому ничего положительного не дали, а лучше изучите прежде то, что создано другими. А уж когда изучите все существующие школы, тогда выбирайте любую из них или даже создавайте свою собственную, если хватит на то сил, но теперь увлечение декадентством только может сбить Вас с толку, помешав изучать то, для чего Вы поступили в школу.

Позавчера написал длинное письмо раввину Темкину о Вас. Посмотрим, какой будет ответ.

Будьте здоровы, обнимаю Вас
Оскар Беренс.
Приезжайте в Крутые, как только сможете.

Крутые 18.VIII.1909 г.

Дорогой Ниренберг.

Ваши оба письма мне пришлось получить вчера за раз, когда я вернулся из продолжительной поездки в Бессарабию. К моему великому сожалению, я должен Вам ответить отказом в Вашей просьбе. Вы не раз слыхали, что в последние годы этот презренный металл у меня не в избытке, а потому могу кое-как пробиваться, только придерживаясь своей аккуратности и избегая неосторожных скачков. Но это, собственно, не так важно для данного момента, важнее то, что я вовсе не чувствую, чтобы я стал поперек Вашей дороге, благодаря этому отказу. Если бы я это почувствовал, то был бы готов даже призанять где-нибудь, чтобы только не иметь этого угрызения совести. Но я не чувствую своей вины только потому, что я глубоко убежден, что Вы вступили на ложный путь. И попали Вы туда отчасти благодаря тому, что Вы, предоставленный самому себе и влиянию Ваших товарищей, людей в жизни совсем неопытных, легко соблазнились каким-то призраком, который Вам, т. е. Вашему искусству, ровно ничего не даст. Ведь для стороннего наблюдателя, каким являюсь я, это ясно как Божий день.

Вы говорите, что в Академию уже поздно подавать прошение, что Вам хотят дать какой-то "куцый" аттестат. Да разве, если бы Вы серьезно любили Ваше искусство, Вы не подумали бы о том, что подать прошение нужно тогда-то, да разве Вы могли бы получить куцый аттестат? Мне

это не понятно. Вы, как беззаботный мотылек радовались своему счастливому положению, которое характеризовалось отсутствием забот и обязанностей, а в результате и получился "куцый" аттестат, который и Вас самого не удовлетворяет. Но Вы стараетесь заглушить голос благоразумия и повторяете себе: "Это не важно, разве мы учимся для аттестатов" и т. д. Конечно, мы учимся для знаний, лучше сказать, для достижения намеченной цели, но потому-то мы и преодолеваем все неприятные трудности и стараемся получать не куцые аттестаты, чтобы только достигнуть дорогой нам цели. Этим характеризуется каждая серьезная работа и каждый серьезный человек.

Думаю, что, положа руку на сердце, Вы этого про себя сказать не можете: Вы занимаетесь своим делом как дилетант и в нем Вы дальше этюдиков и эскизиков не пошли. Остальные предметы у Вас всегда были в загоне, не смотря на то, что от них зависело получение "куцего" или не куцего аттестата, а это последнее дало бы Вам возможность пойти по тому пути, который лежал перед Вами.

Для меня теперь ясно: в русскую академию Вы не попадете. Вас манит в Париж, главным образом, потому, что Парижу создают славу все неудачники художники, которым среди рядовых художников нет места. Париж всех принимает в свои объятья и там, конечно, место есть и для Вас. Но что может Вам дать Париж при Вашем отсутствии характера и настойчивости в достижении известной цели — я легко могу себе представить, а потому искренне Вас отговариваю от этой мысли. Подумайте хорошо над этим, Вы сами себе сознаетесь, что Вас тянет в Париж не искусство, а Парижская жизнь, которую другие Ваши товарищи с "куцыми" аттестатами нарисовали особенно привлекательной.

Если бы хоть в Вашем искусстве я видел у Вас большую настойчивость, громадную затрату труда, дело другое, но ведь, согласитесь, Вам 22 года и до сих пор я не видел и не слышал, чтобы Вы хоть попытались создать свое что-нибудь. Ведь у Вас нет ни одной работы, ни одного Вашего законченного произведения. А 22 года это такой возраст, когда человек, чувствующий в себе силы и дарование, непременно попытается создать что-нибудь, в чем выразилось бы его собственное я, а вместо этого у Вас было и увлечение литературой (Вы, кажется, мне даже писали, что уделяете писательству много времени), увлекались философией. И во всем Вы были только дилетантом, не смотря на то, что судьба Вам дала полную возможность получить от жизни очень многое.

Грешно Вам, Ниренберг, что Вы сами изгадили себе свое будущее и всегда воображали, что достаточно одного таланта, чтобы выйти в люди. Конечно, талант это прочный фундамент, на котором можно выстроить громадное здание, но громадные здания без громадного труда не создаются, а без здания и фундамент никому не нужен.

Может быть, Вы рассердитесь на меня за мое письмо. Будь вопрос о Вашей судьбе для меня совершенно безразличен, я, конечно, не писал бы Вам этого письма, но я не могу не высказать Вам своего взгляда. От души желаю, чтобы мои взгляды оказались неверными и чтобы в жизни Вы все же нашли то, что Вам нужно. Письмо же это советую сохранить и прочитать его каждый раз, когда Вам другие будут курить фимиам. Это будет очень полезно для Вашей критики Вашего собственного я, т. к., вероятно, никто другой не скажет Вам о Вас своего мнения так откровенно, как это сделал я на правах человека, много старше Вас, и близко принимающего к сердцу все, что касается Вас.

Где бы Вы ни были, не забудьте написать мне пару слов о том, что Вы делаете и что делает с Вами жизнь.

Крепко обнимаю Вас и от души желаю Вам попасть на правильный путь в жизни.

Ваш О. Беренс.

Крутые 14.01.1912 год

*Дорогой Ниренберг.**

Вы, вероятно, уже успели пожалеть, что написали мне, т. к. так давно не получали от меня ответа. Не судите строго. Есть минуты, когда писать невозможно, когда вас окружают люди, мешающие сосредоточиться, когда к вам пристают со всех сторон с делами, житейскими вопросами, и есть минуты, когда прямо писать не хочется, когда чувствуешь, что напишешь не то, что хочешь. Вот так было все это время.

Я только что отвез жену и Сережу на вокзал, откуда они поехали в Одессу, где Сережа уже полгода учится. И в данную минуту я совершенно один, и мне хочется поговорить с Вами. Как вы меня обрадовали Вашим письмом. Не тем, конечно, что Вы мне польстили и много хорошего сказали мне, чего я вовсе не заслужил, а тем, что я не ошибся в Вас и что я действительно нашел в Вас того Ниренберга, которого я привык в Вас видеть, но которого никто, кроме меня, не хотел в Вас признать.

* Письмо было отправлено А. Нюренбергу в Париж.

Если Вы действительно имели намерение облегчить мою ноющую душу, то Вы достигли этого вполне и я крепко обнимаю Вас за Ваше прелестное письмо. В нем Вы поговорили со мною искренне и сердечно, забыв совершенно о форме и стиле, так много портивших Ваши прежние письма и так заслонивших мне того Ниренберга, которого я в Вас всегда чувствовал. Ну и какой же из Вас декадент? Разве Вы сами этого не видите? Следуйте Вашему сердцу и чувству, отбросьте все модные учения и увлечения разными направлениями, и Ваши произведения кисти также смогут тронуть до слез, как и несколько просто написанных слов, которыми Вы меня так тронули. Вам ли не быть простым и искренним в Ваших произведениях, когда жизнь, прожитая Вами до сих пор протекла так, что Вы всегда видели вокруг Вас и лишения, и горе, и бедноту, и затаенные страдания всего Вашего народа? Но я не учу Вас, дорогой Нюренберг, спрячьте и эти слова туда, где спрятано и остальное, сказанное Вам мною. А я глубоко верю, что то, что положено Богом в Вашу душу, рано или поздно выйдет наружу, а мне только кажется, что я лучше Вас видел, что у Вас там есть, и вижу теперь, что предположения мои сбываются.

Ваше письмо я получил в Одессе. В половине октября я поехал туда, чтобы полечиться гидропатией и отдохнуть. И просидел там до Рождества, когда и вернулся с Сережей и женой в Крутые. Весь этот год был для меня крайне тяжел: с марта месяца я чувствую себя плохо и вижу, что это плохо идет возрастая. Страдаю головокружениями, которые мне прямо отравляют жизнь, а все наши мудрецы дают советы, берут деньги, назначают лечение, а толку никакого. Я смотрю на свое здоровье очень пессимистически и, как ни странно, но думаю, что это начало конца. Мой отец страдал такими же точно головокружениями (правда, в более позднем возрасте), но они закончились ударом, а там и пришел конец. Если бы мне Господь помог хоть Сережу видеть на ногах, то психическое мое состояние было бы отраднее, а так меня эта мысль угнетает страшно. Сережа уже в 3ем классе Одесского Реального училища. Учится сносно, но мог бы учиться много лучше, если бы не отвлекался всяким баловством. Способности у него хорошие, для рисования очень верный глаз, но учитель у них такой невозможный, что рисовать он будет так же плохо, как и я. Жена моя, по-прежнему, летом сидит с Сережей в Бандурке и занимается хозяйством, а я сижу в Крутых и только приезжаю в Бандурку раз в две недели, чтобы помочь советом и опытом. Жизнь моя, как видите, не изменилась с внешней стороны, а во мне самом, как мне ка-

жется, большая перемена. Я чувствую усталость от всех тех незаметных для постороннего глаза пинков, которыми жизнь наделяет каждого из нас, и с каждым годом становлюсь все равнодушнее, как к удачам, так и к неудачам. Вот обо мне все.

Но что делает Вы? Почему Вы так мало написали о себе? Как разрешился вопрос о Вашей военной службе? Что Вы рисуете, что пишите, кто критикует Ваши работы, куда Вы стремитесь, т. е. имеете ли какую-нибудь определенную цель перед собой или нет? В Елисаветграде бесконечно давно не был и никого не видел. Горшков мне говорил, что видел Вас. Думаете ли вернуться в Россию? Говорите ли уже по-французски? Работаете ли под чьим-либо руководством или нет?

Ну, будьте здоровы. Еще раз большое спасибо. Крепко обнимаю Вас.

Ваш О. Беренс.

Елисаветград, В редакцию "Голоса Юга"
*Ее высокоблагородию Анне Марковне Ниренберг**
(Для Амшея)
Крутые 22.06.1916.
Дорогой Ниренберг,

как я рад, что Вы подали признаки жизни. Где Вы пропадали так долго и куда Вас судьба забросила в последнее время? Мне говорили, что Вы в Николаеве, потом, что Вы в Одессе, но, чтобы Вы были в Елисаветграде, где я часто бываю — я никак не предполагал. Да, я перенес тяжелые минуты. В первых числах апреля я овдовел, и теперь вся моя семья состоит из Сережи. Нигде на всем свете нет ни живой души родственников. Зато, должен сознаться, что получил так много доказательств трогательных дружеских отношений от людей, знавших покойницу и меня, что не чувствую себя еще одиноким. Буду на этих днях в Елисаветграде. Если заглянете в Северную, то застанете там Сережу и меня.

Крепко обнимаю,
Ваш О. Беренс.

* Анна Нюренберг — старшая сестра Амшея Нюренберга.

Елисаветград

Мне было 15 лет, когда я пришел экзаменоваться в малярную школу имени богача Фирсова, ее основателя.

Мне хорошо памятен этот день. Было туманное розовое утро. Матовое, точно марлей затянутое солнце, голубые дымки над сонными еще, сутулыми домишками, спешащий на службу и базар народ и бодрящий аромат умирающего лета. В такое утро мне и экзамены рисовались розовыми и легкими. И с сердцем, полным радости, я легко взобрался на горку, где находилась школа.

Руководитель школы маляр Глинянный — человек добрый с робкими темно коричневыми застенчивыми глазами, сухим лицом и нахмуренным низким лбом, навевавшим воспоминания о ноябрьском степном небе, встретил меня неприветливо.

— Где вы раньше учились? — угрюмо спросил он меня, внимательно разглядывая свои большие грязные ногти.

— Во втором казенном, — робко ответил я.

— Вас... что же вытурили оттуда?

— Нет, я ее окончил.

— Ага. Ага-а-а. А краски и кисти у вас есть?

— Нет, я куплю.

— Ну, добре. Берите пока казенное добро. Только помните: не очень рыпайтесь... и дурака не валяйте.

И после паузы добавил:

— Не стройте из себя таланта и не думайте, что художником заделаетесь за две недели.

Он смачно, с достоинством сплюнул, неспешно растер ногой и как-то особенно музыкально крякнул. Затем подал мне небольшой лист плотной бумаги и палочку угля:

— Берите и садитесь.

Я сел. Измазанные "пробами тона", как в малярных мастерских, стены, загрунтованные мелом холсты и жестяные вывески, старенькие выцветшие олеографии и три-четыре больших полотна — беспомощные копии с картин Айвазовского и Шишкина. На двух сосновых мольбертах, стара-

* Орфография и синтаксис оригинала сохранены. (**О. Т.**)

тельно измазанных грязными красками, стояли неоконченные работы. Натюрморт — разрезанный на две неравные части пунцовый арбуз с маленькими миндалевидными черными косточками, два ярко изумрудных персика и один тяжелый черно-лиловый баклажан. Все это было сложено под не совсем чистым полотенцем, щедро расшитым пестрым украинским узором. Пахло вареной олифой, столярным клеем и гуашью. Я жадно разглядывал мольберты, палитры со спектрально расположенными красками, пестрые копии с известных художников, олеографии. Я с наслаждением вбирал в себя все запахи, вызвавшие мое глубокое уважение к школе и ее руководителю.

С большим волнением я начал рисовать натюрморт. Воля меня покинула. Я ждал неудачи. Уголь плохо приставал к бумаге, резинка не счищала, а пачкала, линии контура мне показались расслабленными, неуверенными. Я чувствовал, что проваливаюсь.

— Ну, что же, приходите завтра с кистями и бумагой, — услышал я позади себя хриплый, придавленный голос.

Я оглянулся. В светившихся небольших глазах Глинянного я прочел одобрение и дружбу. Мною овладело состояние, похожее на счастье. Розовое радостное утро не обмануло меня.

Через неделю я уже писал копии с "Лунной ночи" Айвазовского, грунтовал жесть для вывесок и изучал несложное малярное дело. Надо признать, что Глинянный своей педагогикой нас особенно не утомлял. Учеба не блистала сложными методическими принципами. Обычно занятия происходили так: Глинянный давал ученику кусок полотна или бумаги, кисти, палитру с выдавленными на нее акварельными или масляными красками, потом брал ученика за рукав, подводил к поставленному на стол натюрморту и сухо, небрежно говорил:

— Намалюйте вот это.

И все. Конечно, ученик, если он плохо знал ремесло, должен был себя чувствовать как человек, которого, чтобы научить плавать, бросают в глубокую реку. Талант есть — выплывешь. Ко дну пойдешь, не удержавшись на поверхности — значит прослывешь бесталанным.

Живопись и акварель у нас считались лакомыми блюдами. Этим мы имели право заниматься после основных занятий, т. е. после занятий по изучению малярного, вывесочного и альфрейного дела**. Разумеется, мы все делали, чтобы увильнуть от этих занятий.

** Декоративная отделка интерьеров.

Глинянный аккуратно воевал с нами:

— Раньше вывески и окна, черти окаянные, а потом пейзажи и портреты, — с улыбающимся лицом говорил он, — вы, как и я, с удовольствием бы взялись за картины, но это отвлекает от учебы.

Порой, когда его упрямство ему самому надоедало и воевать с нами ему казалось слишком утомительным, он сдавался:

— Ну, черт с вами. Малюйте картины.

Несомненно, он сам любил живопись, хотя ясно не понимал, в чем она заключается. Он не знал, чем он может помочь, хотя готов был это сделать. Особенно он любил атмосферу творчества. Ему нравилось готовить натюрморты: ходить на рынок, покупать яркие ароматные яблоки, груши, дыни и арбузы, потом раскладывать их в "живописном беспорядке" и наблюдать, как нестриженные молодые ребята их малюют.

Как-то раз я к нему пристал:

— Аксентий Родионович, скажите, какие правила существуют для того, чтобы научиться хорошо писать картины?

Он почесал свое хмурое небритое лицо, прищурил темно-коричневые глаза, показав еле уловимую улыбку:

— Пишите так, как в природе. Вот. И вы станете настоящими художниками. Чтобы рукой можно было взять. Поняли. Вот вам все правила.

И мы стремились написать так, "чтобы рукой можно было взять".

Ровно через год я сдал экзамен на звание живописца вывесок. Экзаменовавшийся должен был зашпаклевать и загрунтовать лист жести, набитый на подрамник, и написать по выбору (такие существовали в школе традиции) сценку бритья или франта из модного журнала.

Сценка бритья изображалась так: в богатом кресле непринужденно, как подобает шикарному аристократу, сидел красавец брюнет, изящно обвязанный белоснежной простыней. Над ним — почтительно склоненный элегантный парикмахер, в грациозных руках которого блистала бритва. Слева от фигур — дорогое зеркало и шкафчик, встречаемые только в домах купцов первой гильдии.

Изображение франта требовало не меньшего творческого напряжения. Надо было дать тип модника-иностранца. Обычно ученики эту проблему решали по шаблону, выработанному самим Глинянным. Американского покроя темно-серый костюм и приделанная к нему голова красавца-шатена в высоком черном цилиндре, яркие желтые перчатки и изящная трость. Франт изображался в профиль на фоне роскошного парка.

Я остановился на франте. Через три дня вывеска была готова. Осмотрев мою работу, Глинянный ухмыльнулся и ехидно сказал:

— Вам, Нюренберг, будут больше удаваться портреты старьевщиков и раввинов.

В поисках работы я ходил по мастерским живописцев вывесок. Однажды я узнал, что инженеру Гольденбергу, любителю живописи и музыки, нужен живописец вывесок. Говоривший это тут же добавил, что "нужен работник первого сорта, с золотыми руками". Оглядев свои руки и придя к невеселому выводу, я все-таки решил испытать судьбу и отправиться к инженеру Гольденбергу.

Отец мой посоветовал мне одеться женихом и привести в полный порядок мои праздничные штаны, одеть черную суконную тужурку, сшитую одесским портным Гершале Спиваком, и начистить ваксой свои штиблеты "так, чтобы вся улица в них отражалась".

Инженер Гольденберг меня принял в кабинете, похожем на магазин случайных вещей. В его круглой и мягкой руке лежал массивный серебряный портсигар, усеянный золотыми монограммами, на носу блестело золотое пенсне, во рту сигаретка.

— Вы искали опытного живописца вывесок? — робко спросил я.

— Да, именно опытного, — ответил он, нажимая на слово "опытного". Голос у него был мягкий.

— Я верю, что Вы меня за работу ругать не будете, — нерешительно сказал я.

— У вас есть образцы вашей работы?

Я подал ему картонную папку с моими акварелями и рисунками. Это были копии с открыток и олеографий, висевших у нас дома. Помню среди акварелей копию с гравюры, украшавшей нашу залу. Это была сцена из голландской жизни. С тех пор у меня осталась любовь к голландским серым зимним пейзажам.

Он внимательно рассмотрел все мои работы и с чувством, свидетельствовавшим о его любви к живописи, внушительно сказал:

— Что же, человек вы способный... Я думаю, что вы мне фасад не испортите. Хорошо. Беритесь за работу. В добрый час.

Я разглядел его. Небольшая лысина, умные убеждающие глаза и доброжелательные семитские губы. Некоторые болезненность и усталость, заметные в его движениях, придавали ему оттенок печали. Не знаю почему, но в этот момент я решил, что он должен стать моим меценатом.

Сумма, предложенная им, показалась мне головокружительной. Пряча свое радостное волнение, я долго собирал и складывал свои работы. Он дружественно протянул мне свою круглую руку.

Я приступил к "фасаду". Надо было написать четыре сложных машины, тонко вырисовав все детали и гайки, и около 120 букв различного стиля и размера. Первая машина (нефтяной двигатель) в серо-черных и зеленых тонах была готова через три дня. Работал я с увлечением и любовью.

Инженер Гольденберг приходил в мастерскую, устроенную в магазинном складе, ежедневно. И, усевшись позади меня, долго смотрел, как я работаю, курил короткие светло-шоколадные сигаретки и давал указания:

— Машина, мой юный друг, любит точность. Это вам не пейзаж. Гаечку пропустите, и работа уже не та, не годится.

Вывески писал я долго, месяц, а может и дольше. Порой мой работодатель (когда коммерческие операции ему не удавались и жена хворала) был похож на осеннюю тучу, отраженную в нашей мутной речке Ингул. Тогда он меня иронически называл "маэстро":

— Знаете, маэстро, — насмешливо начинал он, — ваш нефтяной двигатель мне напоминает опрокинутый старый биндюг. Ой, боюсь вы задрипаете весь фасад лучшей в Елисаветграде технической конторы.

Нужно ли рассказывать, как на меня такие слова действовали?

Но такие нерадостные дни тянулись недолго. Гольденберг долго не мог дружить с печалью, и скоро его губы и глаза опять всем улыбались.

— Вы молодец! Я недаром почувствовал в вас тонкого художника. Вам обязательно необходимо поехать в Одессу. Там вы скоро сделаетесь человеком. В этой дыре таланту нечего делать.

И я, убаюкиваемый этой сладкой лестью, незаметно для себя отрываясь от работы, живо рисовал себе далекую сказочную Одессу, где можно скоро сделаться человеком. Одесса мне казалась городом, равным Нью-Йорку, Парижу. В возбужденном горячем мозгу рождались фантастические образы длиннейших улиц и небоскребов. По асфальтированным улицам неслись толпы спешащих, хорошо одетых, тщательно умытых и выбритых счастливых людей. У каждого из них в руках обязательно желтые перчатки и изящная трость. Над ними ярчайшее солнце, но они так счастливы, что им даже лень, а может, некогда глядеть на него. Пусть себе, мол, сияет!

Как-то раз после обеда вернувшись в мастерскую, я нашел моего заказчика озабоченным и чуть взволнованным. "Опять неудачная операция", — подумал я.

— Ну, юный друг, в ближайшие дни кончайте вашу работу. Ваше дело в шляпе. Радуйтесь — вы едете в Одессу.

Я почувствовал, как у меня поднимается температура. Я онемел.

— Да, вы едете в Одессу и будете учиться в Художественной школе. Ваши рисунки видел один богатый немец. Они ему очень понравились. Он даже купил одну акварель и уплатил пять рублей. Вот они.

На розовой ладони блистала, точно кусочек солнца, золотая монета. Одесса стала мне близкой... Я еду учиться... Температура все повышалась. Кровь зазвенела в ушах.

Кто был этот первый коллекционер, заинтересовавшийся моей судьбой? Зачем я ему понадобился? Я бросился домой.

Отец первым делом потребовал, чтобы я свой золотой спрятал на счастье или приобрел на все пять рублей выигрышных заграничных билетов:

— Чем черт не шутит, — говорил он, как обычно ковыряя спичкой в ухе в моменты волнения, — вдруг мы все разбогатеем, и тебе, сынок, не придется писать вывески. Ты сможешь сдать экстерном за восемь классов гимназии и потом поступить в университет. Выйти в люди. Все может случиться.

Но мать, не знавшая тяжелого плена тщеславия, ему убеждающе отвечала:

— Чего ты пристал к мальчику? Не понимаю. Нашелся человек, который хочет помочь ему достигнуть цели — и пусть. Пусть он едет в Одессу. Счастливого пути!

Вечером за ворчливым шарообразным самоваром на семейном совете было решено, что я должен непременно ехать в Одессу.

Сестры бережно упаковали мои вещи. Их нежная заботливость и любовь ко мне не могли прикрыть нищету, выглядывавшую из всех щелей моей небольшой старенькой корзины. И, после недолгих размышлений, я решил обшить ее мешковиной. Подушка, солдатское одеяло неуловимого цвета гнилой свеклы и короткое зимнее пальто на бумазейной рыжей подкладке.

Пышные проводы носили трогательный характер. Отец, мать, сестры, пес Жук и золотистый закат. Незабываемый осенний закат, пришедший с облаками, полными радости и веры в мои одесские дела.

— Ну, Амшей, будь трудолюбив. Помни, сын, — начал отец иронически, — что родители у тебя ни в каком родстве с Ротшильдом не состоят и что у Когана в банке я пока что кредитом не пользуюсь. А потому учись и не трать время на глупости. Если этот немец-чудак действительно тебе будет помогать — то это редкое посланное самим Богом счастье!

Во влажных глазах сестер и матери сверкала радостная печаль. Звонки. На ярко светящемся циферблате две упавшие вниз жирные стрелки. Грохот окутанного паром добродушного паровоза.

— Не забудь печенья, оно в газете.

Меня обнимают. Я на площадке ярко зеленого новенького еще пахнущего машинной краской вагона. Последним прощается закат. Когда вагон, скрипя, медленно отошел от того места, где стояли близкие мне люди, и я взглянул на зарево, мне показалось, что все небо облито керосином и горит. Мне даже почудилось, что я чувствую запах гари. Но через несколько минут голубо-оранжевое пламя погасло. Облака потемнели, посерели, и город, только что казавшийся мне выкованным из червонного золота, потускнел и почернел. Я не ожидал таких торжественных и смутивших меня чувств.

Одесса. Осень 1904 г.

Я поселился на Польском спуске, 12, в большой прокопченной дымом и временем комнате. В ней, как во всех одесских комнатах, сдававшихся в наем, всегда пахло несвежим бельем и жареным луком. Из окна, уставленного геранью и бутылками, был виден порт с уходившими и приходившими иностранными пароходами. Можно было ежедневно глядеть на море с кораблями. Это меня соблазнило, и я внес задаток. Условие — за полный пансион 10 рублей в месяц. Платить будет мой протектор немец Беренс.

Живу и знакомлюсь с моими соседями. Латыш Эд. Высокий, жилистый человек с почти квадратным сухим лицом. Пасмурный, неразговорчивый. Как потом выяснилось — человек совершенно неуловимых дел и таинственных профессий. Он исчезал рано, чуть свет, и возвращался вечером. Придя домой, он тщательно и глубокомысленно осматривал свою изношенную обувь, потом долго и как-то солидно мыл свои потные ноги, причесывался, ковырял зубочисткой в зубах и, наконец, когда он от всех этих процедур уставал — ложился на старый косолапый диван, служивший ему кроватью, и читал скучнейшие книги — приложения к журналу "Родина". Питал он неисчерпаемую нежность к длинным любовным письмам и в дневные часы, когда нас не было, с увлечением их писал на кремовой бумаге.

Когда его спрашивали: "Эд, где ты пропадаешь?" — он спокойно отвечал: "В порту работаю, брат". Но никто из нас ему не верил.

Во влажных глазах сестер и матери сверкала радостная печаль. Звонки. На ярко светящемся циферблате две упавшие вниз жирные стрелки. Грохот окутанного паром добродушного паровоза.

— Не забудь печенья, оно в газете.

Меня обнимают. Я на площадке ярко зеленого новенького еще пахнущего машинной краской вагона. Последним прощается закат. Когда вагон, скрипя, медленно отошел от того места, где стояли близкие мне люди, и я взглянул на зарево, мне показалось, что все небо облито керосином и горит. Мне даже почудилось, что я чувствую запах гари. Но через несколько минут голубо-оранжевое пламя погасло. Облака потемнели, посерели, и город, только что казавшийся мне выкованным из червонного золота, потускнел и почернел. Я не ожидал таких торжественных и смутивших меня чувств.

Одесса. Осень 1904 г.

Я поселился на Польском спуске, 12, в большой прокопченной дымом и временем комнате. В ней, как во всех одесских комнатах, сдававшихся в наем, всегда пахло несвежим бельем и жареным луком. Из окна, уставленного геранью и бутылками, был виден порт с уходившими и приходившими иностранными пароходами. Можно было ежедневно глядеть на море с кораблями. Это меня соблазнило, и я внес задаток. Условие — за полный пансион 10 рублей в месяц. Платить будет мой протектор немец Беренс.

Живу и знакомлюсь с моими соседями. Латыш Эд. Высокий, жилистый человек с почти квадратным сухим лицом. Пасмурный, неразговорчивый. Как потом выяснилось — человек совершенно неуловимых дел и таинственных профессий. Он исчезал рано, чуть свет, и возвращался вечером. Придя домой, он тщательно и глубокомысленно осматривал свою изношенную обувь, потом долго и как-то солидно мыл свои потные ноги, причесывался, ковырял зубочисткой в зубах и, наконец, когда он от всех этих процедур уставал — ложился на старый косолапый диван, служивший ему кроватью, и читал скучнейшие книги — приложения к журналу "Родина". Питал он неисчерпаемую нежность к длинным любовным письмам и в дневные часы, когда нас не было, с увлечением их писал на кремовой бумаге.

Когда его спрашивали: "Эд, где ты пропадаешь?" — он спокойно отвечал: "В порту работаю, брат". Но никто из нас ему не верил.

Более яркой и ароматной личностью был армянин Минастянц. Среднего роста, улыбчивый и приветливый. Портной. Работал в мастерской богача Ландемана. Он называл себя "социалистом" и аккуратно посещал политические лекции и доклады.

Третьим соседом был великоросс Попов. Высокий, крепкий ширококостный, голубоглазый дядя. Манеры у него были приказчика гастрономического магазина. Его главной специальностью, кажется, было исключительное умение живо и картинно рассказывать анекдоты. Он их знал тысячи. Домой он являлся чаще всего в 12-1 ч. ночи, шумно и весело напевая воровские или проститутские песенки. Когда он находил нас спящими, он бесшумно раздевался и в нижнем белье медленно с высоко поднятой головой, точно совершая какой-то ритуал, обходил нас, стаскивая с нас одеяла.

— Проснитесь, сукины сыны, есть новый анекдот! Замечательный!

Мы громко ругались, но он был неумолим. И мы должны были, ежась и дрожа от холода, выслушивать новый замечательный анекдот.

Хозяйка наша Ольга Павловна, толстая с желтым и запавшим лицом женщина, кормила нас такими обедами, что все мы должны были носить в кармане пузырек с каплями Иноземцева. Когда изнуренный желудочными коликами добрейший Минастянц страдальчески говорил ей: "Ольга Павловна, что ты, милый человек, кладешь такое в твой суп, что мы всю ночь бегаем?", хозяйка с лицом, полным изумления и возмущения, отвечала: "Не понимаю, в чем дело? Продукты свежие, посуда чистая! Это вы где-нибудь схватили в паршивых обжорках и на меня сваливаете".

— Эх ты, Минастянц Минастянцевич, да неужели ты не понимаешь, что наша Ольга Павловна нам готовит не на сливочном, а на резинном масле? — насмешливо говорил Попов.

— Ничего вам до самой смерти не будет, — скороговоркой победоносно отвечала она.

Минастянц со мною часто говорил о жизни, о бедности, о бедняках и богачах. Меня поражали его яркие мысли о религии. Он отрицал существование Бога и жестоко высмеивал все человеческие добродетели.

— Бог, — говорил он хриплым голосом, — выдуман богачами. Он им нужен. Бедным людям Бог нужен, как чирей на заднице. Что он им может дать? Ничего. Синагога и церковь — это цирки.

Он пламенно ненавидел полицейских, жандармов и глубоко верил, что рано или поздно им будет мокрый конец. "Ничего, доживем до того дня, когда я на них верхом покатаюсь. Вот уж покатаюсь".

К художникам и ко мне, в частности, он относился очень тепло:

— Жалко художников. Они много голодают.

Слово "много" он произносил нараспев.

— Ты, — обращался он ко мне с окутанным лаской и добротой лицом, — ты должен рисовать только бедных людей. Художник, по-моему, должен быть певцом бедных. У бедных людей есть большое сердце. В глазах бедных всегда горит человеческий огонь. Да. Если бы я был художником, я бы рисовал только бедных, голодных, оборванных и калек. Я не могу объяснить вам, но чувствую, что они на картинках должны выходить лучше.

Когда наступили сильные холода и на окнах появились узоры, будившие воспоминания о детстве, мы упрашивали хозяйку:

— Ольга Павловна, положите лишнее поленце в печь. Мерзнем, как местечковые собаки.

— Такие бравые и молодые ребята и так мерзнут. Стыдно, — отвечала она. — Берите еще одеяла.

И мы, ругая ее крепкой бранью, отставали от нее.

* * *

Мою жизнь в Одессе нельзя было назвать блестящей. На каждую горсть радости судьба, в то время не ладившая со мной, отпускала мне тонны неприятностей и горя.

Я плохо питался. И только мой крепкий организм, неистребимая бодрость мяса и нервов меня поддерживали. Я приобретал зверские желудочные болезни и как-то лихо и весело расставался с ними. Моими дежурными блюдами были изюм мелкий, так называемый кишмиш, и сельди. Эти продукты я получал в неограниченном количестве. Но я не мог злоупотреблять связывавшим меня доверием лавочников, и брал столько, сколько мне нужно было.

Я не всегда мог писать натуру. Красок не хватало, особенно белил, уходивших во время работы в большом, пугавшем количестве.

Но все это меня не так волновало, как вопрос об одежде. Я скоро понял, что ходить по улицам с пустым желудком не страшно, а, разумеется, можно. Но ходить по улицам в старых, грязных, цвета половой тряпки штанах и в рубахе, рождающих даже у спешащего пешехода невеселую мысль о цвете и запахе нищеты — никак нельзя.

У меня завелась рыжеволосая курсистка. От нее, так мне казалось, пахло свежим запахом трав. У нее были кошачьи глаза, обещавшие все

земные и неземные радости. Мне хотелось предстать перед ней обязательно в светло-синих, диагоналевых штанах.

* * *

В школе я делал заметные успехи. Быстро переходил из одного класса в другой. За год я дошел до натюрмортного класса и удостоился весьма теплых отзывов.

В первом классе занятиями руководил итальянец Иорини. Обаятельная и добрейшая личность. Очень высокий, с сильно согнутой временем и пережитым спиной, круглый череп, слабо обтянутый старческой землисто-желтоватой кожей. Простой, до наивности доверчивый и необычайно рассеянный. Ни семьи, ни друзей у него не было — только доброжелательно посмеивавшаяся над ним живопись и безгранично любившие его ученики.

Он свирепо не любил высшего начальства и держался по отношению к нему очень независимо. Ему доставляло большое удовольствие глядеть на него сверху вниз. Учитывая его заслуги перед скульптурой и особенно его преклонный возраст, оно мирилось с его мятежным характером. И терпело его.

Все мы широко пользовались его кошельком, точно забывая, что деньги, лежавшие там, нажиты его горбом и морщинами. Часто в его классе можно было услышать такой диалог:

— Мосье Иорини, что делать? Хожу почти босяком. Денег на покупку обуви нет... Холодные дожди...

— Ай, ай, ай, — слышен был хриплый старческий голос, — как можно, босяк? Плёхо, плёхо. На, бери пять рублей. Пойди, купи.

Его метод преподавания, построенный на старых академических принципах, казался нам скучным. Но задушевная искренность и всепоглощающая любовь к искусству этого редкого человека делали то, чего не могли делать лучшие методы преподавания рисования. С Иорини я скоро, не без грусти, расстался, перейдя в основной гипсовый класс.

Здесь я два месяца работал под руководством бесцветного и апатичного Попова, автора бессмысленных морских видов. Он подписывал свои пошлые морские пейзажи холодной подписью "А. Попов".

Четвертым натюрмортным классом руководил известный акварелист Ладыженский. Это был крайне нервный, желчный и как динамит вспыльчивый человек с лицом старой хитрой мартышки. Его замумифицированное сердце редко давало чувствовать себя и казалось мертвым. Его слова,

напитанные ядовитой слюной, в состоянии были вывести из терпения самых толстокожих людей. Он избегал общества и почти всех людей рассматривал, как своих личных врагов. Но его класс пользовался заслуженным авторитетом, и оценка, данная Геннадием Александровичем, решала участь учащегося.

Особенно свирепо он относился к печати и к газетчикам:

— Мерзавцы, продажные шкуры! Дашь им целковый, и они вам все места вылижут, — фыркая и заикаясь, говорил он. — Они губят художника. Они никогда по-настоящему не любили ни художника, ни великого искусства. У-у... Сволочь...

Он выпивал. И мы, зная его слабость, порой зло шутили над ним. Вытаскивали из его кармана небольшие бутылки с водкой, выливали их содержимое в натюрмортные вазы, а их наполняли чернилами или водой и клали ему опять в карман.

Живопись он ставил выше всего. Он горячо и вдохновенно любил сияющую многокрасочную живопись. Как и Делакруа, он считал, что враг всякой живописи — серое. Это он на всю жизнь привил нам почтительную любовь к старым венецианцам и французам. Он не признавал хорошей живописи с плохой поверхностью. "Натюрморт, — говорил он, — это не только цвет, но и поверхность".

— Если картина хорошо написана, надо чтобы все знали об этом, надо трубить... А если вещь плоха, дрянь, то надо говорить откровенно: перед нами — дерьмо.

Из русских художников он высоко ставил Репина, Врубеля, из французов — Делакруа, Коро, из немцев — Менцеля, Лейбля.

— Какая манера! — восторженно говорил он. — Какая манера-а-а! Менцель! Гений! Да, гений. Такие художники родятся раз в сто лет. Вот у кого нужно учиться работать. Какой живописец, и какой рисовальщик! Редкое сочетание! Одним словом — гений!

И мы, не видавшие ни одного оригинала этого расхваливаемого гения, бросались в школьную библиотеку и жадно (взасос) глядели и изучали фотографии с работ Менцеля.

Ладыженский любил сам ставить натюрморты. У него был огромный старомодный ореховый шкаф, доверху набитый разноцветными тканями, тряпками, металлическими кувшинами и китайскими вазами всех веков и стилей. Он любил долго рыться своими сухими и почти белыми руками в шкафу, вытаскивая и разглядывая то одну, то другую вещь. Он напоминал антиквара в своей лавке.

— Вот умру, — грустно и протяжно говорил он, — тогда берите все: и парчу дорогую, и китайский фарфор...

Он высоко ставил способных учеников, но зверски грубо обращался с неспособными и малоуспевающими. Особенную ненависть он испытывал к франтившим ребятам:

— Вам, господа в хороших тужурках с белыми воротничками, нечего здесь делать. Идите себе в коммерческие школы. Надо иметь право заниматься искусством. А у вас этого права нет и никогда, уверен, не будет.

Своих учениц он называл — невестами. Он их грубо, цинично и всеми средствами, как и "тужурщиков", выпроваживал из своих двух мастерских.

— Чего-о-о вы, девочки, время до-о-орогое теряете? Женихов надо искать!

У него были свои любимчики. И он любил о них долго, горячо говорить. Особенную симпатию он питал к Фошко*, тринадцатилетнему неопрятному мальчику с большой гривой взлохмаченных черных волос.

— Фошко-о-о. Это изюминка. Божья искорка. Та-а-алант. Хранить надо. Прятать от женщин надо. Та-а-алант.

В редкие минуты благодушия он надевал огромные оловянные очки и внушительно и степенно, как подобает мэтру, покашливая, присаживался к Фошко и помогал ему писать. Холст прыгал на мольберте под нервными ударами кисти его прозрачных рук и становился все более ярким и радужным. В такие минуты все мы амфитеатром устраивались позади него и ревниво глядели на его изумительную работу.

Погром

Повсюду говорят о больших политических событиях. Манифест, вырванный народом из рук растерявшегося и струсившего царя, трещины в троне, присмиревшая жандармерия, торжество Государственной Думы и обезумевшие от счастья две столицы.

"Народ, — пишет газета "Одесские новости", — наконец-то получил то, за что столько лет боролся — свободу".

На улицах и в парках, в пивных, трактирах и кафе густые толпы возбужденных с горящими глазами людей. На Ришельевской улице группа

* Иосиф Фошко (1891-1971), художник. Родился в Одессе. После окончания Художественной школы в возрасте шестнадцати лет получил стипендию для обучения в Париже. Имел персональные выставки во Франции и США.

— Вот умру, — грустно и протяжно говорил он, — тогда берите все: и парчу дорогую, и китайский фарфор...

Он высоко ставил способных учеников, но зверски грубо обращался с неспособными и малоуспевающими. Особенную ненависть он испытывал к франтившим ребятам:

— Вам, господа в хороших тужурках с белыми воротничками, нечего здесь делать. Идите себе в коммерческие школы. Надо иметь право заниматься искусством. А у вас этого права нет и никогда, уверен, не будет.

Своих учениц он называл — невестами. Он их грубо, цинично и всеми средствами, как и "тужурщиков", выпроваживал из своих двух мастерских.

— Чего-о-о вы, девочки, время до-о-орогое теряете? Женихов надо искать!

У него были свои любимчики. И он любил о них долго, горячо говорить. Особенную симпатию он питал к Фошко*, тринадцатилетнему неопрятному мальчику с большой гривой взлохмаченных черных волос.

— Фошко-о-о. Это изюминка. Божья искорка. Та-а-алант. Хранить надо. Прятать от женщин надо. Та-а-алант.

В редкие минуты благодушия он надевал огромные оловянные очки и внушительно и степенно, как подобает мэтру, покашливая, присаживался к Фошко и помогал ему писать. Холст прыгал на мольберте под нервными ударами кисти его прозрачных рук и становился все более ярким и радужным. В такие минуты все мы амфитеатром устраивались позади него и ревниво глядели на его изумительную работу.

Погром

Повсюду говорят о больших политических событиях. Манифест, вырванный народом из рук растерявшегося и струсившего царя, трещины в троне, присмиревшая жандармерия, торжество Государственной Думы и обезумевшие от счастья две столицы.

"Народ, — пишет газета "Одесские новости", — наконец-то получил то, за что столько лет боролся — свободу".

На улицах и в парках, в пивных, трактирах и кафе густые толпы возбужденных с горящими глазами людей. На Ришельевской улице группа

* Иосиф Фошко (1891-1971), художник. Родился в Одессе. После окончания Художественной школы в возрасте шестнадцати лет получил стипендию для обучения в Париже. Имел персональные выставки во Франции и США.

хорошо одетых людей неистово с радостным ревом качала какого-то пожилого седого офицера. Смешно было видеть, как его тяжелая круглая туша взлетала над шляпами и тяжело погружалась в них.

Но радоваться Одессе долго не суждено было. Вечером подул ветерок. Слухи, слухи, сеявшие в сердце тревогу и опустошение. У ограды городского сквера я слышал, как один хорошо выбритый мужчина в светлой шляпе говорил другому такому же:

— Ой, их будут бить. И как бить. Заплатите жидки. Будет вам свобода!

Вечером уже дул свирепый ледяной нордост. Город почуял несчастье и притаился. Над ним быстро плывущие со стороны моря сине-черные облака. Точно они знают о готовящемся и спешат на то место, где это несчастье должно случиться. Первые зрители погрома.

Сухие звуки оружейной пальбы растут и бегут к нам, в центр. На Молдаванке, говорят, начался погром. Бритые господа были правы. Ночью часов в 10 была получена бодрящая весть: "Погром ликвидирован, убитых нет, есть раненые. Срочно организуйте самооборону, держите связь. Будьте готовы".

Я бросился к друзьям. Меня познакомили с районными организаторами самообороны. У них я узнал, что оружия уже нет, что револьверы "до единого расхвачены" и что остались железные палки. Я взял железную палку.

Я жил на Ново-Рыбной улице в семье дальнего родственника. Как раз против ворот нашего дома находилось жандармское управление, в эти дни напоминавшее штаб действующей армии. Здоровые огромные усатые верзилы то вбегали в ворота управления, то выбегали из них.

Помню скорбное осеннее утро. Небо, похожее на грязную простыню, и пустынные улицы, производившие впечатление зараженных и брошенных жильцами катакомб. Было около 8 часов утра. У наших ворот стоял знакомый молодой человек с заспанным желтым лицом, член самообороны. Он рассказал мне, что жандармы всю ночь готовились к работе, пробовали свои тяжелые наганы:

— Пили водку и пели "Коль славен". А знаете, — закончил он, — когда жандармы пьют водку, поют царские песенки и стреляют в своем тире, то надо ждать еврейской крови...

Он не ошибся. В это утро она уже была пролита. По Ново-Рыбной я дошел до Пушкинской. Со стороны Ришельевской доносился шум. Шум, холодящий сердце. Через несколько минут я увидел толпу убийц.

Портрет царя и хоругви плясали в их охмелевших и обессиленных руках. Рев, гиканье — точно в зверинце в час кормленья. Момент — и мне казалось, что вся эта сумасшедшая орава — статисты на открытой сцене оперного театра, управляемые опытным и ловким режиссером, что они кувыркаются и поют дикие и пьяные песни по его заданию — и что через несколько секунд, когда зрителю все это надоест — они быстро улизнут за боковые декорации. Но, увы! Статисты эти, ведомые жандармами и полицией, в руках, измазанных свежей, еще теплой детской кровью, держали огромные железные ломы и сеяли настоящую, а не театральную смерть.

Впервые в жизни вижу еврейский погром. Незабываемая картина!

На серой мостовой, казавшейся равнодушной и присмиревшей, разбитые фанерные ящики, старое длинное зеркало без стекла, с торчащими зазубринами, кучи разноцветной бумаги, пятна крови на разодранных подушках и пух, поднимавшийся высоко-высоко в грязное небо.

С тех пор церковные хоругви и портрет Николая стали в моем сердце ассоциироваться с еврейским пухом.

Вечером, на третий день погрома. Солнце, неуклюжее окоченевшее, ежась и озираясь, медленно ползло в свою конуру. Ему, как и нам, вероятно, не совсем приятно вспоминать об этих двух днях. Оно выражало сожаление. Как только оно исчезло за почерневшими крышами, с моря налетел холодный сырой ветер. Он приволок две тучи, окрашенные сажей, и нелепо растянул их над восточной частью города.

Ночью шел дождь, помогший всем умыться и придти в себя. Впечатление создалось такое, что все устали. И убиваемые, и убийцы, и мы все, и улицы, и небо, и кареты скорой помощи. Всем захотелось отдохнуть, дух перевести. И чуть-чуть вздремнуть.

Утром на Ришельевской и Канатной появились бело-кремовые, хорошо выпеченные знаменитые одесские калачи с крупным изюмом и воодушевляющим запахом только что испеченного хлеба. Они продавались на уличных, мокрых, не успевших еще обсохнуть ящиках. Их продавали худые, сморщенные, с заплаканными глазами еврейки.

Я иду в морг медицинского факультета. Там, говорят, "можно ознакомиться с итогами погрома". У входа в морг группы небрежно одетых людей. Людей, близко видевших смерть и потерявших поэтому способность беспечно говорить о ней.

Вонь гниющего тела и карболки. В большом квадратном светлом помещении длинные невеселые столы. На них лежат убитые студенты. Большинство из них — участники самообороны. Их человек 15. В форменных шинелях, в воротничках, густо и щедро измазанных кровью и грязью.

Запомнился один студент. Он производил такое впечатление, что через него прошла армия. Лица не видно было. Оно было покрыто грязью и кровью, но во впадинах и выпуклостях угадывались молодые, энергичные черты. Помню еще узенькую полоску запекшейся темно-коричневой крови — остатки разбитого и изуродованного рта, два ярких белых зуба, новенькая, очевидно, щегольская шинель, чудовищно измятая и загаженная конским пометом.

Рядом с этим студентом лежала девочка лет 7-8 с мягкими и нежными формами тела, с чистой светящейся улыбкой, будто вылепленная из голубо-желтого воска. И казалось, что лежит она в паноптикуме, но стоит завести над ней ключом звучащую пружину, и глаза у нее откроются, а круглая головка, немного дрожа, ритмически с легким скрипом начнет двигаться, то в одну, то в другую сторону.

Почему девочка попала сюда в университетский морг, куда свозили только студентов? Вероятно, по недосмотру, а может, так, "для контраста смерти".

В стороне от морга, в подвалах медицинского факультета лежали убитые громилы, провокаторы и переодетые городовые. Человек 40. Мне показалось, что вонь от них шла более густая и что она была одуряющая и тошнотворная. Я спустился по усыпанным деревянными опилками и гравием ступенькам. Убитые лежали точно на пляже в легких, непринужденных позах. Часть из них была без верхней одежды. С широкими руками, покрытыми волосами, с невысокими, плоскими лбами. Меня поразила одна особенность: все они были похожи друг на друга. Почти все они погибли в роковых неосвещенных молдаванских переулках, наивно доверившись им.

На еврейском кладбище можно было глядеть в холодное свинцовое небо и глотать теплые слезы. Мои усилия казаться мужественным и не плакать были тщетны.

Никогда в жизни не забыть мне этих сцен!

Роман БРОДАВКО

Путь корифея

Среди актеров, которые своим вдохновенным творчеством в течение многих лет определяли высокий уровень театрального искусства в Одессе, почетное место принадлежит народному артисту Украины Лесю Луценко. Двадцатилетним он пришел в Одесскую Держдраму и отдал этому театру свыше шестидесяти лет самоотверженного творческого труда. В этом году исполняется сто лет со дня рождения Леся Устимовича.

Степень одаренности молодого актера всегда определяется уровнем игры в ансамбле с признанными мастерами сцены. Луценко начинал работать в труппе, украшением которой были легендарные Юрий Шумский, Иосиф Маяк, Лидия Мациевская. Он сразу был замечен режиссерами, и ему стали поручать роли первого плана. Артур в инсценировке романа Э.-Л. Войнич "Овод", Миловзоров в "Без вины виноватые" А. Островского, Самозванец в пушкинском "Борисе Годунове", молодые герои в пьесах современных драматургов... Каждая из работ отражала яркие грани таланта Луценко, который с одинаковым успехом играл роли героического плана и характерные роли.

В годы Великой Отечественной войны Л. Луценко вместе с театром оказался в эвакуации в Киргизии. Он был занят в каждом спектакле, играл почти ежедневно, в составе фронтовой бригады постоянно выступал перед бойцами действующей армии и тружениками тыла. С радостью возвратился в освобожденную Одессу, где снова стал ведущим актером Украинского театра.

Мое первое впечатление от игры Леся Устимовича — детское. В конце пятидесятых годов в Украинском театре шел спектакль "Разбойники" по Шиллеру в постановке В. Купченко. Франца Моора играл Луценко. Он сразу привлекал к себе внимание: красивый, обольстительный, смелый. И на первых порах трудно было поверить, что за всем этим скрывается подлость, лицемерие, беспощадная жестокость. Я тогда, возможно, впервые понял, что в реальной жизни зло может маскироваться за внешней благопристойностью... Спустя много лет, рассказав о своих детских впечатлениях Лесю Устимовичу, я услышал от него:

— Говорят, что зло — это неверно выбранный путь к добру. Поэтому изначально представлять отрицательного персонажа как злодея нельзя. Его нужно играть как положительного героя, но с обратным знаком. И тогда проявится его сущность. Так ориентировал меня Владимир Петрович Купченко.

Лесь Устимович принадлежал к когорте актеров, которые были бесконечно преданы своему делу, своему театру, жили его интересами, умели радоваться успехам коллег. Для него никогда не существовало разницы между главными и эпизодическими ролями. Все в спектакле должно было отвечать авторскому и режиссерскому замыслу, работать на его идею. Себя Луценко называл "идейным актером". В это определение он вкладывал широкий смысл.

— Не идейных спектаклей не бывает, — убежденно говорил Лесь Устимович. — Другое дело, о какой идее идет речь: о большой, глобальной, или мелкой, второстепенной. Я считаю важнейшими идеи, которые направлены на защиту общечеловеческих духовных ценностей. Идея преданности в любви, выраженная, скажем, в "Лесной песне" Леси Украинки или в "Ромео и Джульетте", по своим масштабам не меньше, чем идея освобождения народа в "Тайдамаках" Тараса Шевченко. Давно доказано: тот, кто предает в любви, может легко предать родину, друзей. Совесть, честь, верность, ответственность, бескомпромиссность... Для меня это понятия "идейные", и они должны в полной мере отражаться в творчестве актера.

Большое внимание Луценко уделял психологическому обоснованию сценического образа. У него не было одномерных положительных или отрицательных персонажей. Были люди с определенными чертами характера, со своими биографиями, своим пониманием правды. При таком подходе персонажи воспринимались как личности, типы. Помню, как убеждал своей кулацкой логикой Гиря в спектакле "97" по пьесе М. Кулиша (режиссер Б. Мешкис). Человек разумный, умеющий расположить к себе, — и при этом хитрый, подлый и лицемерный, Гиря в своих рассуждениях и поступках опирался на свое понимание добра и зла. Он не был лишен искренних родительских чувств, хорошо разбирался в людях и умел играть на их слабостях, но чувство собственника доминировало над всем. Кулак Гиря оказался побежденным в непримиримом столкновении с "коммунарами", однако именно благодаря цельности этого образа победа представителей новой власти выглядела весомой и внушительной.

Такой же психологической достоверностью поражал Бессеменов в "Мещанах" М. Горького (режиссер В. Тимошин). Луценко создал яркий образ человека, который, сам того не понимая, попал под колеса истории. Внешне неприметным, но масштабным в своих чувствах, помыслах и делах был его Терешко Колобок в трагикомедии "Трибунал" по пьесе А. Макаенка (режиссер В. Скляренко). Искреннее сочувствие вызывал одино-

кий, обделенный судьбой, вечно жалующийся на жизнь Гастрит в драме "Вечер" по пьесе А. Дударева (режиссер Б. Зайденберг).

Общеизвестно, что индивидуальность актера в полной мере раскрывается благодаря работе с хорошим режиссером, который становится скульптором ярких сценических образов. Лесь Устимович плодотворно работал со многими режиссерами, но счастливыми мгновениями его творчества была работа с Василием Степановичем Василько. Работать с этим мастером означало окунуться в бездну тонких психологических нюансов, досконально определить линию развития характера, найти яркие средства речевой и пластической выразительности. В 1948 году Василько поставил в Одессе свою инсценировку известной повести Ольги Кобылянской "Земля", в которой Луценко играл Михайла. Этот спектакль стал этапным в жизни театра, во многом определил его эстетику, в основе которой был синтез социально-психологической и народной драмы, когда в судьбе личности отражается судьба народа, и наоборот, в судьбе народа — судьба личности. Михайло Луценко был героем, который выражал народное восприятие прекрасного, народное понимание правды.

Масштабными работами Леся Устимовича в спектаклях Василько были Зализняк в "Гайдамаках", Ибрагим в "Угрюм-реке". Яркий образ старого цыгана-скрипача Андронати в спектакле "У неділю рано зілля копала" по пьесе В. Василько в постановке Изакина Гриншпуна.

Многие годы Луценко выступал в роли Ленина. Этот образ он создавал в спектаклях "Именем революции" М. Шатрова, "Правда" А. Корнейчука, "Кремлевские куранты" Н. Погодина. В советское время это было ответственно и почетно. Образ вождя революции был разработан Лесем Устиновичем глубоко и детально, психологически убедительно. Сегодня можно сказать, что он увлеченно играл наше представление о Ленине как о "самом человечном человеке", которое было сформировано советской пропагандой и передавалось из поколения в поколение. В эпоху перестройки, когда позолота с образа вождя сошла, я как-то заговорил с актером о Ленине. И услышал в ответ:

— Знаешь, я играл то, во что верил. Я и сейчас остаюсь коммунистом, хотя понимаю, сколько дров было наколото в нашей многострадальной истории... Людям всегда нужен идеал. Я стремился выразить этот идеал посредством образа Ленина, образа, который предлагала мне драматургия. И поверь: без всякой конъюнктурности.

Думаю, что при очевидной спорности этого суждения оно заслуживает уважения, поскольку высказано по-настоящему "идейным" человеком.

Луценко всегда было присущи чувство стиля, эстетики произведения, в котором он играл. Одной из ярких его актерских работ был Пунтила в спектакле "Господин Пунтила и его слуга Матти" в постановке Б. Мешкиса. В ней он проявил себя как мастер гротеска в эстетике "эпического театра" Б. Брехта. И рядом с Пунтилой еще один гротескный характер — Исаак в трагикомедии Э. Золя "Наследники Рабурдена".

Как подлинный мастер Луценко всегда проявлял в спектакле свое отношение к персонажу, искал мотивацию его поведения, корни его психологии. Большое внимание Лесь Устимович уделял пластике и сценическому слову, речевым интонациям. Каждая реплика, произнесенная им, поражала своей смысловым наполнением, мелодикой, динамикой.

Он был очень скромным человеком, никогда не стремился навязать свою точку зрения режиссерам и партнерам, но всегда находил аргументы, с которыми трудно было не согласиться, если речь шла о трактовке сценического образа, эпизода, всего спектакля в целом.

Луценко был прекрасным партнером. Это высоко ценили все, кто работал с ним. Он любил молодежь и всегда охотно помогал молодым.

Ему никогда не надо было ни с кем соревноваться, чтобы доказать, что он — лидер. Это понимали в театре все и относились к нему как к учителю, советчику, другу.

Лесь Устимович был прекрасным семьянином и отцом. Его отношения с супругой Феней Львовной Шнейдер, артисткой, а затем основателем и хранителем Музея театра, носили на редкость душевный характер. Они были не просто супругами, а по-настоящему друзьями-единомышленниками. Воспитали достойными людьми дочь и сына.

Лесь Устимович ушел из жизни накануне своего девяностолетия. Для тех, кто его знал, он до сих пор остается примером беззаветного служения театру.



Илья РЕЙДЕРМАН

Из дневника культуролога

Кому завидуем?

1.

В начале марта исполнилось 110 лет со дня рождения писателя-одессита Юрия Олеши. В честь чего в Литературном музее при почти небывалом стечении народу была открыта выставка, сопровождавшаяся некой публичной акцией — дискуссией о зависти, о том, приличное ли это чувство, можем ли мы сами в нем признаться. Говорили, цитировали, вспоминали скандальные эпизоды из биографии автора, демонстрировали некий претендующий на многозначительность видеоряд. Но меня не оставляло ощущение: все это вокруг да около, очередная "акция", "презентация", а существо дела уже никого не интересует. Подразумевалось, что всем и так все понятно, что все в творчестве Олеши описано и инвентаризировано, все окончательно разъяснено литературоведами.

Перефразируя кого-то из великих, хочу сказать: там, где все кажется законченным, следует начинать. Решил перечитать "Зависть". Хрестоматийно известные места, которые и прежде бросались в глаза. Теперь ясно, что это кусочки из его записных книжек, из его упражнений-наблюдений, которые он вставил в повесть. Другие кусочки так и не смогли сложиться, оставшись фрагментами его записей "Ни дня без строчки". Он упражнялся в видении вещей, в их метафорическом описании. Очки, которые переезжают лицо, как велосипед. Появление девушки, подобное ветви, прошелестевшей цветами и листьями, или влетевшей в комнату шаровой молнии. Иногда хочется сказать словами Базарова: друг Аркадий, не говори красиво!

И в то же время — не оставляло чувство подлинного восхищения. И написано блестяще. И конфликт — подлинный, не высосанный из пальца! Можно сказать, что Олеша пишет "из раны", которую ему нанесла эпоха, и рана эта будет кровоточить всю жизнь.

С одной стороны, — мальчики, которые еще успели учиться в гимназиях и писали красивые, может быть, даже слишком красивые стихи ("Шеренга слуг стоит, и свечи коптят амуров в потолке"). Алексей Толстой хохотал: копченые амуры! С другой — "новые люди", как Андрей Бабичев, который был на каторге, а теперь стал "колбасником", и его приемный сын

футболист Володя. И колбасник, и футболист — в гимназиях явно не учились, да и эстетические пристрастия у них совсем другие. Володя говорит: я хочу быть машиной! И в этом самая суть новой эстетики: точность, эффективность, пафос работы, пусть и самой прозаической. Словом, умение сделать колбасу — дешевую и вкусную — и накормить людей. А не, к примеру, рисовать гениальную картину, перед которой будет восхищенно цокать языками кучка знатоков. Да и где теперь, в эту новую эпоху, достаточное количество знатоков возьмешь? Перед нами "новые практики", исповедующие не культ красоты, а культ пользы. А герой повести, несмотря на свою несерьезную фамилию Кавалеров, постоянно унижаемый автором и выставленный прямо-таки подлецом, — все-таки, по всем данным, художник, "эстет"!

И тут вспоминается: да все это уже было! Конфликт, лежащий в основе повести Олеши, самый что ни на есть фундаментальный. "Или для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка?" (Некрасов). Не на жизнь, а на смерть сошлись красота и польза, чувства и рассудок. Иррациональные переживания, от которых кружится голова и щемит сердце, — и рациональная целесообразность, во имя которой не только с чувствами, но и с самой жизнью можно не считаться.

Кто кому должен завидовать? Колбасник художнику? Или художник колбаснику? Хорошо бы, конечно, чтобы никто никому не завидовал и не мешал каждому делать свое дело, да и просто жить. Но вот в жизни так устроено, что именно художник неизменно оказывается страдающей стороной. Что его вытесняет из центра социальной жизни куда-то далеко на периферию, попросту говоря, на обочину — именно "колбасник", лишенный какой бы то ни было утонченности, вульгарный и грубый человек дела, буржуа. Отсюда трагические судьбы многих поэтов и художников девятнадцатого-двадцатого веков. Чем это кончится — можно судить по сегодняшней ситуации, когда почти полностью невостребованным оказывается именно подлинное искусство, а рыночной стоимостью обладают более или менее ловкие подделки под него.

В "Моцарте и Сальери" Пушкина — завидует Сальери, для которого главным оказывается именно ремесло, технология, который "поверил алгеброй гармонию". Профессия в данном случае не имеет значения — перед нами, несомненно, "колбасник", то есть "человек дела", для которого главное — точно уловить социальный заказ и угодить вкусам публики. Понятие "вкуса" — не зря носит физиологический оттенок! Колбаса должна быть вкусной! Парадокс повести Олеши — в том, что тут отношения пере-

ворачиваются, что тут художник (которого буквально выбрасывают на улицу) завидует торжествующему колбаснику.

Итак, выражаясь чуть менее метафорично, — с одной стороны, человек дела, практик, ориентированный на пользу и эффективность, желающий "превратиться в машину". А с другой — романтически-мечтательный, созерцательный тип личности. Для которого так важен хрупкий мир чувств, который не желает жить в мире обесцененной, униженной красоты. Романтик-эстет — и прагматик-реалист. Не ясно ли, кто победил сегодня? Окончательна ли эта победа? Так или иначе — при такой формулировке конфликта становится ясно, что актуальность повести Олеши не исчерпана, что она не привязана намертво к своему времени.

Конечно же, мы можем сказать, что право на жизнь имеют и те, и другие. Что нужны и мысль, и чувство. Но тут мне хочется перевести размышления о давней повести Олеши в культурологический регистр. Что-то не получается с этой гармонией "сердца и ума", с этим "и — и", и это — проблема ныне господствующей культуры.

2.

Олеша произносит формулу: "новые люди". Его герой, несмотря на свою молодость, — явно не принадлежит к ним. Он "инокультурен"! В этой принадлежности к "другой культуре" — суть дела. "Новые люди" всегда являются на переломе эпох. Едва ли не первый из них — Базаров из романа Тургенева "Отцы и дети". "Отцы" — романтики и эстеты, они играют на виолончели, читают Пушкина, отстаивают извечность неких гуманистических принципов человеческого бытия. Прагматик и антиромантик Базаров режет лягушек и проповедует пользу агрохимии, не понимая, что неграмотные крестьяне так будут удобрять поля, что всем нам тошно станет. И в конце концов, погибает в одиночестве, споткнувшись на самом для себя неудобном романтическом месте, на любви. Но колбасник Бабичев и футболист Макаров — его духовные наследники! Они победители, хозяева "нового мира", мира "новых людей"! Правда, обожествляют они не "химию", а "машину", что совершенно естественно для эпохи начинавшейся "электрификации и индустриализации". Но это детали...

Надо признать: они пока что полны энергии, они энтузиасты, они готовы трудиться до умопомрачения, они еще кажутся не похожими на буржуа, они готовы называть обывателями всех, кто не похож на них, кто не участвует в "строительстве нового мира". И Кавалеров несколько раз по-

вторяет, защищаясь: я не обыватель! Но опасность превращения в обывателя — грозит тем и другим. Она связана с бессилием уходящей культуры, уже у "декадентов" лишившейся нравственного стержня. И с ужасающей ограниченностью новой прагматичной культуры.

Чем дальше читаешь, тем больше разочаровываешься в этой повести, когда-то так очаровывавшей. Кавалерову придаются все более несимпатичные черты, и в какой-то момент понимаешь, что автор его оклеветал, что он рисует карикатуру, что интеллигент с дореволюционной закваской должен быть оплеван и унижен, примерно так, как Васисуалий Лоханкин у Ильфа и Петрова. Вероятно, иначе повесть не могла бы быть напечатана. Но это нельзя расценить иначе как предательство. Тем паче, что это предательство и самого себя — ибо герой повести явно как бы второе я самого автора. С самого начала предавший себя писатель Юрий Олеша — всю оставшуюся жизнь был надломленным человеком. Отсюда многие несимпатичные, прямо рассчитанные на эпатаж его поступки, о которых рассказывают мемуаристы. Что и заставило Елену Каракину на уже упоминавшемся вечере к Литературном музее прямо заявить: я не люблю Юрия Олешу! Но меня сейчас не очень волнует, симпатичный ли человек Юрий Олеша и такой ли уж большой он писатель (хотя его именем, кажется, названа одна из одесских улиц). Меня волнует, в чем прав и неправ герой его "Зависти"!

Главное богатство героя (да и автора) — хищное зрение, подмечающее то, чего мы обычно не замечаем. Например, мельчайшие надписи на вилках и ложках. Кажется, что в мире есть только то, что зримо. Подобная установка была бы естественна для живописца, но не для писателя. Ведь в человеке есть и невидимое — его внутренний мир, его душа. Но, похоже, что как раз с душою в мире Олеши и неблагополучно. И не только — в его собственном писательском мире. Но в мире, который он описывает, в "прекрасном новом мире", возникшем после революции. С чего начинается "Зависть"? С эпатирующей фразы: "По утрам он пел в клозете". И далее описывается некое прямо-таки физиологическое ликование, радость здорового кишечника, желудка, всего организма эдакого могучего толстяка.

И тут я вспоминаю другого представителя того же самого литературного "Юго-запада" (название литературному направлению дал Виктор Шкловский), Бабеля, который описывает в "Конармии" начдива шесть Савицкого: "я удивился красоте гигантского его тела", "длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты". А вот женщина Савицкого: "она пошла к начдиву, неся грудь на высоких

башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке". Олеша мог завидовать популярности Бабеля, но ведь он, владелец "лавки метафор", — мог и этим бабелевским метафорам позавидовать! Причем эти метафоры не выдернуты из записной книжки и не вставлены в текст как украшение, а стоят точно на своем месте. И для того чтобы найти им это точное место, автору пришлось проделать трудный и страшный путь вместе с конной армией Буденного. Но я хотел обратить внимание на физиологизм, по-видимому, общий для писателей "Юго-запада", — мы его найдем и у Багрицкого. Физиологизм как принцип изображения "нового человека". Есть тела — здоровые, порой даже великолепные в своем избытке жизненных сил, ими можно любоваться, но все остальное, характеризующее человека, — существует лишь в самом зачатке. Володя Макаров интересен тогда, когда он бежит по футбольному полю. А что же душа? Она — без надобности в этом мире "трудового энтузиазма", колбасы и спорта?

Олеша и его персонажи правы, когда они бунтуют, отстаивая поэзию уходящих из жизни "высоких чувств". Но бунт бессилен, бунтари заведомо снижены, окарикатурены. А "новый человек" — воспет. Воспет как бы поневоле. Олеша изначально — "сдавшийся интеллигент", о чем и писал впоследствии диссидентствовавший литературовед Аркадий Белинков. Его нельзя поставить в один ряд с Пастернаком, Мандельштамом, тем же Бабелем. Увы, почти все писатели из Одессы не сохранили "белые одежды" своей интеллигентности, своего дореволюционного воспитания и культуры. У Маркса есть замечательная мысль, что богач не может петь о золоте. Точно так же песни, сложенные во славу индустриализации и сталинских пятилеток, выходили натужливыми и несколько фальшивыми.

Выслушаем же Ивана Бабичева, брата колбасника, союзника Кавалерова (хотя кто же будет серьезно слушать человека, который говорит о себе, что он "король подушек"?). "Мне выпала честь провести последним парадом старинные человеческие страсти", "вот влюбленный, вот честолюбец, вот предатель, вот безрассудный храбрец, вот верный друг, вот блудный сын...". В этом контексте и тема зависти понятней — речь идет о сильных, больших чувствах, пусть даже и негативных. Я преподаю в художественном училище литературу. Я рассказываю о великих честолюбцах 19-го столетия. Вглядываясь в лица слушателей, я спрашиваю: честолюбцы среди вас есть? Кто из вас мечтает быть великим? "Женщина была лучшим, прекраснейшим светом нашей культуры", — продолжает Иван. "Женское — было славой старого века. Я искал такое существо, в котором соединились бы все женские качества". Я вглядываюсь в лица девушек и спрашиваю

мысленно: таится ли хоть в одной из вас подлинная Женщина? Вот, например, в этой, увиденной в маршрутке и оставившей неизгладимое впечатление: очень красивая, живая девушка, с двумя мобильными телефонами в руках, наушником в ухе и бутылкой пива, которую она пьет прямо из горлышка, одновременно подпрыгивая на сиденье в такт неслышной музыке и успевая разговаривать с тремя собеседниками.

3.

Вопросы мои риторические. Похоже, что Иван был прав! Уходила в прошлое эпоха, в которой культивировались великие чувства, в которой поднималась на высочайший пьедестал Женщина (перечитайте Блока!). В которой, грубо говоря, ценности духа были выше ценности колбасы. "Нам подменили кровь!" — писал в романе (разумеется, историческом) гениальный Юрий Тынянов. Это был момент не только социальной, но и культурной мутации. Был сломан хребет прежней (великой!) гуманистической культуры. На смену приходила какая-то другая культура. Рационалистическая, научная, машинная, техническая, "калькулирующая", то есть все с дотошностью просчитывающая. В центре которой стоял уже не человек, а польза. Польза дела, которой можно было принести в жертву человека (или даже миллионы людей). Можно назвать ее "технокультурой". Можно назвать просто культурой негуманистической. Так или иначе — в ней нет места ценности человека как существа уникального и чем-то радикально отличающегося и от машины, и от животного. То, к чему руку приложил и Олеша (хотя при этом и мучился), — было актом предательства ценностей гуманистической культуры.

Помните слова "гения всех времен и народов"? "Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы". Но ведь человека не обязательно устранять физически. Достаточно низвести его до роли всего лишь "винтика", функции, сделав частью некоего большого механизма. Испортился винтик — заменим другим. Отсюда еще одна формула усатого вождя: "У нас незаменимых нет". Нет незаменимых — значит, ни к чему твоя неповторимая индивидуальность, уникальность, важно в тебе лишь "типичное", то, в чем ты похож на всех. В винтике резьба должна соответствовать стандартам. Вождь оказался жутким злодеем вовсе не в силу кровожадности своей натуры, — просто у него в голове царило механистическое мышление, роковым образом все упрощавшее, вульгаризировавшее.

Это мышление воистину убийственно для жизни, но оно вовсе не исчезло, оно продолжает насаждаться всей системой образования, — и рядом с так воспитанным человеком быстрее увядают цветы и гаснут улыбки. И для него чем-то принципиально невозможным становится любовь — потому что в любви предполагается нечто хоть мало-мальски возвышенное, а не одно только сексуальное тяготение. Механический человек, как его ни называй — машиной, роботом, компьютером. Точно и без ошибок работающий человеко-компьютер. Челокомп! Не машина страшна сама по себе, но машина, поставленная в центр современной цивилизации, формирующая по своему образу и подобию человека.

И поэтому один из центральных образов романа Олеши — машина, которая носит странное имя девушки, сошедшей с ума от любви, Офелии. Машина, которую "развратил" или "свел с ума" ее создатель, Иван. И которая, вместо того чтобы созидать, — разрушает. Она должна бы разрушить весь построенный на поклонении механизмам мир, отомстив ему за поругание высоких человеческих чувств. Но на деле — убивает человека, собственного создателя. Правда, происходит это во сне или в бреду Кавалерова. Но само по себе убийство "умной машиной" человека — символично.

И опять скажу: убивать физически — необязательно. Куда страшней обыденное духовное убийство человека, когда машина — внутри него, в его голове. Страшно смотреть такому человеку в глаза. Они — холодные, они — никого не любят, более того, в них вдруг ловишь ничем не мотивированную ненависть. В такие глаза заглянул я, уходя с вечера, посвященного юбилею писателя Олеши.

Базаровы всех времен в чем-то главном похожи. Они, оправдывая свою фамилию, толкутся в этой жизни, как на базаре (который называется сегодня более приличным словом "рынок"). Они норовят себя подороже продать, считая главной ценностью профессиональные знания. Базаров повторял с вызовом слово "химия". Нынче в ходу несколько иное, с таким же успехом претендующее на универсальность, — "информатика". Станем ли мы, зная валентность алюминия или владея знанием информатики, счастливее, а главное, совестливее, выше, благороднее? Обретем ли мы заметно увядшую за истекший век способность любить, чувствовать красоту, вообще воспринимать что бы то ни было как высокое?

Заявив проблему исчезновения высоких и сильных чувств, Олеша ее как бы снял в финале, где герои говорят о том, чья очередь спать с вдовой Прокопович. После этого проблему исчезновения высоких чувств воспринимать всерьез не хочется. Уходившая культура 19-го века (которая на-

последок еще прошла "последним парадом", дав дивный взлет поэзии, музыки, живописи "Серебряного века") была культурой чувств, культурой отношений, культурой "внутреннего человека", неизмеримого богатства субъективной жизни личности. В центре ее — этика и эстетика. И даже оглядка на уже исчезающую религию. Двадцатый век — век невиданного технического могущества — ознаменован не только самыми кровопролитными войнами, но и огрублением и упрощением самого человека, его жестокостью и бесчеловечностью. И нельзя не видеть, что дело не только во вполне конкретных событиях отечественной и мировой истории, что тут и вина культуры, уже переставшей быть гуманистической! Это культура дела, а не культура слова, образа, символа, культура мышления и деятельности, культура организации мира вещей, среди которых и сам человек всего лишь вещь, техногенная культура, в которой наука и техника утратили человеческое измерение. В центре ее — бездуховная, циничная, механистичная практика. Ничего не поделаешь, какова культура — таковы и мы!

Нами утрачена, разумеется, не сама способность чувствовать, а высота наших чувств, их масштаб, размах, их духовность. От наших чувств осталось нечто куцее, не способное даже нас как следует оживить. И этот остаток приходится подвергнуть массажу при помощи мерцающего экрана телевизора или других, более сильно действующих средств. Давно уже замечаю: даже совсем юные люди становятся все менее эмоциональными. Их мимика становится беднее, на лице застывает маска постоянной озабоченности. Что их удивит, что вызовет восторг, эмоциональное потрясение? Мне это эмоциональное обеднение представляется как бы омертвением. Вижу вокруг все больше "мертвых людей". И организовал в Объединении молодежных клубов (ОМК) "Клуб живых". Я понимаю, что в условиях современной цивилизации — это все равно как мертвому припарка. И все же альтернативы нет: нужно защищать жизнь, которая хочет жить. Жизнь — это бунт, это росток, прорастающий сквозь асфальт, находя в нем трещины.

...Олеша — "сдавшийся интеллигент". А можно ли быть сегодня интеллигентом не сдавшимся, сохранившим свою интеллигентность, несмотря на ее "старомодность" и невостребованность? Похоже, что эта задача — потруднее, чем отстоять свою нравственную личность в условиях тоталитарного режима.

На моем веку в очередной раз радикально изменились времена. И становится очевидно: то, что казалось безвозвратным прошлым, на очередном витке истории может стать будущим, а наше настоящее, несмотря на все новые модели автомобилей и мобильных телефонов, обветшало, как

одежда нищего. Мой вопрос после повторного прочтения "Зависти" (а первое было в девятнадцатилетнем возрасте) таков: по тому ли адресу направлена зависть персонажей повести? Они завидуют "новым людям". Завидуют, потому что они люди иной культуры, не сумевшие вовремя "подменить кровь", потому что они не званы на чужой праздник. Но то, что "новым людям" казалось праздником, уже давно закончилось. Участники "пира" испытывают лишь тяжкое похмелье. Не обратить ли свою зависть... к тем, кто был до нас? К обладателям высоких чувств, носителям высокой культуры?

Мы заменили мудрость знанием. Мы заменили знание информацией. Может быть, пора опомниться и понять, как это скучно?

11-14.03.09

"Мастер и Маргарита" как романтический роман

Говорят, Булгаков однажды пришел и с торжествующим видом показал журнал: обо мне написали. И стал читать отрывки из статьи, с поразительной проникновенностью описывавшие его поэтику. А потом объявил, что это на самом деле статья о романтике Гофмане. Мои заметки — не исследование, но они исходят из того, что Булгаков не совсем шутил, что он и впрямь ощущал себя романтическим писателем.

...Прежде всего, следует определить жанр романа. Приключенческий — говорит Вулис, и детектив есть. Но какой приключенческий? Как "Три мушкетера"? Булгаков осознавал себя писателем романтического типа. А что есть романтизм? Непременное столкновение "двух реальностей", непременное взрывание первой реальности, опровержение ее. Непременно должно появиться чудесное, сказочное, невероятное с точки зрения житейской логики, невозможное.

А во-вторых — это чудесное и невозможное должно одержать победу над "здравой, но плоской и скучной действительностью". Романтизм — есть атака на обывателя и обыденность. Романтизм есть победа своеобразия, оригинальности, неповторимости, уникальности — над штампом и стандартом.

Но дело не только в том, чтобы в действительность вторглись некие чудесные силы — пусть даже из ведомства Воланда. Дело в том, чтобы и в самой действительности нашлись романтические герои, не принятые и отторгаемые ею, способные из этой действительности выломиться.

Что такое романтизм? Это свежий, юный, в сущности, оптимистичный взгляд на жизнь, предполагающий в ней возможность тайны и чуда, ждущий от нее неожиданностей... Это отрицание всякого скептического "не может быть", с которого и начинается роман (носителем скепсиса в нем является Берлиоз). Взгляд, который предполагает, что есть некая романтическая даль, есть теряющаяся в дымке перспектива, — и именно из дымки, из дали, из воздуха и являются герои.

Пушкин называет романтиком Ленского — подчеркивая мотивы уныния, тоски, разочарованности, мировую скорбь. Но это оборотная страна романтизма. Лицевая же — вера! Мощная, страстная вера в чудо жизни, в волшебность реальности, в возможности бытия. Конечно, Булгаков выражает не юношескую простодушную веру — он глядит на мир несколько устало-ироничным взглядом человека, знающего все слабости человека, всю изнанку жизни... И однако же, дерзну предположить, что его "фельетонизм", его сатира в романе — несмотря на близость к ильфо-петровскому материалу — совсем на других дрожжах замешана! Это ведь Булгаков будет утешать Ильфа, вернувшегося из Америки подавленным, ибо увидел совсем другую жизнь. У Булгакова не было наивной веры в социализм, как у Ильфа. Но у него была другая, тайная, я бы сказал, поэтическая вера. Вера, без которой невозможна поэзия! Это вера в мир, бытие — в их чудесность, в тайный простор, в силу человеческого духа, в его, если угодно, нравственный и эстетический героизм. То, что делает Мастер, и есть такой героизм — так же, как и то, что делает сам Булгаков. Вообще, романтизм есть вера в то, что человек есть художник, герой, некое как бы даже сверхчеловеческое существо, титан, гений. И каждый романтик верит, что этот титан — он сам. То есть это не просто "вера в человека", а гипертрофированная — пусть и индивидуалистическая — вера в себя.

И случайно ли Воландова компания так чудесно преображается в финале? Исчезает все это шутовство, и перед нами "демонические" романтические герои. Романтикам всегда свойственен некоторый "демонизм". Демонизм, по-видимому, связан, прежде всего, с презрением к обыденным нормам, со страстью "переступания" через все, с некоторой одержимостью... В роковых страстях героев романтических произведений... В презрении к массе — они высоко вознесли себя над толпой... Конечно же, в том, что подлинно романтическими героями оказались персонажи из этой компании, — ирония Булгакова. Романтическая ирония. Воланд — усталый романтик, который готов даже снисходительно глядеть на человеческие слабости. Но этот отрицатель, по-видимому, не лишен некоей скры-

той веры! Во всяком случае, он сам представитель того, что можно назвать над- и сверхчеловеческим, и верит в существование этого сверхчеловеческого. Не называть же его божественным. Не в названии суть, — а в том, что существует это царство вечного и героического, справедливого, истинного, идеального...

Как "другая реальность", — лишь изредка просвечивающая в нашей реальности. Разве что в таких людях, как Мастер или Иисус, она становится явной. И компания Воланда для того и явилась, чтобы реальность "про-светить", просквозить. Конечно, от этого "сквожения" возникает юмористический эффект, именно в нем — ирония. В сущности, что такое романтическая ирония? Это ощущение превосходства романтического взгляда, знание ущербности данной действительности. Ироническая позиция в некотором роде неуязвима.

Есть два способа взойти на некую недосягаемую, сверхчеловеческую высоту. Первый — так сказать, догматический, заключающийся в присоединении к некоей сверхчеловеческой истине. Таков путь Христа. Второй — абсолютность иронии, возникающая в отсутствии догматического абсолюта. Именно она свойственна "духу отрицанья и сомненья", пришедшему, разумеется, из гетевского "Фауста". Но заметим — здесь он ничего не отрицает (кроме, разве что, плоского рассудка Берлиоза) и никого не соблазняет. Скорее — вся команда прибыла сюда для того, чтобы пережить некое очередное приключение и поиграть с реальностью. В том-то и дело, что люди вокруг живут всерьез, а компания Воланда ведет игру — причем не имеющую плана, импровизационную... Поэтому может показаться, что роман вписывается в эстетику постмодернизма, ибо тут утверждает себя романтически-игровое начало, игра как самоцель. Однако же игровое отношение к миру есть отношение свободное. И пусть игры компании не совсем безобидны — никто не скажет, что они преступны, злы, бессовестны... Они веселые — и именно эту веселость больше всего ценит читатель. Это веселье играющего духа. Это позиция того, кто стоит над реальностью, кто не связан ею по рукам и ногам, кто не принимает ее абсолютно всерьез. Я не спрашиваю, — а есть ли что-то, что компания принимает абсолютно всерьез? Ибо из романа очевидно, что есть, — и это резко отличает компанию от сегодняшних постмодернистов. В конце романа как бы вырисовывается незыблемый порядок мира, в котором есть и милосердие, и покой, и торжество творца, и божественная справедливость. У меня есть отчетливое ощущение, что романтизм есть религиозное устремление духа, — и отчетливее всего это чувствуется именно в романтизме Серебряного века.

Романтизм символистов сменился эстетическим романтизмом Гумилева и вообще стремлением акмеистов к акмэ — к полноте жизненного и художественного воплощения, то есть к перенесению сферы романтических устремлений из заоблачных высей в саму жизнь. В этом смысле романтики и Мандельштам, и Ахматова — последняя стремится к осуществлению в самой жизни, в самих переживаниях романтической высоты любовного чувства, то есть делает то же, что и Цветаева, — нам мешает лишь разница темпераментов и стиля, но на самом деле Ахматова жаждет, как всякий истинный романтик, того, чего в жизни нет. То есть недостижимой в обыденности высоты и полноты любви. И парадокс в том, что несмотря не неосуществимость в реальности — любовь все же осуществляется в "душе", в переживании, в богатстве оттенков любовного чувства, в партитуре любви в лирике Ахматовой. У Мандельштама несколько другая задача — он стремится к полноте бытия, полноте чувства жизни, полноте переживания данной минуты, парадокс заключается в том, что его программа осуществляется в самую неблагоприятную минуту — в стихах воронежского цикла, в предсмертных стихах, с их предельно обостренным чувством жизни.

Дух весел и дух играет, ибо он причастен к "иному пространству" иной реальности, иной системе отсчета. Парадокс Эйнштейна, суть его теории относительности — в том, что некая малая система может быть относительно независимой от большой с ее "отсчетом", что в ней может по-иному течь время, в ней существует своя собственная система отсчета. Следует приложить это к человеку. И тогда окажется, что он может быть независим от этого времени и пространства, что в нем течет свое субъективное время, как бы стремящееся к пределу, к Абсолюту... На религиозном языке это формулируется как причастность человека к вечности... Однако же, несмотря на тысячелетия религии, этот религиозный опыт причастности к вечности и независимости от сиюминутной данности так и не стал достоянием массового сознания. Он и самим верующим был присущ весьма редко. Что есть религия в своих истоках, как не романтический бунт против очевидности, как не утверждение того, что не очевидно? В конце концов, конечное торжество добра, которое утверждает религия, равно как и бесконечная благость Бога, — есть вещи вовсе не очевидные, не говоря уже о посмертном существовании души. Не очевиден именно божественный порядок, божественный замысел — то есть, в конечном счете, "должное". Если бы должное было очевидно и настоятельно стояло перед каждым человеком как нечто принуждающее его, — не было бы никаких

проблем. На деле же всякий человек должен себя спрашивать: что же я должен делать?

Но тут мы вторгаемся в сферу этики — тоже чрезвычайно важную в романе. "Мастер и Маргарита" — светский роман. И его этика — светская. Никто тут не бьет себя в грудь, говоря, что он грешник, и что Бог его обязывает жить совсем не так. Иешуа — человек, и его поступки продиктованы изнутри него самого, так же, как и поступки Мастера. И тема любви — романтической любви, идеальной, когда любовники умирают вместе, когда любимая готова отдать жизнь за любимого, — не зря играет такую роль в романе. Что есть любовь, как не прорыв плотной ткани реальности, как не утверждение совсем иных начал, как не высочайший возможный для человека взлет духа, — и как глубоко личностный, абсолютно самостоятельный акт, выражение подлинной моей нравственной сути? Поэтому романтики и любят любовь — тут человеку никто не указ, даже господь Бог. Тут индивид, личность полностью выражается.

Любовь как этика. Но в сущности любви нет беспредельного доверия любимому, веры в любимого. Как Маргарита верит в Мастера и в его роман! Как Иешуа верит во всех людей, что они хороши в своей незримой сути! Но вера в тайную, нераскрытую суть — и есть любовь. Ты верь — и я стану таким.

Таким образом, роман, в котором такую роль играет компания Воланда, казалось бы, не призванная верить в добрую сущность человека, оказывается напрямую связан с темой веры и любви. С утверждением надмирной, суверенной, независимой от быстротекущей реальности шкалы ценностей, "мирового порядка". Команда Воланда занимается парадоксальной деятельностью — она отрицает текущее во имя утверждения вечного, обнаружения вечного трансисторического измерения. Но и Мастер, когда пишет роман, тоже прорывается в то же измерение. Не в Иешуа он верит как в Иисуса, а в нравственную, да и художественную истину — противостоящую текущим безобразиям. Правда, эта позиция требует и мужества, своего рода стоицизма, — а Мастеру этих качеств явно недостает, он слаб, его безобразия реальности побеждают и сводят с ума... Хотя в другом плане реальности он все же победитель, пусть и не абсолютный. Безобразие действительности существует всегда, а дело человека в том, чтобы не принимать видимость и поверхность жизни за истину. Как бы там ни было — веселая компания, которая проводит вечер иллюзий с их последующим разоблачением, так же точно разоблачает иллюзорность, вздорность, ненастоящесть этой реальности... Люди на полном се-

рьезе копят деньги — не зная, что скоро умрут, лгут, ненавидят, ссорятся, — и все это фарс, все это ерунда, во всей этой жизни нет основы... Как воздушный шарик, к которому подходит кто-нибудь из компании — и протыкает его. Весь роман есть разоблачение этой иллюзорной реальности, протыкание надутых шариков... Люди надувают эти шарики — и живут надутыми. Дон-Кихот сражался с ветряными мельницами, а здесь с фехтовальным изяществом тоненькой шпажкой протыкают шарики.

Март 1990

Баб-Эль — живописец счастья?

Размышления после всех юбилеев

Не так давно мы отмечали две круглые даты — столетие со дня смерти А.П. Чехова и 110-летие со дня рождения И.Э. Бабеля (один из псевдонимов которого был Баб-Эль). Но не сыграло ли время шутку? — ведь, кажется, не найти двух более непохожих писателей! Чехов с его тихим голосом, деликатно подбирающий эпитеты, избегающий слишком резкой красочности, — и Бабель, слово которого и яркое, и громкое! Это вообще примета южной (одесско-киевской) школы, в которой вместе оказываются Булгаков и Бабель, Олеша и Паустовский, — тут романтическая напряженность чувств, диктующая яркость красок, предельную освещенность, светоносность изображаемого. Не зря Бабель воспевает Одессу с ее солнцем. Революция и гражданская война как бы мотивировали эту красочность и некоторую патетичность стиля. Они привнесли и еще одно качество: произошло своего рода грандиозное "уплотнение жизни", которая теперь рисуется не в бытовом ее изводе и спокойном течении, а в критические моменты, в ее разломах, когда видна тектоника, структура материи... Человек превращается в атом, с которого словно бы содраны "электронные оболочки", — и этот атом не может существовать отдельно, он должен вступить в чрезвычайно активное взаимодействие с другими атомами... В переплетенье сцепившихся друг с другом тел, перепутанных рук и ног — трудно разглядеть отдельное, да к тому же не искаженное гримасой усилия лицо...

Кажется, что чеховское деликатное и глубочайшее внимание ко всякому человеку в его индивидуальности — невозможно. Тут не отдельный человек, тут массы! И все же я скажу, что нечто общее у Бабеля и Чехова — есть. И не только жанр короткого рассказа, в котором преимущественно

работали оба. Но и способность сопрягать противоречия, из которой вытекает некое коренное — достаточно удивительное — свойство. Та особенность художественного видения, которую можно бы назвать "двойным зрением", двойственностью освещения событий... Бабель, как и Чехов, — вызывал недоумение критики, которая, к тому же, была не в пример более агрессивной. Буденный, к примеру, считал, что Бабель оболгал и принизил красных конармейцев, а защищавший его Горький утверждал, что напротив, Бабель их воспел, вознес на недосягаемую высоту, как Гоголь своих казаков. Кто из них прав? А никто! Следует заметить, что Гоголь все же своих казаков идеализирует, помещает их в пространство легендарного прошлого, которое как бы задним числом должно оправдать все непомерные жестокости поведения на войне. У Бабеля нет ни исторической дистанции, ни намерения эти жестокости оправдывать, "творя легенду" из недавних событий, участником которых он был сам.

Поэтизирует ли он в "Конармии" реальность? Несомненно. Без лирической волны, как бы приподнимающей все изображаемое, — был бы бескрылый натурализм. Но он и не скрывает ничего низменного, ужасного, страшного, бесчеловечного, кровавого — ничего не скрывает, даже рискуя в этот же натурализм сорваться. У него нет склонности идеализировать, замазывать и затушевывать малоприятное, искусственно гармонизируя картину жизни. И то сказать: человек, стоящий у стола хирурга, не может не видеть кровь и гной, жуткие раны, искалеченные тела. А Бабель все же, что ни говори, как раз и был из числа тех, кто толпится в операционной. Едва ли не все знавшие его свидетельствовали о его "авантюризме" особого рода, стремлении увидеть жизнь в ее крайних, экстремальных, опасных проявлениях, присутствовать там, где в прежние времена присутствие писателя не предполагалось. Это давало ему бесценный опыт. Но и наполняло сознание материалом, который очень трудно было "переварить" и уложить в стройную картину. Под такого рода материалом — можно и надорваться... Да ведь и сама душа — чуткая человеческая душа художника, необычайно впечатлительная, не ставшая толстокожей, — болит и кровоточит. В результате эта самая "картина жизни" как бы составлена из кусков, не стыкующихся, противоречащих друг другу. Бабель озвучивает то, что называется "кричащими противоречиями", и вполне авангардно, как экспрессионисты в музыке, слышит в мелодии жизни мучительные диссонансы...

Он беспримерно трезвый реалист. Он кажется журналистом, фиксирующим реальные факты. Но из сопоставления дневниковых записей с рассказами "Конармии" видно, насколько жизнь переиначена, преобра-

жена творческим воображением писателя. В каком направлении идет преображение — это и есть главный вопрос, от ответа на который зависит наше понимание Бабеля.

Бабель, разумеется, хоть в какой-то степени верит, что участвует в истории, что все происходящее — не абсолютная бессмыслица, не кровавый абсурд. Ежели это так, то он — летописец, свидетель, и должен ничего не упустить и ни в чем не солгать. Писателю — да и просто человеку, ввергнутому в эту мясорубку истории, — необходимы некие сверхличные ценности. И притом — не идеологические, вроде "коммунистического будущего", а обнаруживаемые здесь и сейчас. То, что называют ценностями или идеалами, можно уподобить перилам лестницы. В революцию и войну не очень ясно, поднимается ли человек по этой лестнице вверх, к небу, или опускается вниз, давая волю самому низменному в себе. Но без перил он и вовсе рискует рухнуть в бездну. Между тем прежняя вера в Бога в данном случае уже не может быть такой опорой. Логично было бы, если бы Бабель не только стал К. Лютовым (каков псевдоним, как отражена в нем лютость эпохи!), — но и вжился бы предельно в комиссарскую роль, произнося к месту и не к месту идеологические лозунги. Но Бабель не сделал этого. Он ищет опытным путем другой "символ веры".

Как известно, нерелигиозный символ веры российского писателя-интеллигента выражал себя в понятии гуманизма. Гуманизм этот во многом опирался на христианство с его императивом сострадания. И война, и революция — есть предельно очевидный кризис прежнего гуманизма. Многие откровенно говорили о том, что с гуманизмом покончено, что не нужно быть "добренькими", что революция требует безжалостности, ибо она человека перековывает (какой опять-таки выразительный термин! — так и видишь, как по человеку бьют кувалдой, выбраковывая тех, кто в процессе перековки превратился в мокрое место). И вот, читая Бабеля, вдруг постигаешь его вариант гуманизма. Какой-то, на первый взгляд, неожиданный. Ведь что ни говори, но согласно гуманистической традиции, человек является беспредельной ценностью, потому что у него есть душа. И у какого-нибудь Акакия Акакиевича она есть, и потому он может сказать: и я — человек! Заостряя сказанное и рискуя вызвать полемику, скажу: у Бабеля о душе — ни слова! Даже если само слово "душа" и можно обнаружить. О чем же говорит Бабель, что он боготворит, возвеличивает, утверждает? Тело, плоть человеческую, ту самую, что в христианстве последовательно принижают (кстати сказать, в иудаизме этого нет), "грешную плоть". Человеческое тело как таковое, как чудо физиологии и биоло-

гии — есть, прежде всего, явление жизни. Жизни, которая всегда под угрозой, жизни, которая убывает, которую убивают. Жизни, которая не от ума, и не может быть целиком понята при посредстве рассудочных схем, жизни, которая не укладывается ни в какую идеологию, — любые идеологии распластывают ее на своем прокрустовом ложе, обрубая "лишнее".

Бывают ситуации, когда жизнь бунтует, когда она оказывается иррациональной стихией, сметающей на своем пути все разумные доводы. Это моменты своего рода "безумия", одержимости, — находится ли человек под влиянием винных паров или во хмелю революции. Вот это иррациональное тело — вместилище жизни, неразумное, но и прекрасное в своей переполненности "жизненными соками", силой и страстью, — воспевается Бабелем. Честно говоря, особой душевной жизни в персонажах "Одесских рассказов" и тем паче "Конармии" искать не приходится. Часто не только души, но и ума — самый минимум. Зато тело — жрет, пьет, орет, свистит, как небезызвестная "Манька, родоначальница слободских бандитов", топает ногами и машет руками, как Савка Буцис в рассказе "Как это делалось в Одессе", и убивает — нечаянно, без всякого умысла. В "Конармии" эта импульсивность интенсивнейшим образом живущего тела, эта случайность смертей, для объяснения которых всякого рода идеологические мотивы кажутся достаточно внешними, — даны еще более выпукло. Вот оно, тело крупным планом: "И вдруг на распростершейся земле, на развороченной и желтой наготе полей мы увидали ее одну — узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе", "и она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке", "длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты"... Как вам эта "грудь на высоких башмаках" или "ноги, похожие на девушек"? Как неожиданно — и как выразительно, я бы даже сказал — как весело! А вот другое: "Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени и удары сердца были видны". Страшно себе представить тело, так искалеченное, разорванное... Но Бабель пишет цветущую и играющую, страдающую и умирающую человеческую плоть так, что и впрямь — удары сердца видны. И это сердце самого автора.

Но вместе с тем воспевается и живая телесность всего, что есть на земле: "Земля треснула от тепла. Надо мной солнце. Подле меня коровы, не красноармейские, настоящие. Я счастлив, брожу, словно соглядатай, втыкаю сапоги в рассыпавшуюся землю". В прозу Бабеля нужно всмотреться — и вслушаться. Известно, что он в русской литературе — скорее

француз, для которого внятен урок Флобера: мало кто так понимал сам ритм фразы, порядок слов, их эмоциональную заряженность, музыку речи. Тщательность работы так важна именно потому, что в результате возникает некий стройный хор, в котором все голоса согласованы, создавая гармонию. Чем дисгармоничней описываемый мир — тем важнее эта гармония. Я говорил, что важно понять, в какую сторону направлено преобразование реального жизненного события у Бабеля. Гениальный Л.С. Выготский в книге "Психология искусства" говорил о том, что есть реальное событие — и есть то, как об этом событии рассказывается. Своего рода "ток и противоток". Благодаря этому "противотоку", искусству рассказывания, эффекту художественности — как бы снимается, преодолевается сила воздействия "сырого факта" действительности. Именно это и делает Бабель — он ранен реальностью, но преодолевает боль. Древние называли это катарсисом. Это и есть чудо искусства. Если оно есть, — можно, не опасаясь впасть в "местный патриотизм" (который, по правде говоря, у одесситов несколько преувеличен), отмечать и стодесятилетие со дня рождения писателя.

Вот под занавес статьи — образчик такого чуда. "История моей голубятни", рассказ о детстве (Бабель до конца дней писал книгу о детстве, которую называл в письмах "заветным трудом"). Еврейский погром. "Он ударил меня наотмашь ладонью, сжимающей птицу. ...Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. ...Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен". И буквально через несколько строк — неуловимое изменение мелодии, почти те же звуки, но в иной тональности: "Земля пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, шел в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь". Надеюсь, вы обратили внимание на это неожиданное здесь слово: счастливо? Очевидец трагедий и трагический писатель — он, как и Шагал, живописец счастья?

2004

Валентин МАКСИМЕНКО

Память сердца: С.Я. Лемешев и Одесса

Это не оригинально, но, несомненно, так: Сергей Яковлевич — гордость музыкальной культуры. Его слава воистину всемирна, хотя певец практически не выезжал за рубеж: "железный занавес" надежно "охранял" национальное достояние... Любовь к Лемешеву в большой стране была беспримерной — трудно назвать более популярного оперного и камерного исполнителя в тридцатые-семидесятые годы. Его, крестьянского сына из деревни Князево, преданно любили рафинированные (и не только) интеллигенты, рабочие и крестьяне. Женщины и мужчины. Молодые и старые. Он был кумиром в самом высоком смысле этого слова.

Сергей Яковлевич Лемешев гастролировал на одесской сцене в тридцатые годы, будучи солистом Большого театра и одним из самых популярных вокалистов страны. Слава замечательного певца, выдающегося артиста и обаятельнейшего человека была вполне заслуженной: его гастроли на одесской сцене (как и на любых других) проходили с редким успехом. Одесские спектакли не стали проходными для Сергея Яковлевича. Многие десятилетия спустя в книге "Путь к искусству", отмеченной скромностью, отразившейся даже в названии книги, С.Я. Лемешев писал:

"С особенным удовольствием вспоминаю выступление в партии Рудольфа в 1937 году на одесской сцене с превосходным дирижером С. Столерманом. После встречи с ним я понял, что если бы он вел "Богему" в Большом театре, то у меня не сложилось бы неверного представления о грузности пуччиниевского оркестра. Он дирижировал так вдохновенно и музыкально, что я увлекался и забывал о трудностях партии. Столерману я тоже понравился. Когда кто-то ему сказал:

— Маэстро, как вы сегодня легко и мягко дирижировали, — он ответил:

— Я дирижирую так, как поет наш гастролер.

Его слова для меня были высшей похвалой: потому я их помню до сих пор. Очень хороша была одесская Мими — Родомская, молодая талантливая певица с теплым, проникновенным голосом, словно созданным для этой роли. Понравился мне и молодой тогда К. Лаптев в партии Марселя, в которую он вкладывал много юношеской пылкости".

Встреча с одесскими музыкантами стала "памятью сердца" Лемешева. Это, конечно, очень приятно. Но буду объективным и, как ни лестны оценки музыкальной части спектаклей одесского театра тридцатых годов, продолжу цитировать Сергея Яковлевича:

"Настолько творчески была приятна встреча с дирижером и партнерами, настолько раздражала меня одесская постановка "Богемы"... Режиссер так ухитрился загромоздить сцену, что буквально на каждом шагу перед исполнителями возникали препятствия; как нарочно, наиболее нелепые положения совпадали с самыми трудными вокальными моментами.

Придуманные режиссером движения были лишние, они только засоряли действие и мешали плавности движения... Примерно то же самое повторилось в "Риголетто", поставленном тем же режиссером. Почти все действие развивалось на лестницах, которые, к тому же, отчаянно скрипели... Подобный постановочный стиль тогда насаждался довольно широко" (впрочем, он не изжит и сегодня).

Но скрип лестниц, к счастью, не очень мешал наслаждаться искусством Лемешева. Публика щедро принимала столичного гостя. И родилась идея сольного концерта. Не было свободного от спектаклей вечера — Сергей Яковлевич дает... ночной концерт, который начался после окончания спектакля. Не сумел приехать аккомпаниатор Лемешева из Москвы, — гастролера выручил одесский пианист Лазарь Яковлевич Саксонский, отлично справившийся с фортепианной партией.

Пройдут два десятилетия, прежде чем голос Лемешева снова прозвучит в зале одесского оперного театра. Осенью 1957 года Сергей Яковлевич знакомил одесситов со своими выдающимися созданиями — Ленским и Альфредом. Певцу было в это время 55 лет, то есть практически он находился в возрасте... дедушки своих юных героев.

Певец и возраст. Это стало общим местом — пенять на несоответствие возраста исполнителя и персонажа. Сколько пародий, карикатур на старых Ромео и Джульетту, Маргариту и Фауста... Я не случайно называю героев, партии которых написаны для тенора и сопрано. Время особенно жестоко именно к ним, призванным по воле авторов воспевать юность и любовь, чувства трепетные, свежие.

Дебюты Аделины Патти и Марии Каллас в 15-16-летнем возрасте — редчайшее исключение из правил. Обычно певец впервые появляется на сцене почти на десятилетие позднее. Сколько же времени ему остается для Ромео и Ленского?

И все-таки пусть редко, но встречаются артисты, как бы наделенные даром вечной молодости: те, кого долго щадит время. И среди них — С.Я. Лемешев. Он имел право выйти на сцену в роли Ленского и в 55 лет, как было в Одессе, и даже в 70 на прощальном спектакле в Большом театре, — миллионы телезрителей видели тот памятный спектакль. (Отдаю се-

бе полный отчет в том, что не слышавшие и не видевшие Лемешева едва ли могут поверить моим утверждениям, даже при самом благожелательном отношении к певцу и автору.)



Лемешевский герой всегда был юн и непосредствен, он излучал радость, поражая чистотой чувств, проникновенным пением, идеальным соответствием замыслу Пушкина и Чайковского.

"Так уж получилось, что в одесском "Онегине" был, в основном, занят молодежный состав труппы, — вспоминает исполнительница партии Татьяны Галина Поливанова, — Сергей Яковлевич отнесся к нам, участникам спектакля, тепло и доброжелательно. Мы забыли сразу же, что перед нами прославленный певец. Лемешев тщательно проводил спевку: пел в полный голос, опустив лишь арию в сцене дуэли, увлеченно показывал свои мизансцены. Он очаровал нас и как человек, и как артист, и как певец. Мне было обидно, что моя героиня практически не общается с Ленским! В сцене бала мы, четверка основных исполнителей, стоим у кулис, готовимся к выходу. И среди нас самый юный — Лемешев, взволнованный, с сияющими глазами. Я не удержалась и сказала: "Сергей Яковлевич, мне кажется, что рядом не вы, а сам Ленский, и даже страшно прикоснуться к вам — боюсь, что исчезнете, как во сне". Лемешев озорно улыбнулся. Каждому из нас сказал что-то доброе, сердечное. Особенно мы завидовали К. Тихоновой — Ольге, которая волею Пушкина и Чайковского много общалась с Лемешевым-Ленским".

"Я с радостью и волнением вспоминаю лемешевские спектакли, — рассказывала позднее Клавдия Тихонова, — навсегда запомнится мне и общение с этим удивительно красивым человеком. Я познакомилась с ним в Киеве, где пела Кармен накануне его последнего гастрольного спектакля "Евгений Онегин". Конечно, была на лемешевском спектакле, а на следующий день мы вместе летели в Одессу. Мне повезло: была нелетная погода, рейс откладывали, и я с большим удовольствием общалась с Сергеем Яковлевичем. Он рассказывал о детстве, о матери, о жизни и своей работе. Потом, в Одессе, я знакомила певца с городом. Лемешеву понравилась Одесса, театральная публика, сам театр.

На первой спевке "Онегина" он был приятно удивлен, когда увидел, что я точно помню его мизансцены — по единственному киевскому спектаклю. По просьбе С. Я. (и к моей большой радости) мы пели вместе все спектакли "Онегина". Бережно храню его фотографию с теплой дарственной надписью".

К слову, в моем архиве хранится автограф Сергея Яковлевича, данный А. Богославскому (Богуславскому?): "С чувством особой радости Вам, милый Александр Иосифович, оставляю эту фотографию (в роли Ленского. — **В. М.**), так как слышал Ваш лестный отзыв о моем Ленском. Мнение такого пушкиноведа, каким являетесь Вы, для меня очень ценно. С. Лемешев 4 июня 1937 г.".

Но перенесемся на два десятилетия вперед.

Перед первым выходом (27 сентября 1957 года) на одесскую сцену Сергей Яковлевич заметно волновался, почти два десятилетия отделяли его от предыдущего спектакля в Одессе. Когда он появился на сцене, в зале разразилась овация. Певец был обрадован, и это помогло ему справиться с волнением. Но овация все длилась и длилась; чтобы продолжить спектакль, он наклонил голову в знак благодарности...

Овациями сопровождались все пять спектаклей с участием Лемешева: трижды он спел Ленского, дважды — Альфреда (передать восторженный прием одесситами лемешевских спектаклей я, признаюсь честно, бессилен).

Лемешевский Ленский... Пожалуй, после Собинова оперная сцена не знала более совершенного воплощения этого героя. Сергей Яковлевич преклонялся перед созданием Леонида Витальевича: в юности, зажатый среди студентов консерватории на знаменитой галерке Большого театра, он как завороженный слушал собиновские спектакли.

"В этом, быть может, самом чистом и юном образе мировой оперной драматургии Чайковский с огромной силой воплотил жажду жизни, любви, бытия... Это бессмертный образ, идеал вечной юности, красоты и целомудрия, который не умрет, пока существует человечество.

Таким предстал передо мной Собинов-Ленский, таким он остался навсегда в моей памяти", — писал С.Я. Лемешев позднее. Таким остался в нашей памяти Ленский Лемешева, который, однако, не копировал своего великого предшественника, сознавая бесплодность подражания в искусстве.

Ленский Лемешева рождался в общении с К.С. Станиславским, в его знаменитой оперной студии. Станиславский стремился вызывать к жизни сложные, емкие образы. Анализируя с Лемешевым поэтического Ленского, он советовал певцу подчеркнуть детскую важность, даже мальчишест-

во юного поэта. И действительно, в первой картине Лемешев-Ленский выходил на сцену подчеркнуто крупными шагами, он даже чуть-чуть напыщен, исполнен сознания важности момента: ведь сейчас Онегин увидит его Ольгу! Мальчишество Ленского-Лемешева проявлялось и в сцене ссоры. Как писал Сергей Яковлевич, самой причиной ее "явились слишком пылкое воображение и житейская неопытность, преувеличенное самолюбие, мальчишеский задор, который заставлял Ленского ответить "нет" на мелькнувшую мысль: "Не разойтись ли полюбовно?". Эта овеянная тонкой и поэтической лирикой детскость образа Ленского легла в основу моего понимания роли".

Кроме трех Ленских Сергей Яковлевич дважды спел в нашем театре Альфреда в "Травиате", пленяя красотой тембра, редкой теплотой своего небольшого, но неповторимо прекрасного голоса, уникальной музыкальностью, органичностью сценического существования. Он не играл, он жил чувствами своих героев.

В Большом театре его Виолеттой была Галина Олейниченко, дебютировавшая на одесской сцене и, кстати, получившая первые золотые медали всесоюзного и международного конкурсов, первый гран-при среди воспитанников одесской вокальной школы. Она боготворила своего дарованного судьбой партнера. И не случайно ее голос звучал позднее на панихиде по Тенору...

...Наш театр торжественным представлением отметил 95-летие со дня рождения Лемешева. "Фанаты" разыскали в зале Клавдию Петровну Тихонову и подарили ей — партнерше великого певца — букеты цветов в память о светлых минутах, прожитых на Его спектаклях.

Храню память сердца — мне посчастливилось слушать Сергея Яковлевича не только в Одессе, но и в спектакле "Евгений Онегин" Большого театра, и в концерте в Большом зале Московской консерватории, где он пел арии и дуэты из опер. Его партнершей была последняя супруга Вера Кудрявцева. Дирижировал выдающийся маэстро Самуил Самосуд.

Какое это счастье, что БЫЛО такое в моей жизни.

Вера ЗУБАРЕВА

Единственность
Памяти Беллы Ахмадулиной

* * *

Нет, я ценю единственность предмета,
вы знаете, о чем веду я речь.

* * *

Но этих мест владычицы морской
на этот раз не назову я имя.

Белла Ахмадулина

29-е ноября. Она только что была. А через миг передали, что ее уже нет. Когда же передадут, что она будет?

Собственно, и так ясно, что она будет, как ясно и то, что она есть, вопреки новостям о ее уходе. Присутствие ее возрастает от часа к часу, судя по интернетовскому трафику, направленному к ней. "Она есть и будет", — так должны были бы передать эту новость. Но не передали. И это стало подтекстом.

Сегодня третье декабря. Новость перестала быть новостью, и ее заменил подтекст. Теперь уже навечно.

Ее жизнь прошла под знаком Единственности, которая сманила меня в свою запретную зону много лет назад, уводя прочь из государства "Мы". Совершать побеги было просто: шла в Горьковку, заказывала томик ее стихов, открывала калитку и попадала в Сад.

"Брат-комната, где я была — не спрашивай"... (Б. А.).

Там-то все сразу и становилось на свои места. Знание о том, что у каждого уникальные отпечатки пальцев, переходило в осознание уникальности всего сущего. "Каждый в этом мире уникален", — нашептывал мне Сад свои крамольные мысли. "В природе не существует коллективного отпечатка, в природе существует Единственность. Она и есть источник многообразия. Единственность, а не унификация, запомни!". Ее Сад был запретным именно в силу его противопоставленности королевству Мы-чащих.

Единственность, которую она воспевала прямо и косвенно ("Нет, я люблю единственность предмета. / Вы знаете, о чем веду я речь", — Б. А.)

представляла угрозу миру, базирующемуся на коллективистских ценностях. Тем не менее, провозглашение Единственности в ее поэзии было сделано не с идеологических, а философских позиций. Именно поэтому ее вызов и был невнятен большинству, воспитанному на доступной идеологии. Для обычного читателя философская глубина ее мира осталось скрытой, а "непонятная" образность воспринималась зачастую вычурностью.

На самом же деле философия Единственности как признака Божественного была выражена не вычурным, а возвышенным, то есть адекватным ей стилем и слогом. Бог сотворяет все в одном экземпляре, от мушки до галактики, в отличие от бездушного механизма, который штампует свою продукцию. И день, который явлен Единственностью, это "Божий День". Как его Творец, он "всезнающ и всевидящ" ("И Божий День — всезнающ и всевидящ", — Б. А.). Дата как уникальное имя дня выносится в заглавие стихотворения: "День: 12 марта 1981 года". Она явно следует называнию дней в Сотворении: день первый, день второй. У нее — день двенадцатый. Только к этому еще добавляется месяц и год, словно после восьмого дня дальнейший счет дням берет на себя поэт, сотворенный по образу и подобию Божию. И таких стихотворений, где дата становится частью текста, немало. Наряду с другими метафорами, дата становится еще одним признаком Единственности. Каждый миг и объект, и существо неповторимы в Божьем мире, где "Рознь луне луна / И вечность дважды не встречалась с ней же".

Это была не просто особая поэзия, но поэзия, стоящая особняком, прежде всего, в силу отсутствия видимых связей с обыденной жизнью и ее насущными вопросами. В таком же положении была и религия, которая тоже трактовалась как оторванная от насущных проблем. Да, насущности в вопросах, поднимаемых Ахмадулиной, было мало. Это была поэзия мирозданческого толка, где бытийное преобладало над событийным. Ей никогда не были присущи ни остросюжетность политический веяний, ни прокламации любого рода, как про, так и контра.

Образы и метафоры ее поэзии базировались на безусловной системе ценностей, которую она тщательно выстраивала, следуя основным принципам безусловности (термин Арона Каценелинбойгена), заданным еще в десяти заповедях. Именно там запреты на убийство, воровство и т. п. были даны как независимые от конкретных условий. Условия могут быть разными, и они могут и оправдывать подобные действия, в случае, когда речь идет о выживании. Условные ценности понять легко, а безусловные —

сложно. Вместе с Библией было отобрано и обучение безусловным ценностям, и успешно осуществлена их подмена условными: убить врага народа или украсть у богатого считалось похвальным.

У Ахмадулиной же красота, добро и зло были представлены именно с позиций библейской безусловности. Все это поднимало ее поэзию на уровень мирозданческий. Ее образы несли в себе не только приметы времени, но и вневременную размерность, уходя корнями в библейское правремя. Так, ее елабуга, которую она пишет с маленькой буквы, из конкретного места трагической гибели Цветаевой перерастает в символ мирового зла, обретая черты зловещей парки ("ужо придет елабуга слепая"), змеи, мирового чудовища, которое посягает на жизнь Сада.

Она пишет о насущном, но с других позиций.

Игорь Шайтанов различает сонет и ренессансную новеллу по типу высокого и обыденного жанра, подчеркивая, что сонет — жанр высокой поэзии, "а ренессансная новелла — жанр, погруженный в жизненную прозу, имеющий дело с сиюминутным". И далее он пишет, что "даже когда новелла повествует о любви, что она делает нередко, то различие с сонетом не исчезает, а проступает еще отчетливее. Если сонет вдохновлен философией Платона, учением об Аморе, если он наследует куртуазной традиции Средневековья, то у новеллы иные, гораздо более бытовые корни, и в ее трактовке любовь запомнилась, прежде всего, не в своем идеальном, а в своем телесном проявлении".

По аналогии, я бы сказала, что поэзия Ахмадулиной представляла мир современный в его высоком, небытовом, идеальном проявлении. Именно в этом и заключается различие между ее поэзией и поэзией другого типа, произрастающей из бытовых, социальных или идеологических корней, где метафора служит связкой с миром "телесным", конкретным и "насущным". Не то что бы мир конкретный был неважен или неинтересен ей, но лишенный купола мирозданческой безусловности, он терял свою высшую значимость, а заодно и смысл.

Ахмадулина обогатила поэзию не только новым голосом, но и новой миссией. Это был поэт ренессанса в смысле возрождения безусловных ценностей. Пока писалась "Братская ГЭС", она создавала свой Сад, ставший ключевым образом ее поэзии. Следы его можно отыскать почти во всех ее стихах. Сад — и творец Поэта, и его творение. Пушкин, Цветаева, Пастернак не только обитатели Сада, но и его возделыватели. Сад — вечен. Поэт — "на миг", но он продолжен в Саде как месте вечной жизни Слова.

Все эти мысли, хоть и в других терминах, роились во мне, пока я читала ее сборники и обдумывала свой собственный путь. Поэзия для меня всегда пролегала в зоне вечных вопросов, а не сиюминутных ответов. Именно это и заворожило меня в поэзии Ахмадулиной, которая ощущала мир на той же волне. К тому времени я уже отказалась от возможности издания своего первого сборника стихов в Одессе, поскольку для утверждения рукописи к печати требовалось дописать стихи, которые противоречили моему представлению о миссии поэта. После обсуждения будущего сборника я пришла домой и написала:

Кто может взять вот эту руку
И возвестить: "Она — моя!"?
Лишь тот, кто циферблатным кругом
Сомкнул границы бытия.
Лишь он, тревожа снова, снова,
Событиям и мыслям в такт
Твердит усердно: "Все для Слова.
Вот так. Вот так. Вот так. Вот так".

Вопрос о книге закрылся. Какое-то время я писала в стол, но была окружена поддержкой родных, друзей и старших собратьев по перу. Среди них был и редактор "Вечерней Одессы" журналист Евгений Голубовский, и украинский поэт и переводчик Анатолий Глущак, и поэт Игорь Неверов, и секретарь одесского Союза писателей Иван Рядченко, который и поднял вопрос о книге, но был скован известными требованиями времени... Кроме того, большой духовной поддержкой были мои общения с профессором по русскому символизму Степаном Петровичем Ильёвым, к сожалению, безвременно ушедшим. Любя мои стихи, он все же толкал меня в сторону литературоведения, опасаясь, что поэзия вытеснит мои литературоведческие исследования.

Работая над поэтикой чеховских пьес и в тайне мечтая о встрече с Ахмадулиной, я написала цикл стихотворений "Стихи о Саде и Садовнике", а также поэму "Лунный путь", в которых я решала для себя вопросы единственности, миссии поэта и собственного пути. В один из таких дней-раздумий я решилась позвонить ей. За неимением никого другого, за помощью пришлось прибегнуть к междугороднему телефонному справочнику, который услужливо снабдил меня ее номером телефона. Я позвонила ей, как говорят, "с улицы". Но на самом деле — из Сада, и она это сразу поняла, потому что у нас не было общих знакомых. Это и было знаком Единственности, паролем, по которому гость Сада мог встретиться с его Хозяйкой.

— Верочка, приезжайте! — неожиданно пригласила меня она. Пригласила, еще не читая стихов и не зная обо мне ничего, что вне интереса Сада.

К ней можно было только по небу. Ну что ж... Кучевые кроны остались внизу вместе с Черным морем. Мы летели, летели, летели... Я летела с первой минуты ее приглашения, а Вадим присоединился ко мне уже в самолете.

Через три (о, магия числа!) дня я стояла на пороге мастерской Бориса Мессерера, той самой, на Поварской, двадцать...

Это было теплей и искренней, чем я себе представляла.

...За окном — ливень, капли медленно скатываются по лбу и щекам. Почти как в ее "Сказке о дожде", и на ум сразу приходит: "Дождь, как крыло, прирос к моей спине". Это же приходит и ей на ум — ясно без слов. Она улыбается и приглашает меня в комнату. Там — стол длинный с креслами, и все разные.

— Присаживайтесь, — указывает она на кресла с какой-то озорной улыбкой.

"Наверное, я нелепо выгляжу", — думаю, хватаясь за приглянувшееся кресло, чтобы поскорее с ним слиться. Всё в дожде. Она по-прежнему улыбается, ставит чайник на плиту, чтобы согреть дождь. У меня в руках цветы из Сада (Господи, совсем забыла!). Она берет цветы, ставит в вазу, и мы говорим о Саде, о цветах, о Цветаевой... Она приносит мне засушенный лепесток розы — "это с цветаевского места"... Мы понимаем друг друга. Лепесток — из того уголка Сада, в который я еще не заходила.

Я читаю ей "Лунный путь", "Стихи о Саде и Садовнике", и она догадывается, в какой части Сада они были написаны. Она догадывается обо всем, будто даже не догадывается, а знает. Когда я заканчиваю чтение, она пристально смотрит на меня и говорит:

— Это удивительно, но вы ни на кого не похожи.

Потом она достает с полки "День поэзии — 1984", извиняясь, что у нее нет сборника стихотворений, подписывает его — Милая Верочка, примите мою любовь и дружбу — вкладывает лепесток между страницами и протягивает мне.

Дождь прекращается. Мне пора. Сегодня у нее поэтический вечер в музее Маяковского, а день был щедро отдан мне. Пора и честь знать. Я поднимаюсь с кресла.

— Верочка, а я следила за вами, какое из кресел вы выберете, — с той же загадочной улыбкой говорит она.

Я молчу, выжидая.

— Кресло — Бориса Пастернака, — оповещает она все с той же озорной улыбкой. — Это очень хорошая примета, я загадала...

У нее счастливое лицо. Я немею. Что тут можно сказать? Хорошо, что она оповестила меня об этом после. Сидеть в кресле Бориса Пастернака перед Беллой Ахмадулиной — не слишком ли много для первого дня?

Нужно сказать, что ее замечание о счастливой примете имело прямой смысл: наша встреча состоялась 13 июля — казалось бы, несчастливое число, но перекрыто оно было счастливой приметой. Для меня же эта дата имела и еще один — скрытый — смысл: 13-е в нашей семье связано с моим отцом. 13-го ноября, накануне его совершеннолетия, фашисты разбомбили корабль, на котором он служил, и в живых осталось только два человека. Он был одним из счастливцев. Все последующие важные вехи его жизни также выпадали на 13-е. "Это все Сад, это Он связывает судьбы и звезды скрытыми символами, образующими корневые системы, из которых произрастают его деревья", — думается мне.

Вечером мы встречаемся у музея Маяковского. Билетов нет, мы с Вадимом стоим у дверей, как она и велела. Она появляется, окруженная сатурновыми кольцами поклонников, и направляется сразу к нам.

— У вас замечательный муж, — шепчет она мне на ухо. В роящемся зуде голосов ее шепот звучит как-то особенно веско. — Он редкий, — продолжает она. — Верочка, берегите его, не расставайтесь, будьте всегда вместе!

Рядом с ней — Борис Мессерер, ее замечательный и редкий муж. Это уже то, что я моментально отмечаю, взглянув на него, но в отличие от нее, ничего не говорю. Да этого и не нужно. Она читает мои мысли и согласно кивает: все, мол, так.

Потом она усаживает нас в первом ряду, который держат "для своих", и наступает Сад...

Время пролетело, но каждая минута запечатлелась в своей бездонной значимости. Она рассказывала о посещении Елабуги, о Бродском, о своем предсказании, что он непременно получит Нобелевскую, о Пастернаке, а также обо всем внутреннем, значимом и непересказуемом, как ее поэзия.

Ни о чем я ее не просила, ничего, связанного с моими планами, мы не обсуждали, а когда я позвонила, чтобы попрощаться, она вдруг попросила зайти к ней снова, чтобы взять... предисловие к моей будущей книге стихов, речь о которой даже и не шла.

Она встретила меня на пороге, улыбающаяся, и протянула мне листок с предисловием.



Слева направо: Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, Вера Зубарева

— Я тут все о себе да о себе, — говорит, поглядывая на меня с тем же озорством, что тогда, когда она наблюдала за мной, выбирающей кресло.

Беру листок из ее рук, читаю... Да, действительно все начинается с нее.

"Я не скучаю о своей молодости и радуюсь молодости других — мне не хотелось бы провиниться перед ними. Время, когда начиналась моя литературная жизнь, обнаруживало и поощряло новые имена и предавало их быстрой и шумной огласке. Кроме общих обстоятельств времени мне сопутствовала пылкая доброжелательность старших маститых коллег. Энергия этой безукоризненной благосклонности и хранила, и опекала меня, как бы для своей надобности добывая мои первые успехи. Лишь много позже я поняла, что видимая поблажка судьбы на самом деле была важным и суровым испытанием. Меня любили липы Тверского бульвара, многие люди взяли на себя труд сочувствия и соучастия, но некая строгая неусыпная звезда следила за мною с тревогой и уже сожалением — хорошо, что я успела заметить и понять этот заботливый укоряющий взор".

Она испытующе смотрит на меня, пока я медленно читаю начало. Понимаю почти сразу — это ее заповедь мне. Все начинается с заповеди. Без заповеди не двинуться в правильном направлении. Она делится со мной опытом, от которого как бы предостерегает меня в самом начале.

Читаю дальше. "Тех, кто щедро и расточительно помогал мне, да и всем, кто попадался на добрые их глаза, — давно нет на свете. Сумею ли я посмотреть их любовным и охраняющим взглядом на тех, кто молод, на Веру Зубареву, например?"

Останавливаюсь на этом вопросе. Почему она сомневается в том, что несомненно? Если пишет все это, значит, может посмотреть на молодых "любовным и охраняющим взглядом". Вспоминается вдруг история с Ахматовой, как царица русской поэзии так и не удостоила встречи восходя-

щую звезду. Наверное, вопрос оттуда, из того времени, когда она, размышляя над этим, задавала его себе и, возможно, уже тогда и ответила на него. Но я-то ведь никакая не звезда, у меня даже и публикаций почти не было! Продолжаю чтение.

"Сначала я увидела ее стихи, воображение соотнесло их с морем и побережьем, с бликами, с хрупким чередованием блеска и тени. Прихотливый, независимый и несомненно ранимый мир открылся мне, явилась мысль о возможном обидчике воздуха и моря".

Мысль об "обидчике" удивила меня поначалу, но будущее подтвердило правоту ее опасений, хотя наряду с "обидчиком" всегда был и "защитник", и самым первым защитником была она, написавшая мне эту Охранную Грамоту. Как я узнала уже позже, она была защитницей по природе своей и самоотверженно защищала всех, включая и животных. На вечере ее памяти, который мы провели в Нью-Йорке на ее сороковины, Азарий Мессерер вспоминал, как она взяла на себя вину их собаки, чтобы той не попало от хозяев. Ее защитничество было безусловной характеристикой и распространялось оно на всех, кто нуждался в защите.

"И сама милая Вера очень понравилась мне! — пишет она дальше. — Я верю, что она слышит голос своей звезды, предвещающей удачу, но оберегающей от суеты, вздора, поспешности. Ее стихи — изъявление ясной и суверенной души, грациозно существующей в осознанном пространстве".

Голос звезды, оберегающей от суеты, вздора, поспешности... Одно из моих стихотворений цикла "Стихи о Саде и Садовнике" заканчивалось именно этой мыслью: "И прочь пойду во мглу, безвестность и скитанье, / Благословенна той, натруженной, рукой". Стихи писались задолго не только до встречи, но и звонка, и в них обдумывалась линия суеты и творческого уединения, и вопрос был решен в пользу последнего. А еще меня поразило в этих строках, что она словно прочитала напутствие, которое отец написал мне на моей первой тетради стихов. Оно заканчивалось следующими строчками: "Услышь, чего никто не слышит". "Она слышит голос своей звезды", — будто отвечая моему отцу, пишет она. Нет, это не обо мне тогдашней, и не обо мне сегодняшней. Это обо мне вне времени и пространства. Это о том, как я должна идти свой путь, не предавая голоса своей звезды. "Не дай мне Бог бесстыдства пред листом / бумаги, беззащитной предо мною..." (Б. А.).

Что же касается "осознанного пространства", о котором она писала, то именно одушевленное пространство, созданное по Слову и проникну-

тое своим Создателем, и было главным предметом моей поэзии. О чем бы я ни писала, моей первостепенной задачей является соткать одушевленное, мыслящее пространство, в котором невидимо присутствует Творец. Высший разум, и придает смысл пространству, если под смыслом понимать "со-мыслие", то есть интеграцию всевозможных мыслей в Высшем Разуме. Смысл жизни органично вытекает для меня из присутствия Творца, а бессмысленным является только пространство, в котором Создатель отсутствует.

Напутствие заканчивалось ее мечтой о выходе в свет моей книги.

"Я мечтаю и надеюсь, что у Веры Зубаревой выйдет книга. Чудесно, что это будет в Одессе! Само имя города кажется мне неопровержимо счастливой приметой".

Я держу драгоценный листок, в котором очерчен весь мой путь — от заповеди до благословения.

— Теперь я должна все это оправдать, — отвечаю на ее немой вопрос о том, что я думаю по поводу предисловия.

Она обнимает меня на прощание, и я уношу с собой ее свет навсегда.

Дома море радостно встречает меня. Оно все уже знает — ему нашептал об этом дуб зеленый из Сада. О встрече рассказываю только очень близким друзьям. Все, как завещано в Грамоте: моя жизнь протекает вдали от "суеты, вздора, поспешности".

И вдруг — телефонные звонки, один за другим — поздравления, поздравления, поздравления... С чем?

— Разве ты не знаешь? Твои стихи вышли в "Смене" с предисловием Ахмадулиной!

Вот это да... Значит, она сама отнесла стихи, ничего не сообщив мне, хоть мы и перезванивались, желая сделать мне сюрприз. Я была шокирована. Публикация вызвала большой отклик, стали приходить письма со всех уголков страны, журнал объявил меня Поэтом года, мою книгу принимают к печати... Звезда неусыпно следит за мной.

Все. Сад зовет. Рушится держава, разлетаются люди, как листья в осени, и ветер несет их по нашим одесским улицам в Чоп, и дальше, дальше...

— Я уезжаю, — сообщаю ей почти накануне отъезда в Америку.

Она вроде бы даже и не удивляется. Только говорит:

— Все будет хорошо... Верочка, у вас все будет хорошо...

Она знает, и я верю ей. Нас роднит единственность. Я уезжаю в единственность. У меня — Море, у нее — Сад, но общий знаменатель — един.

— Верочка, поцелуйте море!

Откуда это? Ах, да! Еще из той жизни... Я теперь в другой, за океаном, но мы по-прежнему встречаемся в Саду. "Я вышла в сад, но глушь и роскошь..."

Я декламирую эти строки, пока гуляю у собора в Брин-Атене и мечтаю, что она однажды будет гулять здесь со мной. Место — волшебное в прямом смысле. Здесь, по преданию, явился во сне ангел основателю собора священнику Питкерну, который и велел ему выстроить здесь храм. Всегда ощущаю присутствие Божественного, когда гуляю по его дорожкам. Вера в то, что моя мечта встретиться с нею здесь осуществится, крепнет с каждым разом, и я даже вижу ее, гуляющую здесь и читающую "Сад". А губы непроизвольно шепчут строки, и они оседают на травах, цветах, на короне собора, привораживая заокеанское пространство. И вскоре мечта воплощается.

1997-й... Они с Борисом прилетают в апреле, на ее 60-летие, и мы проводим три дня вместе. Все празднично — по ощущению, встрече, общению. К тому располагает и обстановка семейного круга. Мы вместе обедаем в доме устроительницы выступления Ахмадулиной в Филадельфии — Зои Германовны. Приезжают Арон Каценелинбойген и художница Ирина Френкель, моя подруга. Я почти не принимаю участия в общей беседе. В основном, слушаю и все еще не верю, что это уже не мечта. На следующий день запланирован вечер. Мы заходим за ней и Борисом и идем все вместе в синагогу, где уже ожидают толпы желающих ее послушать. Она очень оживлена, по-прежнему излучает свет, по которому так легко ее распознать.

Когда мы заходим в зал, мне предлагают открыть вечер и представить ее, но я отказываюсь наотрез. Мне это кажется нелепой затеей. И потом, я так много несу в душе и сердце в этот миг, что опасаюсь говорить об этом даже ей. Но она все знает и без слов и, похоже, ценит отсутствие словесных излияний гораздо выше.

Вечер проходит блестяще. Каждое стихотворение проживается и ею, и публикой на одном дыхании. Эпоха прорывается через нее, прожигает гортань, плачет, поет, замирает... В перерывах между чтениями она рассказывает о стихах и встречах с друзьями, живущими за океаном. Признается, что ей не хватает их. Она упоминает Аксенова и потом поворачивается к нам, и указывая на нас, произносит все с той же озорной улыбкой: "И еще. Вот они, сидят здесь, есть". Для сидящих в зале наши отношения были известны благодаря моей первой книге "Аура", которая вышла уже в Филадельфии с ее предисловием. Зрители одобрительно кивают.

— Так что, если вы не смогли приехать ко мне туда, то значит, я должна приехать к вам, — заключает она.

В зале аплодируют.

После выступления все бросаются к ней. Она что-то отвечает, кивает, благодарит... Мы с Вадимом оглушены взрывной волной прослушанного. Сидим поодаль, ждем, когда толпа рассосется. Вадим как раз приобрел видеокамеру, и весь ее вечер был записан на пленку. Сколько бы раз мы впоследствии не пересматривали его, впечатление не ослабевало, невзирая даже на неважное качество записи. Каким-то чудом ей удалось влить свою божественную энергетику даже в технически несовершенную аппаратуру...

Наконец возле нее остается небольшая группка прощающихся слушателей.

— Ну, как, ничего? — совсем по-детски спрашивает она меня, когда мы подходим.

Что же можно на это ответить? Я просто обнимаю ее и благодарю. Все остальное и так ясно.

На следующий день мы едем в Брин-Атен и гуляем там все вчетвером. Доходим до собора, заглядываем в его уголки, а когда выходим, она сбрасывает босоножки и легко бежит вниз по холму, устеленному зеленой травой. Всякий раз, когда я прихожу к собору, я вижу ее, как тогда, — сбрасывающую туфли и бегущую босиком навстречу Саду. И по сей день она там, словно волшебный дух парка навсегда впечатал ее образ в пространство Храма Трех Религий.

Заходим мы и в беседку, в которой я читала про себя ее "Сад". Она восторженно разглядывает вид сверху и вдруг декламирует: "Я вышла в сад...". Вадим изумлен: это точь-в-точь как я мечтала. Я же не удивляюсь — я радуюсь, что Творец Единственности внемлет нашим фантазиям.

Во время прогулки она расспрашивает меня о том, что я пишу. К тому времени у меня уже издано несколько сборников стихотворений, включая и "Трактат об ангелах" с рисунками Неизвестного, а также монография по чеховским пьесам на английском. Она одобряет мой переход на английский, говорит, что я должна продолжать писать на двух языках, включая и стихи.

Возвратившись домой, мы подписываем друг другу книги. Я дарю ей "Трактат об ангелах", изданный в Одессе на двух языках. Перевод на английский сделала переводчица поэзии Анны Ахматовой Фрэнсис Лэйрд. Она подписывает мне свой сборник, вышедший в США, тоже на двух языках.

Наступает миг прощания. Всего лишь миг в бесконечном и недискретном пространстве Встречи, где все существует монолитно как единое время в едином пространстве Сада.

Что делать нам с этой вестью? Смерть посягает на единственность. Она — апофеоз коллективного бессознания. Но Сад все равно сильнее, потому что она мгновенна, а Он — вечен.

Тристишье

Памяти Беллы Ахмадулиной

— Верочка, поцелуйте море!
Из телефонного разговора

* * *

Утра уже не отличить от ночи.
Земли — от неба.
Холмик города на обочине
Прикрыт простынею снега.
Доктора склонились над уходящей эпохой.
Медициной ли спасти историю?
Последняя попытка машинного вдоха,
А потом — к Морю, к Морю...

Не хочет плоть живучая, лукавая
про вечность знать...
Белла Ахмадулина

* * *

Из окоченелого пространства,
Где сердце уже не орга̀н, а о̀рган,
Глянуть мимо склонившихся,
Сказать "здравствуй!"
Тому, что казалось скорбным,
А потом ходить еще по земной привязи
Туда-сюда... (Не о том ли у Пушкина?)

Вот и конец этой странной жизни.
Будет ли что-то из нее отпущено?

* * *

Ну что еще сказать?
Все сказано навеки.
По досточке строки
Идти не вдаль, но вглубь.
Так попадают в сад
Из комнаты по ветке,
Чтоб зажигать луну,
Слетающую с губ.
Все кончено. Окно
Глядит в другое небо.
Туда не подсмотреть.
И заколочен сад,
И в скважине ночной
Ключ к Дому заповедный,
И обнаружен код.
И нет пути назад.

30 ноября – 3 декабря 2010

Стихи о Саде и Садовнике

Белле Ахмадулиной

Мне сказали, что Садовник
Обошел свои владенья
И пошел по той дороге,
Что уводит в пред-рассвет.
Мне сказали, это было
Ровно в полночь, в воскресенье,
И об этом точно знает
Всякий сведущий сосед.

— А какое было небо? —
У соседа я спросила.

— Небо было, как на полночь, —
Отвечал, сердясь, сосед.
— Что он взял с собой в дорогу?
За плечами что-то было?

— Ничего... — сосед подумал
И смутясь, добавил: — Свет.

Поняла, что в воскресенье
Разлилась луна по саду
И Садовника манила
Той, обратной, стороной.
Ждать его навряд ли надо —
Он пошел искать рассаду
И раскланиваться станет
Только с ночью и луной.



Аркадий КРЕЙМЕР

Одиссея капитана Колбасьева



Сергей Адамович Колбасьев — писатель, моряк, энтузиаст джаза. Родился 17 марта 1898 года в Одессе в семье коллежского асессора Адама Викторовича Колбасьева. Семья вскоре переехала в Петербург. По материнской линии предками Колбасьева были мальтийцы, от матери он унаследовал склонность к языкам (он отлично владел английским, французским, немецким и дополнительно изучал шведский и фарси) и, по выражению самого Колбасьева, "романтические" наклонности своего характера. (Его дядя Евгений Викторович Колбасьев — русский изобретатель в области морского дела, капитан 1-го ранга, создал корабельный и подводный телефоны и разработал систему телефонной связи с водолазом, а также способ подводного освещения. Автор оригинальной конструкции плавучей мины и нескольких проектов подводных лодок, в одном из которых предусматривалась установка торпедных аппаратов системы Колбасьева, обеспечивавших залповую стрельбу.)

С родителями для совершенствования в языках ездил за границу (Англия, Франция, Германия, Швейцария).

Из воспоминаний дочери:

"Строить модели кораблей отец начал лет с десяти, построил настоящий флот. У него были модели подводных лодок и катеров, миноносцев и линейных кораблей. Все были выполнены самым тщательным образом: на них были шлюпки, вращающиеся орудия, даже крошечные якоря, а материалом для такелажа служили тонкие волосы. Длина самой большой модели, линкора, не превышала восемнадцати сантиметров. И весь этот флот и моя яхта погибли во время бомбежки в 1942 году, в суровую зимнюю блокаду".

Любовь к морю определила во многом его дальнейшую судьбу. После внезапной смерти отца, по совету дяди — морского офицера, Сергей Колбасьев после шестого класса гимназии Л.Д. Лентовской поступил в Морской корпус.

В начале 1918 Морской корпус был закрыт большевиками, Колбасьев получил справку об окончании и был направлен на Северный флот, где служил переводчиком при миссии союзников. Затем ему пришлось служить и воевать на канонерских лодках и эскадренных миноносцах на Балтийском, Черном, Азовском, Каспийском морях, командовать тральщиком, дивизионом миноносцев. С июля 1919 года по февраль 1922 года Колбасьев занимал ответственные должности в Азовской военной флотилии и в штабе действующей эскадры Черного моря.

Переломным моментом в биографии Колбасьева явилась встреча летом 1921 года в Севастополе с Николаем Гумилевым. По-видимому, и эта встреча была толчком к написанию Гумилевым стихотворения "Мои читатели". Впрочем, как и встреча с Яковом Блюмкиным, убившим германского посла графа Мирбаха.

Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне черного копьеносца
С приветом, составленным из многих стихов.
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над Южным морем
Читал мне на память мои стихи.
Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.

Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,

Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.
Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца.
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: я не люблю вас, —
Я учу их, как улыбнуться
И уйти, и не возвращаться больше.

А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно его суда.

В 1921 году Сергей Колбасьев переехал в Петроград, где Гумилев ввел его в круг петроградской творческой интеллигенции, объединившейся вокруг издательства "Всемирная литература".

В феврале 1922 г., по ходатайству наркома Луначарского, был командирован от флота для работы при Наркомпросе в качестве переводчика в издательстве "Всемирная литература". В этом же году Колбасьев входит в литературную группу "Островитяне", выпустившую коллективный сборник стихов с одноименным названием. Затем он издает поэму "Открытое море". На эти издания откликнулся Валерий Брюсов: "С. Колбасьев стремится к простоте речи, хочет действовать на читателя сжатым реализмом своих картин, но очень часто это приводит автора к самой несомненной прозе". Повлияло ли это высказывание на Колбасьева, или нет, но после выхода поэмы он пишет только прозу.

По февраль 1923 г. жил в Петрограде, занимался литературным трудом. Печатал рассказы, стихи, статьи, переводы в "Красной нови", "Красной ниве", "Красном Флоте", "Морском сборнике" и других изданиях. Член Союза советских писателей. Один из первых в стране коллекционеров и пропагандистов джазовой музыки, автор статьи "Jazz" и ряда других.

В 1923 году, благодаря знакомству с семьей Ларисы Рейснер, он устраивается переводчиком в советском посольстве в Кабуле, которое тогда возглавлял муж Л. Рейснер Федор Раскольников.

В этом же году Колбасьев был отозван из Афганистана и направлен в торговое представительство СССР в Хельсинки, где проработал до 1928 года. Именно в Финляндии он увлекся джазом, ему в дальнейшем удалось собрать уникальную коллекцию пластинок с записями джазовой музыки.

Из письма Николая Тихонова Льву Лунцу. Петроград. Октябрь 1923 года:

"...Сергей Колбасьев делал прогулку по Афганистану. Растолстел, как кабульский боров, — поздоровел, привез 1001 рассказ, афганские подтяжки, брюки, анекдоты. В общем, богатый человек, и уже уехал снова: в Гельсингфорс на один год. Жди от него письма. Верочка — слушай, Лева,— вероятно, на днях подарит ему маленького афганца, ребенка, который еще до появления на свет без визы проехал в Азию, обратно, в Финляндию и т. д. Чудо конструктивизма..."

В феврале 1928 г. откомандирован по сокращению штатов в Москву. С марта 1928 г. по апрель 1937 г. проживал в Ленинграде (Моховая улица, д. 18, кв. 6) и занимался литературной деятельностью. Квартира Колбасьевых в Ленинграде стала своеобразным "музыкальным салоном".

Из воспоминаний дочери:

"...А к вечеру обязательно кто-нибудь приходил, и не один, а человека три-четыре, иногда и больше. Не помню дня, чтобы у нас никого не было. Кто только не перебывал в нашем доме на Моховой! Писатели — Николай Тихонов, Корней и Николай Чуковские, Вениамин Каверин, Михаил Слонимский, Борис Лавренев... всех и не вспомнить. Приходили радиолюбители, знатоки и поклонники джаза, художники, композиторы, артисты... Засиживались допоздна, когда отец демонстрировал гостям свои новые пластинки или записи джазовой музыки.

Отец сам собрал проигрыватель для пластинок, как, впрочем, и радиоприемник. От своей аппаратуры он добился чистейшего звучания, не идущего ни в какое сравнение с бытовыми звуковоспроизводящими устройствами тех времен.

Радиоприемник принимал зарубежные станции, которые часто передавали хороший джаз. И тогда у отца возникла идея сделать звукозаписывающее устройство. Эту идею он вскоре осуществил вместе с изобретателем Вадимом Охотниковым. Не вдаваясь в подробности описания аппарата, скажу только, что запись производилась на кинопленку, склеенную в кольца. Этот же аппарат и воспроизводил только что сделанную запись с помощью обычного звукоснимателя с иглой. Ничего общего с магнитофоном это устройство не имело.

Последним достижением отца в области радиотехники было устройство для приема изображения. В нем не было даже отдаленного сходства с телевизором. Большой, около 50 сантиметров в диаметре, металлический перфорированный диск, в верхней части которого при вращении возникало на розовом фоне изображение величиной со спичечный коробок.

Мир увлечений отца был необычайно разнообразен. Помимо неизменной страсти к радио и джазу, он увлекался фотографией, авиамоделизмом и даже изготовлением различных игрушек, в том числе елочных, которых в те годы в продаже почти не было. Он прекрасно знал мировую литературу, живопись, музыку, Все, кто с ним встречался, находили в нем интереснейшего собеседника..."

В это время Сергей Колбасьев вступает в Ленинградско-Балтийское отделение Литературного объединения Красной Армии и Флота. Издал книги: "Радиокнижка" (5 изданий), "Поворот все вдруг" (4 издания), "Салажонок" (6 изданий), "Правила совместного плавания", военно-морские повести: "Любительская звукозапись", "Крен", "Хороший Командующий", "Командиры кораблей". (Печатался также под псевдонимом Ариэль Брайс, А. Брайс.) В 30-е годы он пишет "трилогию" — повести "Арсен Люпен", "Джигит" и "Река", в главном герое которой угадываются автобиографические черты. В эти же годы пишет популярные учебники по радиоделу. Выступал с лекциями о джазе, вел передачи на радио. Он один из героев художественного фильма "Мы из джаза" (1983 г.)

9 апреля 1937 года Колбасьев был арестован и Особой тройкой УНКВД 27 октября 1937 года приговорен по ст. 58-6-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 30 октября 1937 года в Ленинграде. (Существуют данные, что Колбасьев погиб позднее, однако эти данные вызывают сомнение.)

В Санкт-Петербурге 30 мая 2007 г. на доме 12 по Моховой улице установлена мемориальная доска с лаконичной надписью — "В этом доме

с 1928 по 1937 год жил Сергей Адамович Колбасьев, писатель, моряк, энтузиаст джаза". К этому еще можно добавить: "конструктор, изобретатель, автор учебников в области радиотехники", — так много он успел за свою недолгую и трагически оборвавшуюся жизнь. Лучше всего об этом человеке сказал, пожалуй, другой знаток флотской жизни и почитаемый моряками писатель — Виктор Конецкий: "Колбасьев любил дразнить гусей".

Торжественная церемония отличалась от общепринятых. Морские офицеры говорили о том, что на книгах Колбасьева воспитывались поколения будущих флотоводцев, руководитель Джазовой филармонии Давид Голощекин — о том, что в созданном им музее, целиком посвященном одному из популярных направлений музыки, первым экспонатом стал портрет Сергея Колбасьева.

Никто не знает, где находится могила Сергея Колбасьева, и мемориальная доска на Моховой заменила надгробный камень.

Ну, а сам писатель наверняка бы откликнулся на ее открытие проделкой в духе Арсена Люпена: наверняка увел бы кортик, который так и не сумел получить, не окончив Кадетский корпус. И еще с удовольствием послушал бы джаз, звучавший во время открытия доски на Моховой.



Ирина ЧУЖИНОВА, Виктор СОБИЯНСКИЙ

Письма о театре



Наталья Борисовна Кузякина (1928-1994), письма которой и послужили основой данной публикации, убеждены, известна многим. В украинской филологии и театроведении 60-х – начала 90-х годов Наталья Кузякина была фигурой первой величины. Ее научную и творческую карьеру можно считать образцовой и даже завидной. Вот только наравне с заслуженным успехом было и много хлестких ударов судьбы в ее разнообразнейших проявлениях: от официально-идеологической опалы до мелочно-завистливых подножек "коллег"...

В 1948 году Наталья Кузякина экстерном окончила филологический факультет Киевского университета им. Т. Шевченко по специальности "русский язык и литература", окончила аспирантуру в этом университете, а в 1952 году защитила кандидатскую диссертацию "Становление украинской советской драматургии (1917-1934 гг.)", ставшую основой первой части двухтомных "Очерков украинской советской драматургии" (1958, 1963).

В 24 года Наталья Кузякина – заведующая кафедрой литературы Измаильского учительского (позже – педагогического) института, в 28 лет – член Союза писателей Украины. После того как кафедру литературы перевели в Одесский государственный университет, с 1956 по 1961 годы работала в должности доцента кафедры украинской литературы. В эти пять лет собственно и состоялось знакомство Натальи Кузякиной и адресата писем – Ирины Шайкевич. К сожалению, обстоятельства встречи и начало дружбы двух сильных и неординарных женщин доподлинно не известны – остается лишь предполагать.

Ирина Борисовна Шайкевич (1939-1996) родилась в семье уважаемых педагогов Одесского университета Бориса Шайкевича и Берты Барской. Двери дома этого знаменитого в Одессе семейства всегда были широко открыты для местной интеллигенции. Трудно поверить, что работая в Одесском университете, Наталья Кузякина не познакомилась с гостеприимной четой Шайкевичей и не получила приглашения примкнуть к кругу гуманитариев-интеллектуалов. Ирина Шайкевич как раз училась на филологическом факультете того же вуза – не исключено, что Наталья Кузякина была одним из ее педагогов.

В 1961 году Наталья Кузякина вернулась в родной город Киев заместителем главного редактора издательства "Мистецтво", а в 1962 году была принята в качестве старшего научного сотрудника Института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф. Рыльского АН УССР. Спустя пять лет разразился скандал, кардинально изменивший судьбу Кузякиной: "не посоветовавшись с товарищами по отделу и без разрешения руководст-

ва" по просьбе "Украинского календаря" в Варшаве она написала статью "Рожденная революцией" о становлении украинской советской драматургии. Статью сочли "клеветнической", "субъективистской", "порочащей честь советского ученого" исключительно потому, что, по мнению ученого совета, автором умышленно были преуменьшены таланты и роль в истории первого драматурга УССР Александра Корнейчука и выпячены фигуры, официально подлежащие забвению, в частности, драматург Микола Кулиш. На все нападки Наталья Борисовна отвечала: "Я поставила перед собой цель — не искать заискивающих эпитетов, а быть абсолютно честной... чтобы не краснеть перед любым читателем... Единодушие — это смерть для науки. Не заставляйте меня думать так, а не иначе". Эти нравственные максимы долгие годы определяли мировоззрение Кузякиной и как ученого, и как критика, и как педагога.

В 1968 году Наталья Кузякина была изгнана из ИИФЭ им. М.Ф. Рыльского, и началась плохо закамуфлированная травля. Ей же, упрямой, дерзкой, бескомпромиссной, свободолюбивой, была невыносима ни подковерная возня, ни досужие сплетни за спиной, ни унизительные запреты на ознакомление с иностранными изданиями и на поездки за рубеж. В 1971 году Наталья Борисовна защитила в Москве докторскую диссертацию, с 1969 по 1972 год работала на кафедре литературы Киевского государственного института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. Но с каждым годом все ощутимей становилась атмосфера, как точно определит ее сама Кузякина, "страшной духовной духоты", и она решается на отчаянный шаг — на "побег". В 1973 году она с сыном Борисом, к тому времени окончившим школу, переезжает жить в Ленинград, становится профессором кафедры истории театра Ленинградского института театра, музыки и кинематографии им. Н. Черкасова. Собственно, с этого переломного 1973 года и начинается представленная здесь переписка с Ириной Шайкевич — давней подругой и единомышленницей.

В первых письмах много жалоб на бытовые трудности, на пресловутый "квартирный вопрос", на сложность смены коллектива и даже климата. Но Наталья Борисовна жаловаться и не любила, и не умела — тон всех посланий оптимистичный или, по крайней мере, хотящий казаться таковым. Также следует отметить и неподражаемую интонацию этих писем — таким тоном ведутся лишь задушевные беседы с лучшими друзьями, от которых скрывать нечего, да и незачем, а наоборот, хочется поделиться сокровенным без скороговорок междугородных звонков. Те, кто читал Наталью Борисовну лишь в научных изданиях или же знал лично как даму довольно строгую, порой резкую, а главное, всегда державшую в общении обязательную дистанцию, вне сомнений, будут удивлены совершенно иным обертонам ее заочного разговора с Ириной Шайкевич. Поэтому, смеем надеяться, что после прочтения этих писем в воображении многих образ "железной леди" (как в шутку называли Наталью Борисовну студенты) слегка изменится, черты его смягчатся, уйдет напускная строгость и излишняя серьезность, на задумчивом лице мелькнет тень грустной улыбки.

* Протокол заседания ученого совета. Цит. по: Кузякіна Н. Запізнілий відгук // Український театр. — 1994. — № 2. — С. 8.

Наталья Кузякина прожила до обидного мало – лишь 64 года. Она автор 10 монографий, среди которых пока не превзойденные никем работы о Миколе Кулише и Иване Кочерге; она один из авторов академической истории украинского театра; ее перу принадлежат более сотни научных и публицистических статей об украинском театре и драматургии 20-х годов, о современном украинском, русском, эстонском театрах, а также учебные программы и пособия по истории театра. За последние два года, будто в счет компенсации десятилетнего забвения, вышли три книги Натальи Кузякиной: "Театр на Соловках: 1923-1937" (Санкт-Петербург, 2009), "Траектории судеб" (Киев, 2010) – наконец-то изданная долгожданная книга о Миколе Кулише – и сборник статей, научных публикаций, интервью разных лет и других материалов в книге "Наталья Кузякина" (Дрогобыч, 2010).

Ирине Шайкевич, к сожалению, был отпущен земной срок еще короче – 57 лет. Прожив всю жизнь в родном городе Одессе, она известна, в первую очередь, как замечательный библиограф: читатели по сей день пользуются основательными картотеками и указателями, составленными Шайкевич и сотрудниками многие годы возглавляемого ею отдела искусств Одесской научной библиотеки им. М. Горького. Но поистине "тайной страстью" Ирины Шайкевич оставался театр – одна из постоянных тем писем Натальи Кузякиной, судя по всему, искренно интересующая адресата. Сама Ирина Шайкевич изредка выступала с публикациями о театре в одесских газетах, чаще – рецензировала спектакли устно, перед коллективами одесских театров. Но вне сомнений, самым ценным свидетельством театральной эпохи были и остаются шесть огромных тетрадей – дневники зрителя, которые она вела всю сознательную жизнь, предельно точно (позавидовали бы многие театроведы!) формулируя свои впечатления от спектаклей. Большинство узнало о существовании этих записей уже после смерти Ирины Шайкевич по изданной родными книге "[Театръ]: Дороже многих радостей" (Одесса, 2002)...

Остается добавить, что публикуемые 25 писем недавно были переданы младшей сестрой Ирины – Яниной Борисовной Шайкевич – с просьбой опубликовать их и сдать в государственный архив. Часть писем оказалась недатированной, и хранились они в семейном архиве не в хронологическом порядке. Публикаторы попытались устранить это недоразумение и полагают, что им удалось это достаточно корректно. Некоторые из писем – лишь поздравительные открытки длиной в несколько строк, некоторые – в три машинописных листа (хотя большая часть написана от руки). Соответственно, от некоторых посланий, как правило, кратких и не содержащих сколько-нибудь ценной информации, пришлось отказаться. Публикаторы также позволили себе сделать несколько незначительных купюр в письмах, где речь шла о подробностях из личной жизни Натальи Кузякиной, – все подобные сокращения отмечены знаком: [...]. Текст представлен с сохранением авторского стиля.

Ирина ЧУЖИНОВА, Виктор СОБИЯНСКИЙ

Дорогая Ирина!

Сегодня у меня день отдачи всех письменных долгов и посему я фундаментально сажусь за машинку, на несколько часов. В ваших глазах я уже становлюсь злостным банкротом, но все-таки это не совсем так. Банкрот, сразу признающий свою неспособность, — такова я только в одной сфере, там, где дело касается возможности послать вам что-либо вкусненькое или купить что-либо интересное — и подняться до уровня вашего изумительного грильяжа и прочих прелестей. Увы, тут я 1) просто профан, 2) у нас в Киеве, как я понимаю, просто нет приличных конфет — или я не знаю, какие они, 3) когда был Борис Александрович[1], как раз Борис мой[2] лежал в гриппе, был понедельник и закрыт наш книжный магазин, и я ничего не смогла придумать. Но пусть долг остается за мной!

Информацию о наших далеко идущих планах (Ленинград) вы уже получили. Очень хотелось бы переехать и дать Борису соответственное образование. Но как подумаешь о переезде, о трудностях обмена, поездках по этому самому проклятому обмену (и сколько все это стоит денег) и вообще как представишь всю это ломку — страшно! Рискну ли на это, хватит ли сил и смелости — не знаю...

Пока у нас все более-менее нормально. Не без того, чтобы прихвостни Йосипенко[3] не поднимали в институте разговоров о том, что в результате моих лекций у студентов падает уважение к Александру Евдокимовичу и пр. Если бы они не были такими дураками, я бы их пригласила на занятия и показала, как я вынуждена защищать оного Евдокимовича и некоторых других от уничтожающей критики студентов, — вот где парадоксы! Но это же просто подлые ослы, отнюдь не озабоченные сущностью дела. Но Йосипенко уходит из УТТ[4] (среди прочего — нагловато запустил руки в карман этой организации, выписывая себе и своей жене чуть ли не по десять путевок в месяц!), может быть, там что-либо изменится к лучшему?

В середине марта поеду на несколько дней в Москву, надеюсь посмотреть хоть что-либо интересное. Наш русский театр показал вчера "Варваров" Горького[5].

[1] Шайкевич Борис Александрович — советский литературовед, культуролог, отец Ирины Шайкевич, подруги Натальи Кузякиной, которой адресованы эти письма.

[2] Б.Г. Кузякин — искусствовед, сын Н. Кузякиной.

[3] Йосипенко Николай Кузьмич (1912-1983) — украинский театровед.

[4] УТТ — Українське театральне товариство, то есть Украинское театральное общество, ныне Национальный союз театральных деятелей Украины.

[5] Речь о спектакле Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки, режиссер — Э. Митницкий, художник — М. Улановский, премьера состоялась в 1973 г.

Горького-драматурга я вообще не очень люблю, эту же пьесу давно читала и поэтому воспринимала как неизвестную, совершенно свежо и спокойно. Характеры интересны, но финал — такой мелодраматический, такой искусственный! Ну, а театр сделал из этой пьесы просто фарс, всячески изображая, во всех нюансах, красоты русского непробудного пьянства. Огорчительно это... Единственное удовольствие за последние месяцы — приезжал Рецептер[6] и читал "Гамлета". Можно спорить с трактовкой отдельных сцен и даже всей концепции, но это — интересно, и это Шекспир.

Борис сдал сессию на все пятерки, чем был сам очень удивлен. Занимается с интересом и чувствуется, что он попал в свою колею, а это самое главное.

С прошлого года у меня осталось еще 12 дней отпуска и я, правду говоря, надеюсь их использовать — в мае или июне, выбравшись в Одессу[7]. Заскучала за всеми одесситами, заскучала за Одессой и за морем. Очень хочу это сделать, а что получится — не знаю.

Ну, будьте здоровы, не сердитесь на меня и пишите, как у вас дела, как здоровье всего семейства. Приветствуйте Берту Яковлевну[8] и Бориса Александровича!

Целую Вас,
Кузякина.
Киев, первая половина 1973 г.

Дорогая Ирина!

Я уже не помню, отчего вы замолчали, — наверное, виновата я, которая должна была бы, приехав в Ленинград, сразу же вам написать. Но — не написала. По причине отчаянной, смертельной занятости, из которой вот только-только выскочила. Три недели я проездом была в Тбилиси (и ездила посмотреть Мцхету, Гори и Боржоми), была в Ереване (и смотрела Эчмиадзин), была в Киеве. Зимой такие поездки трудноваты — тяжелая одежда, си-

[6] Рецептер Владимир Эммануилович (1935 г. р.) — российский актер, режиссер и писатель. Особенно прославился как чтец.

[7] Здесь и далее фигурируют только постоянные обещания и намерения Натальи Кузякиной приехать в гости к подруге. Поспешим оправдать Наталью Борисовну: как вспоминает ее аспирантка (а сегодня известный театровед и режиссер) Ирина Волицкая, Кузякина довольно часто летом ездила в Одессу. Косвенно подтверждает это в своих мемуарах и одесский писатель Григорий Зленко. Также достоверно известно о встрече (конечно же, организованной Шайкевич) читателей одесской библиотеки с Натальей Борисовной в конце 1980-х гг. и приезде Кузякиной в Одессу летом 1991 г.

[8] Барская Берта Яковлевна (1911-1994) — одесский театровед, мать И. Шайкевич, жена Б. Шайкевича.

дение в аэропортах в ожидании погоды и пр. и пр. Поэтому устала, хотя и увидела много интересного для себя. А приехав в Ленинград, — вскочила, "как муха в окроп", в заочную сессию — 30 часов лекций, экзамен, зачет.

[...] В Тбилиси и Ереване видела несколько хороших спектаклей. Здесь в Театре им. Пушкина неплохо поставили "Вишневый сад"[9], а вчера в концертном зале смотрела и слушала интересную вещь — драматическую ораторию А. Онеггера на слова П. Клоделя "Жанна д'Арк на костре". Бедное своеобразие и удивительная раскованность авторов, соединивших элементы интеллектуальной драмы, мистерии, фарса, балета в единую форму оратории. Был у нас вечер, посвященный столетию В. Мейерхольда[10], приезжали москвичи и говорили, что в Москве это было очень нехорошо, а в Ленинграде прошло все как надо: т. е. было много народа, очень хороший доклад сделал Г. Товстоногов, и была скромная художественная часть (актеры отвратительно читали отличные письма В. Мейерхольда — из неопубликованных материалов). Присутствовала дочь Мейерхольда Ирина и приезжала из Москвы его внучка, учительница, Мария Алексеевна, — славная, энергичная женщина. Ирина Всеволодовна — старая громоздкая дама, и не очень симпатичная... Вот вам отчет!

Мы с Борисом начали ходить в БДТ, — посмотрели "Мещан", сегодня — "Ханума", впереди — "Мольер" и "Ревизор".[11] Я хочу пересмотреть все, что они играют, чтобы составить себе ясное представление об этом театре. Может быть, потом и напишу что-нибудь...

Привет всем вашим. Пишите, как здоровье у всех и что у вас слышно!

Целую.

Ленинград, февраль-март 1974 г.

Дорогая Ирина!

Отвечаю на ваше письмо, ибо если отложу — плохо будет ему, а с ним и мне. Знаете, чем дольше письмо лежит, тем труднее взяться за ответ. А — с налету — еще можно...

Очень рада за Бориса Александровича, — книга[12] его нужна и будет

[9] "Вишневый сад" А. Чехова (реж. — Р. Горяев, худ. — И. Иванов), Ленинградский государственный академический театр драмы им. А. Пушкина, 1972.

[10] Столетие российского режиссера-реформатора Всеволода Мейерхольда (наст. — Карл-Казимир-Теодор Мейергольд) торжественно отмечалось 9 февраля 1974 г.

[11] "Мещане" М. Горького, режиссура и оформление Г. Товстоногова, премьера состоялась 25.12.1966 г.; "Ревизор" Н. Гоголя, режиссура и оформление Г. Товстоногова, премьера — 8.05.1972 г.; "Ханума" А. Цагарели, режиссер — Г. Товстоногова, художник — И. Сумбаташвили, композитор — Г. Канчели, премьера — 30.12.1972 г.; "Мольер" М. Булгакова, режиссер — С. Юрский, художник — Э. Кочергин, премьера — 12.02.1973 г.

[12] Шайкевич Б.А. Ибсен и русская культура: Очерки. — Киев: Вища школа, 1974. — 142 с.

прочитана со вниманием и пользой, — Ибсен ведь не умирает и, вполне возможно, что мы еще будем свидетелями его возрождения и на нашей сцене. Конечно, к этой моей радости примешивается и вполне эгоистическое желание иметь эту книгу, — ведь где ее тут купишь! Вообще, я еще не наладила тут необходимых книжных контактов и испытываю от этого некоторое затруднение, гл. это временно и скоро пройдет...

"Булгаков на TV"[13] был мне очень интересен, но, к сожалению, оставил ощущение некой странности в концепции режиссера, и я не могу разделить удовольствие, которое от этой картины испытывают другие. Эфрос[14] мне представляется человеком очень дисгармоничным и, к тому же, вполне циником, и он привносит эту дисгармонию во все, за что берется. Я не видела у него (за исключением давней "Чайки") ни одного гармоничного спектакля, в котором бы все было не просто выпячено, а естественно связанно друг с другом. Этот фильм удивил меня странностью назойливых и навязчивых сопоставлений Мольера и Дон Жуана. Я не понимаю этого: что это мне должно объяснить? Что каждый автор вкладывает частицу своей души в героя? Но ведь эта истина известна давно, и надо ли было в фильме, который смотрели миллионы людей, не очень причастных к искусству, показывать эту близость столь странным способом: вот, Мольер — и у него две женщины, вот, Дон Жуан — и две девчонки, вот Мольер жует с королем, а вот Жуан — со слугой, и т. д. и т. п. Я уже не говорю о загадочном колесе, которое раздражало и в спектакле "Дон Жуан", а здесь и вовсе стало неким символом — чего? Ну, бог с ним... [...]

P. S. А вот "Мольер" в БДТ (и Юрский-Мольер)[15] мне больше понравился. Режиссура суховатая, Юрский-режиссер испугался фарса, а Юрский-актер не вытягивает эмоционально, но это умно, прозрачно и абсолютно доказуемо по логике спектакля, и в этом живет если не эмоция, то очень честная, обостренная мысль. БДТ поставил хороший спектакль по Вампилову — "Прошлым летом в Чулимске"[16]. Психологично-бытовая и очень эмоциональная драма (где-то даже с красками мелодрамы) — смотрится с интересом.

Ленинград, весна 1974 г.

[13] Имеется в виду телевизионный фильм "Всего несколько слов в защиту господина де Мольера" (реж. — А. Эфрос), который вышел на экраны в 1973 г.

[14] Эфрос Анатолий Васильевич (1925-1987) — русский театральный и кинорежиссер.

[15] См. прим. 11. Юрский Сергей Юрьевич (1935 г. р.) — русский актер театра и кино, режиссер.

[16] "Прошлым летом в Чулимске" А. Вампилова; режиссер — Г. Товстоногов, художник — Э. Кочергин, премьера — 1.03.1974 г.

Дорогая Ирина!

Долги мои стали уже столь велики, что, как злой алкоголик, я махнула рукой — все равно пропадать! Верьте мне — не могла выбрать спокойного часа. [...]

А сейчас сижу в номере в Таллинне, — сегодня уезжаю домой. Посмотрела одну отличную, великолепно сделанную работу — Юри Ярвета[17] в "Последней ленте Креппа" Беккета. У него вечер из двух отделений: "Записки сумасшедшего" Гоголя и Беккет. И все это очень разное: Гоголь преподносится обобщенно, скорее, в манере литературного чтения, с минимумом бытовых жестов — и это даже эстонцам кажется несколько скучновато. А Беккет — в сочнейшей бытовой манере, с кашлем, ужимками, жеванием и пр. — и это дает удивительный эффект достоверности. Драма человеческой страсти, тем более страшная, что старик уже не способен понять себя, молодого. Так я уразумела (это в малом зале, а там нет перевода). Сегодня еще посмотрю в этом же театре им. В. Кингисеппа — "Концерт" Г. Бара (того старого австрийца, которого у нас никогда не играли) и "Леа" Ю. Смуула[18]. Вчера видели "С любимыми не расставайтесь" — русскую жизнь они не способны ни понять, ни изобразить даже внешне. Смотреть спектакль смешно и страшновато (все немного утрируется, рождается гротеск, и мы все выглядим в нем чуть дегенератами)...

[...] Ну и, наконец, сам Таллинн, — очень славный в своей готике, так непривычной для нас. В Тарту я на этот раз не попала[19], но думаю зимой поехать. В. Пансо[20] лежит тяжело больной (после инфаркта всяческие воспаления, к тому же он прилично выпивал) и К. Ирд остается единственным зубром эстонского театра[21]...

[...] Не обращайте внимания и не огорчайтесь, если я не сразу буду отвечать, это значит, что я вполне здорова (будем надеяться!), но занята и не могу выбрать вот такой спокойной минуты, когда мне никто и ничто не мешают.

Привет всем!
Целую.
Таллинн, 1974 г.

[17] Ярвет Юри Евгеньевич (1919-1995) — эстонский театральный и киноактер.

[18] Смуул Юхан (Иоганнес Юрьевич Шмуул, 1922-1971) — эстонский писатель.

[19] Впервые в Эстонию Н. Кузякина попала вместе с И. Шайкевич в июле 1973 г.

[20] Пансо Вольдемар Хансович (1920-1977) — эстонский театральный режиссер.

[21] Ирд Карел Кириллович (1909-1986) — эстонский театральный режиссер, художественный руководитель театра "Ванемуйне" в Тарту.

Дорогая Ирина!

[...] В театры еще не хожу по-настоящему, — занята подготовкой лекций. Но сегодня пошла посмотреть "Ромео и Джульетту" у Эфроса[22], — театр приехал на гастроли на целый месяц и надо будет походить, посмотреть наиболее интересные спектакли. Что вам сказать? Это интересно, хотя и противоречиво. Была очень славная Джульетта-Салтыковская, в духе героини фильма Дзефирелли, — ей действительно 14 лет, и она очаровательна, пылкая, страстная и умная, — все мысли Шекспира укладываются в ее голове и рождаются как ее открытия, естественно и просто. Ромео-Грачев — слишком дубовый, не гибкий. И хорош Лоренцо-Волков — мудрый, достойный. Общая же режиссерская концепция, как я ее поняла (забыла, что писали о спектакле) — Ромео и Джульетта — как чужие в окружающем их жестоком и холодном мире. И этот мир кривляется и скалит зубы, — и Меркуцио, и Тибальд, и Петр, слуга Капулетти, и сам противный Капулетти (Броневой кривляется в этой роли свыше всякой меры)...

А еще я прочитала (у меня все запоздалые премьеры!) повесть Окуджавы "Глоток свободы"[23] — и это тоже интересно, хотя Булгакова тут больше, чем самого Окуджавы. После этой повести мы еще раз пошли в Петропавловку, — иногда надо подумать на старых пепелищах. [...]

Ленинград, вторая половина 1974 г. (?)

Дорогая Ирина!

Итак, — с Новым годом! Всем вам, всем — здоровья, бодрости и немного благополучия! Я уже перестаю желать людям счастья, ибо не очень уверена, что оно есть (помните, у Пушкина — "в вопросах счастья я атеист..."[24]). Но, в соответствии со своим возрастом, желаю уже солидно здоровья и благополучия!

Давно не писала и не отвечала вам, но не виноватая нисколько, — времени не было в полном смысле этого слова, думала, что в декабре будет легче, однако навалили на меня столько срочного диссертационного чтения, что я обалдела, остервенела и начала подавать признаки легкого по-

[22] "Ромео и Джульетта" У. Шекспира (художник — В. Дургин), Театр на Малой Бронной, 1970 г.

[23] "Бедный Авросимов (Глоток свободы)" — повесть русского писателя и барда Булата Окуджавы (1924-1997) о трагических страницах в истории декабристского движения.

[24] "В вопросе счастья я атеист; я не верю в него и лишь в обществе старых друзей я начинаю немного сомневаться." — А. Пушкин — П. Осиповой, 5 (?) ноября 1830 г. из Болдина в Опочку.

мешательства. А именно: меня всюду бил ток и по 10 раз в день я кричала: "Ой!", притрагивалась к плитке, холодильнику, налитой в ванной воде, а однажды ударила "своим" током даже Бориса и он, глядя, как между нашими руками бежит искра, удивленно сказал: "Но так же не бывает!". Словом, конденсировала в себе электричество. А потом пошла на ученый совет и "разрядилась" — активно способствовала провалу защиты некой девицы, будучи первый раз на совете, да еще и уважительно избранная председателем счетной комиссии! И никто не знает, что виной всему — не стервозный характер, а просто электричество... Правда, к тому же девица была нахальной, а диссертация — скверной... Но ректор надулся и на меня не смотрит... [...]

Еще раз — всяческие пожелания всем!
Пишите!
Целую вас.
Ленинград, январь 1975 г. (?)

Дорогая Ирина!

Таким образом, на повестке дня — Новый год! Поздравляю вас, все ваше семейство и желаю всем — соответственно по персональным потребностям всего-всего! Мне-то лично новый год не нужен, и ожидание чуда, надежды и прочие глупости давно уже меня не посещают в преддверии этого праздника. Но если этому году надобно прибыть — что же, добро пожаловать! [...]

У нас прошел невероятно удивительный спектакль "Холстомер" в БДТ (с Лебедевым[25] в заглавной роли)[26]. Описать это трудно. Я для "Вечерки"[27] делаю рецензию и, как она пройдет, пришлю вам, — это будет все равно лучше, чем писать в письме. Это надо видеть!

[...] Я тоже не знаю, прошла ли рецензия на "Прапороносці" в "Театре"[28] — ничего мне не сообщают. "Ступку" отправила в "Театр"[29] — тоже ничего нет. Если не получу на днях подтверждения, — буду писать.

Ну, вот, как видите, пока ничего. Все в ожидании — и в работе, в беготне, в опозданиях. Устала. Авось, в январе немного будет легче.

[25] Лебедев Евгений Алексеевич (1917-1997) — советский актер театра и кино.

[26] Спектакль по повести Л. Толстого "Холстомер", инсценировка М. Розовского, режиссер — Г. Товстоногов, художник — Э. Кочергин, премьера — 27.11.1975 г.

[27] Судя по всему, рецензия Н. Кузякиной так и не вышла — отыскать ее на страницах газеты "Вечерний Ленинград" не удалось.

[28] Эта статья под названием "Альтовый голос юности" вышла в № 12 за 1975 г. журнала "Театр".

[29] О какой статье Н. Кузякиной речь, установить не удалось.

Еще раз — привет всем!

Целую вас! Не сердитесь на сухость письма — слишком еще много дел! Машинку починить и найти ленту — некогда! Купить стержни некогда!

Жить? Некогда!

Кузякина.
Ленинград, декабрь 1975 г.

Дорогая Ирина!

Ваше молчание мне непонятно, а в Одессу нельзя дозвониться, но надеюсь, что у вас все благополучно, а отсутствие ваших писем — результат времени, которое разводит нас. [...]

У меня, как всегда последнее время, много работы, а почему — не знаю. Наверное, все-таки дает знать себя возраст, и то, что раньше получалось быстро и хорошо, теперь требует иных затрат. Но, в общем, пока все благополучно. [...]

Был у нас "Ванемуйне" на гастролях, виделась и говорила с Ирдом. Постарел он сильно, но держится молодцом. Гастроли особого успеха не имели, репертуар оказался не очень интересным зрителю ("Жизнь в цитадели" Якобсона, "Кремлевские куранты", "На задворках", "Полонез-45"). Наиболее интересным был "Полонез-45", сделанный по повести "Пепел и диамант" поляка Анджиевского. Конечно, Тооминг — человек большого таланта и режиссер из него выходит первоклассный. Но он человек дисгармоничный, и его обостренное, болезненное, до крика, восприятие противоречий человеческой жизни рождает спектакли грандиозные по масштабам, символически многозначные, но не очень ровные. Великолепен дуэт Хермакюлы и Тооминга в дрянной пьесе "Жизнь в цитадели" и замечателен Хермакюла в роли Ленина в "Курантах". А еще показали для работников ВТО постановку Хермакюлы "Как дурачок по свету ходил" — эстонская сказка поставлена изящно, мило, — сплошное очарование. Вообще, Хермакюла — это очень интересно. А вместе с Тоомингом — вдвойне[30].

Особых впечатлений от ленинградских спектаклей как-то не было. Смотрела второй раз "Тихий Дон" — интересно, умно, глубоко и правдиво, но холодно. Слишком часто воспоминания разрывают живую ткань современного течения действия, и все кусочками, кадрами, нет возможности захватить зрителя. На малой сцене поставили "Последний срок" Распутина, Лебедев как режиссер нашел для себя тему, близкую ему по "Исто-

[30] Приписка автора на полях: "Это уже прямо как в рецензии. Видите — приходит забвение жанровых норм письма...".

рию лошади". Спектакль хороший, где-то чуть-чуть затянутый, — может, уже и выровнялся, я была на просмотре[31]. [...]

Ленинград, конец 1977 г. — начало 1978 г.

Дорогая Ирина!

Со мной ничего решительно не случилось, и вообще все вполне благополучно! Все дело в том, что я попала в такой цейтнот, что не знала, на каком свете нахожусь. Но — по порядку.

Итак, 22 марта я поехала в Прибалтику. Была в Риге, Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Минске и Тарту. Видела 21 полный и еще — по кускам и в репетициях — 4 спектакля. Все было хорошо (рассказывать очень долго, это надо встретиться и посидеть "спокойно"), хотя, надо сказать правду, я почему-то не хотела ехать, боялась, что я, по своей слепоте и невнимательности, попаду в какую-нибудь беду. Словом, активно не хотела ехать и поехала, когда уже нельзя было тянуть. Но все оказалось хорошо. Поскольку я, впервые за много лет, поехала в Прибалтику, имея большие деньги, я удовлетворила свои неотложные нужды по части предметов дамского туалета (ничего достойного вашего изысканного внимания не было, все элементарное и простое [...]). Купила Борису пару свитеров и японский зонтик. А из серьезных покупок (которые мне поручать нельзя, и мне так не хватало вашего строгого серьезного взгляда и краткой оценки: "Это — не Рио-де-Жанейро") я все-таки сделала две важных: купила в Клайпеде мех на воротник и шапку (две нутрии, очень приятного серовато-коричневатого цвета, или, точнее, чуть кофе с молоком). Куплено на базаре, где можно открыто продавать эти меха. Но надо будет еще решать проблему — как это шить здесь, у нас ведь без клейма не принимают. Это стоило 85 р., по-моему, дешево. Так что я, наконец, пошью себе зимнее пальто, и собираюсь этим заняться прямо после праздников. А еще купила черного трикотажа (финский, чисто шерстяной, по 35 р. метр) на костюм. Это дорого, но уж очень выгодно в носке, как я думаю, и если хорошо пошить, то костюм будет иметь нужный вид — и в театр, и на работу. Хотела там купить готовое пальто — или зимнее, или осеннее, но ничего путного не было, хотя выбор немалый. Купила еще рабочие туфли на микропоре, сумочку и прочую дребедень. Была несколько ошарашена и относительным обилием в магазинах Прибалтики (но тоже надо все за-

[31] Речь идет о спектаклях Большого драматического театра: "Тихий Дон" М. Шолохова, режиссер — Г. Товстоногов, художник — Э. Кочергин, премьера — 2.06.1977 г.; "Последний срок" В. Распутина, режиссер — Е. Лебедев, художник — Э. Янокопулос, премьера — 30.12.1977 г.

хватить случайно, обегать все магазины, я это не умею делать, поэтому не купила себе нужной обуви), и возможностью заткнуть свои дыры — вы-то знаете, как я была стеснена в возможностях все эти годы [...]! А как же другие? Не иначе как они должны быть чертовски умными людьми, если они могут на свои зарплаты все-таки отлично одеваться и сводить концы с концами. Ну, я всегда себе говорила, что я так нелепа в практической жизни, что просто должна получать много денег, иначе мне — хана. [...]

Простите за такое вздорное письмо! Но надо же когда-то и о тряпках поговорить!

Целую.
Ленинград, 1978 г.

Дорогая Ирина!

На свое письмо я не получила вашего ответа, — очевидно, мои "тряпочные" сообщения не произвели на вас особого впечатления. Жаль! А я так старалась ничего не забыть, так набивалась на похвалы моим женским делам, так хотела сказать, какая я хорошая... Ну, ладно, больше ничего такого писать не буду.

[...] У меня остаются десять дней отпуска, которые я смогу взять осенью, — я уже не была в Москве по-человечески давно (день-два — это не то), многого не видела. Правда, у нас как раз в этом году был на гастролях "Современник"[32], но я ездила тогда по Прибалтике. И был театр Сатиры, когда я уже приехала, но я так была загружена (все же лекции надо было вычитать), что никуда не ходила. Единственное, что успела посмотреть из премьер этой весны, — "Записки Пиквикского клуба" в БДТ[33]. Мило, очень приятно, Трофимов, правда, не вытягивает Пиквика (они его замыслили Дон Кихотом), но все равно, — славно.

Тут был в Таллинне и Тарту очень интересный фестиваль — по случаю 100-летия Таммсааре[34]. А я была так занята, что не смогла и поехать. Приезжайте осенью, поедем к Ирду смотреть новую постановку Я. Тооминга[35], — конечно, если ничего с ним не случится, это будет режиссер номер один на весь Советский Союз. Актерский дуэт Тооминг-Хермакюла[36] — сплошное

[32] Московский театр, основанный в 1956 г. группой молодых актеров (О. Ефремовым, Г. Волчек, Е. Евстигнеевым, О. Табаковым и др.). В 1978 г. гастролировал в Ленинграде.

[33] "Пиквикский клуб" по роману "Посмертные записки Пиквикского клуба" Ч. Диккенса, режиссер — Г. Товстоногов, художник — Э. Кочергин, премьера — 14.04.1978 г.

[34] Таммсааре Антон Хансен (1878-1940) — эстонский писатель.

[35] Тооминг Яан Освальд (1946 г. р.) — эстонский театральный актер и режиссер.

[36] Хермакюла Эвальд (1941-2000) — эстонский театральный актер, режиссер.

удовольствие и немалое потрясение. В общем, сейчас из театров Прибалтики самый живой — "Ванемуйне". Это не значит, что его спектакли всегда хороши (совсем нет, там они так накручивают, что и утром не разберешь, не только с вечера), но это интересно.

[...] Теперь, возвращаясь к делам житейским, хочу вас просить об одном одолжении. [...] Имея впереди ваш день рождения, напишите мне по-человечески (а не по-дамски, т. е. без жеманства), что бы вам подарить. Вы знаете, я не обладаю тут (только ли тут?) тонкостью, догадливостью и могу запросто прислать вам еще одну сорочку — в добавление к вашей дюжине. Если вы просто напишете, вы мне очень облегчите существование. [...]

Ленинград, 1978 г.

Дорогая Ирина!

Вы как-то тревожно молчите, — или это мне, встрепанной и тревожной, так кажется? Но я все-таки надеюсь, что у вас все благополучно! [...]

Зима надоела — ах, как надоела! Такая она беспощадная и затяжная в этом году, конца ей не видно, — морозы, снег, ветры. Так, как будто живем на далеком Севере, и никогда уже не будет солнца, моря, тепла и вообще ничего человеческого. Возмутительно! [...]

Была я в Таллинне и Тарту, видела Ирда и смотрела пару интересных спектаклей. Ирд постарел, похудел, но держится молодцом. Давал премьеру нового спектакля с Юри Ярветом, — это мало интересно, к сожалению. А вот на большой сцене "Ванемуйне" я посмотрела очень интересный и сложный спектакль Яана Тооминга по повести А. Таммсааре "Новый Нечистый из Пекла". Это — громада, выстроенная как притча о человеческой жизни, о бытии. Потрясает, подавляет, немного пугает, утомляет своей мощью и множеством деталей, накрученных, неверченых на остов таммсааровской повести. Но это очень талантливо, и через десяток лет Тооминг будет звездой советской режиссуры, а Тарту будет обеспечен зрителями и туристами еще на четверть века. Молодец Ирд, что поддержал его и защитил, и дал работу!

А в Таллинне видела "Пелеас и Мелисанда" Метерлинка — поставил некий финский режиссер[37], зеленая тоска и скука, — зачем все это, так и не знаю. И В. Пансо показал почти готовые два акта дипломного спектакля "Шесть персонажей в поисках автора" — это интересно по режиссуре, но актеры, конечно, не тянут.

[37] О ком речь, установить не удалось.

В апреле к нам, как я сегодня узнала, приезжает с двумя спектаклями Ж. Л. Барро[38]. Одновременно я узнала, что билеты уже достать нельзя... Надо сказать, что у нас на факультете в этом отношении удивительно недружный народ, никто ни о чем не сообщает, и тем более не заботится о билетах, каждый сам по себе. Приехал и театр им. Маяковского, я посмотрю пару спектаклей, а на большее, наверное, не будет времени, зашиваюсь совершенно с работой. [...]

Ленинград, зима 1978-1979 гг.

Дорогая Ирина!

Получила и письмо, и бандероль — спасибо за все! Право, дарить мне броши — это все равно, что петуху — жемчужное зерно! Ведь я так не умею все это приспосабливать к делу и, наверное, останусь в памяти ленинградских педагогов как — "ну, помните, та киевлянка, что одевалась как-то странно...". Еще раз спасибо, но я перед вами — в неоплатном долгу! Придется вам набраться терпения, авось и я что-то соображу, хотя для меня это — самая трудная задача!

Вернулась вчера из Тарту. Юбилей[39] прошел очень размеренно и точно (по времени), но как это все утомительно и обременительно! Ирд по этому поводу сказал две разумные вещи: что иногда надо устраивать в театре такие "театральные спектакли" и что это началась генеральная репетиция его похорон. И то, и другое справедливо. А когда в концертном зале, где был устроен банкет, я увидела его портрет на сцене среди горы цветов, то мне как-то стало даже нехорошо, — так это напомнило поминки после похорон.

Доклад мой прошел вполне благополучно, впервые читала по тексту, увидев, что так делает К. Каск[40], и это было лучше, т. к. короче. Люди говорили, что им понравилось. Но юбилейные тяготы оказались для меня все-таки чрезмерными, и я сбежала с банкета через 30 минут. Уезжала автобусом ночным, а начало банкета затянулось. Это опять-таки было неловко — я сидела за главным столом (было человек 300) и мне пришлось прошествовать через весь зал. [...]

Новые спектакли, которые показал Ирд, не очень интересны. "Пиквикский клуб"[41] — симпатично, но не более. Комической оперы не получилось, собственно комедийные линии оказались слабыми. Что касается

[38] Барро Жан-Луи (1910-1994) — французский театральный актер и режиссер.

[39] 14 августа 1979 г. К. Ирд отмечал свой 70-летний юбилей.

[40] Эстонский театровед, в соавторстве с Л. Тормисом и В. Паалме написал книгу "Эстонский театр" (М.: Искусство, 1978).

[41] Инсценировка по роману Ч. Диккенса "Посмертные записки Пиквикского клуба", театр "Ванемуйне", 1979 г.

второго спектакля — "Я пал в первое лето..."[42], то это очень интересно по содержанию, по мыслям, которые читает Хермакюла от автора (судьба эстонской армии в годы войны), но сценически скучно. Напоминает (хотя и лучше) "Прапороносцы" Гончара во Львове — живые картины войны.

В магазинах Тарту — ничего нет решительно. И хотя я не собиралась что-либо покупать, но огорчилась этим. Несколько огорчилась и тем, что из всех женщин, приехавших поздравлять Ирда со всех сторон, я одна не имела праздничного платья и осталась в приличном, но все-таки рабочем костюме. Надо бы что-то соорудить! Но самой мне нельзя этим заниматься, т. к. будут выброшены деньги неведомо на что. Тут мне вчера принесли второй стеллаж и содрали с меня такую сумму, что у меня даже настроение испортилось! А сделали халтурно до последней степени!

Моя непрактичность, непонимание реальных свойств и качеств вещей стала меня в последнее время особенно огорчать (раньше этого нисколько не было!). А ведь поумнеть мне в этой сфере никак уже невозможно... Вот видите, и я о себе, — и как же иначе? [...]

В театрах тут еще не была. БДТ в октябре на неделю будет в Киеве с "Историей лошади"[43] и еще двумя-тремя спектаклями. Товстоногов репетирует "Волки и овцы"[44]. Открывается новый молодой театр под руководством талантливого человека Малыщицкого[45], — это приятно.

Ну, всего доброго! Будьте все здоровы и благополучны!

Целую крепко!
12 сентября 1979 г.

Дорогая Ирина!

В результате падения картины у меня повредилась машинка (побился корпус), и поэтому постараюсь быть краткой. Не сердитесь, ведь привычка — вторая натура, а я привыкла к небрежному писанию за машинкой и еще не научилась по-старому грамотно и выразительно писать рукой[46]. [...]

Была три дня в Тарту, Кампуса[47] еще не было, но принимали нас (меня

[42] "Я пал в первое лето войны" по запискам Ю. Пеэгеля, театр "Ванемуйне", 1979 г.

[43] См. прим. 26.

[44] Пьеса А. Островского, художник — Э. Кочергин, премьера — 11.03.1980 г.

[45] Малыщицкий Владимир Афанасьевич (1940-2008) — театральный режиссер, педагог, основатель Ленинградского самодеятельного театра "Студио" (1969 г., с 1980 г. — Молодежный театр, ныне Санкт-Петербургский молодежный театр на Фонтанке).

[46] Большая часть писем напечатана на пишущей машинке.

[47] Кампус Э.Ю. — эстонский театровед, долгое время прослуживший заведующим литературной частью театра "Ванемуйне".

и студентов) хорошо. Были встречи с Ирдом (привет вам, хотя время делает свое — что-то у него в голове забывается) и Хермакюлой, смотрели спектакли. Я собралась написать статью о Хермакюле, но еще нет уверенности, что получится[48], — все-таки мало я его видела и языковой барьер очень мешает, а он к тому же замкнут со мной и слова вытаскиваются из него с немалым трудом.

В праздники как раз думаю сесть и написать, если ничего не помешает. Вообще надо много работать: пришла из Киева с рецензиями (положительными) моя рукопись "Леся Украинка и А. Блок"[49], надо доработать, добавить небольшой раздел. Так что только бы не подвело мое здоровье (чувствую себя вполне сносно), а на май работы хватит.

Рада вашей поездке в Молдавию, это всегда освежает, да и для вас в этом особая прелесть. О "Докторе Стокмане"[50] слышала только, что получилось хорошо, а более ничего. Я рада этой постановке, потому что в прошлом году во всех театрах Прибалтики пропагандировали эту пьесу как первую производственную пьесу, страшно современную, но никто не внял моим объяснениям. Я тогда еще не знала о том, что Унгуряну[51] ее думал ставить. Рада, что не ошиблась. Ну, вот и все мои новости. Будьте здоровы и вполне благополучны "со домочадцы". Рада, что у вас все хорошо и все на ногах! Передайте мои приветы и добрые всем пожелания.

Целую вас крепко!

Дописано от руки:

Жаль, что побилась машинка, — очень, но если бы вы видели, какую славную женскую головку по мотивам Вермейера[52] написал Борис. Вольная копия получилась весьма привлекательней, но так как ни он, ни я не имели еще опыта с картинами в тяжелых рамах, то она сорвалась (хорошо, что не ночью!) и наделала беды. Если приедете в Ленинград, увидите и поверите мне, что это уже нечто профессиональное. [...]

28 апреля 1979 г.

[48] Вероятно, речь о статье: Кузякина Н. Эвальд Хермакюла // Театр. — 1980. — № 2. — С. 65-76.

[49] Кузякина Н.Б. Леся Украинка и Александр Блок: Литературно-критический очерк. — К.: Радянський письменник, 1980. — 167 с.

[50] Спектакль по пьесе Г. Ибсена "Враг народа" в Московском театре "Современник", режиссер — И. Унгуряну, художник — М. Китаев, премьера — 1979 г.

[51] Унгуряну Ион Спиридонович (1935 г. р.) — актер театра и кино, режиссер, в начале 1990-х — министр культуры Республики Молдова.

[52] Вермейер Ян Делтфский (1632-1657) — голландский живописец эпохи барокко.

Дорогая Ирина!

Так долго я ждала "человеческого" времени, чтобы написать вам письмо. Но пишу, так и не дождавшись оного, в суматохе и внутренней спешке оттого, что утопаю в работе и обязанностях, а времени и силенок нету-ти. Поэтому постараюсь быть краткой, и если в письме будет много опечаток, то не удивляйтесь, — тороплюсь.

Вопрос о моем заведовании кафедрой не вставал и не мог встать, т. к. мне этого не надо ни при каких обстоятельствах, состояние нервов мне этого не разрешает и при моей неучтивости и малой воспитанности ничего хорошего для дела бы тоже не было. Это просто ошибка тартусцев[53], которые решили, что должен же человек иметь какой-то важный чин. Словом, это все вздор. [...]

Да, вашу фразу о жизни, соответствующей моему возрасту и чину, я вполне понимаю: в глазах людей я уникальная дура и, очевидно, таковой в сущности и являюсь. Во всяком случае, в ближайшем окружении я заметила уже несколько покровительственное отношение к себе как к неудачнице и "тетере". Что попишешь? Так оно, по всей вероятности, и есть, еще в аспирантуре меня называли "дурна розумниця", а с тех пор я не поумнела. Скорее наоборот, т. е. то испытание благополучием, о котором вы толковали и которое меня до крайности испугало в Одессе (это была одна из причин нашего отъезда, тоже немаловажная), меня давно отвратило от "соответствий чинам" и пр., так что с этой точки зрения мне легче помереть под забором, нежели в процветании. Придется вам с этим тоже примириться.

Об Ирде вы сокрушаетесь вполне напрасно, т. е. всякий старик бедный, как "беден" всякий старый человек, потому что жизнь — ушла. Вам этого еще просто не понять, но все придет в свое время. [...] Но ведь тут тоже ничего не сделаешь, т. е. у каждого складывается судьба так или иначе по совокупности обстоятельств, и из круга этих обстоятельств, как правило, вырваться очень трудно. Очевидно, трудно и вам круто изменить свою жизнь и заставить себя пойти на некие компромиссы, да и кто знает — стоят ли они того? По-всякому худо и я, право, не знаю, какие судьбы лучше и кому можно было бы позавидовать?

Приехать в Одессу мне очень хочется, и я думаю подать заявление на июнь — на Дачу Ковалевского, в наш Дом творчества. Ну, посмотрим, как будет. [...]

[53] "Тартусцы" — имеются в виду сотрудники легендарного эстонского Тартуского университета (основан в 1632 г.).

Ну, всего вам доброго. Целую крепко, всем приветы. Пойду завтра на выставку Глазунова[54], у нас бум — немыслимый, а Борис ругается...

18 октября 1979 г.

Дорогая Ирина!

В Вашем письме слишком много благодарностей, а все это решительно не стоит их. Хотя, естественно, я рада, если вам все пришлось по вкусу и к делу[55]. [...]

В Москве я действительно была четыре дня, но посмотрела два спектакля — "Иванова" во МХТ'е и "Ревизскую сказку" на Таганке[56], как видите, все старое. Таганка интересна, а МХТ — нет. "Иванов" у нас в Пушкинском[57] поставлен принципиально не хуже, и Горбачев играет и переживает вполне серьезно, без дураков. Смоктуновский[58], увы, стар и играет тоже старость, угасание человека, а ведь вся соль в том, что Иванову у Чехова — 35 лет!

А вот из Москвы я поехала в Польшу (получила приглашение). Пустили Дуньку в Европу! Как истая Дунька, я, конечно, немного занялась барахлом (денег было мало, а там — дорого). [...]

Была — в Варшаве, Кракове и Гданьске. Самое сильное архитектурное впечатление — отлично восстановленный и отреставрированный центр старого бюргерского Гданьска, это замечательно. Варшава новая — мало интересна: наши серые массивы, и еще более серые, чем у нас. Восстановленная старая неплохо, но центр Вильнюса, например, не намного хуже. Краков — мил и приятен. И, конечно, все это надо смотреть летом, когда оно в зелени и цветах. А цветов в магазинах, да каких разных, — у нас таких даже и нет!

Была трижды в театрах, видела один отличный спектакль — "Полет над гнездом кукушки" в театре Повшехный (реж. Гюбнер)[59]. Но это надо рассказывать, фильм по этой же инсценировке (Формана) получил

[54] Глазунов Илья Сергеевич (1930 г. р.) — русский живописец. В 1979 году у И. Глазунова была персональная выставка в Ленинграде.

[55] Речь о "бытовых мелочах" — подарках, отосланных Н. Кузякиной в Одессу.

[56] "Иванов" А. Чехова, режиссер — О. Ефремов, художник — Д. Боровский, премьера — 26.12.1976 г.; "Ревизская сказка" из произведений Н. Гоголя, режиссер — Ю. Любимов, художник — Э. Кочергин, премьера — 9.06.1978 г.

[57] Российский государственный академический театр драмы им. А. Пушкина (Александринский театр), спектакль "Иванов": в заглавной роли И. Горбачев, режиссер — А. Сагальчик, художник — М. Китаев, премьера — 1978 г.

[58] Смоктуновский Иннокентий Михайлович (1925-1994) — российский актер театра и кино.

[59] "Полет над гнездом кукушки" по роману К. Кизи, театральная адаптация Д. Вассермана, Театр Повшехный в Варшаве (ныне Театр повшехный им. З. Гюбнера), режиссер — З. Гюбнер, художник — К. Вишняк, премьера — 30.06. 1977 г.

в США пять Оскаров[60]! И он был в афише кинотеатров, но так получилось, что посмотреть не смогла, да и не очень стремилась, не хотела смыть впечатление от сильного спектакля.

Что касается летних планов, то я никак не могу решить для себя — что мне делать, хотя уже пора. Все еще пребываю в раздумии: если я поеду в Одессу, у меня уже не хватит пороху на Миргород, между тем мне там хорошо, и моему кишечнику (пардон!) тоже. Поеду в Миргород — уже явно не попаду в Одессу, где мне тоже хорошо и так хочется всех вас увидеть!

Подумаю еще немного! Всего вам доброго и всем приветы!

16 февраля 1980 г.

Милая Ирина!

Вот я вернулась из Москвы и открыла, как говорила Леся Украинка, "фабрику писем". [...]

Очень сожалею, что вы не попали в Москву, хотя понимаю, что отдохнуть на море — это тоже дело. Грузины привезли четыре спектакля: "Меловой круг", "Ричарда", "Синие кони" (пардон, красные кони?..) и "Роль для начинающей актрисы"[61]. Последнее — профессиональная демонстрация режиссерского умения пользоваться всеми зарубежными штампами, которые у нас сходят за открытия. С "Красными конями..." получился конфуз: их сняли с репертуара после первого спектакля. Начальство было испугано до крайности. Я бы не стала снимать спектакль, но Шатров в нем действительно вывернут наизнанку, звучание и колорит — мрачный, безысходный. Ленина (его играют три актера, никаких попыток портретного сходства, они могут находиться на сцене одновременно) окружают наглецы, приспособленцы, дураки — ни одной светлой личности, за исключением Оцупа и Цюрупы. Клара Цеткин — сексуально взвинченная кокетка, Сапожникова изгоняет Ленина из его кабинета, садится за его стол и объясняет ему, какой он дурак. Он почему-то не понимает и терпеливо, во всех трех своих обличьях, слушает и пытается вразумить ее. Было от чего испугаться...

"Ричард" — хорош и интересен. "Меловой круг" — блистателен, безупречен и демонстрирует редкое театральное совершенство. Вот так. Сту-

[60] Экранизация одноименного романа К. Кизи, режиссер — М. Форман, на экраны вышел в конце 1975 г.

[61] "Кавказский меловой круг" Б. Брехта, режиссер — Р. Стуруа, художник — Г. Месхишвили, премьера — 12.09.1975 г; "Ричард III" В. Шекспира, режиссер — Р. Стуруа, художник — М. Швелидзе, премьера -11.02.1979 г.; "Синие кони на красной траве" М. Шатрова, режиссер — Р. Стуруа, художник — Г. Месхишвили, премьера — 22.04.1980 г.; "Роль для начинающей актрисы" Т. Чиладзе, режиссер — Р. Стуруа, художник — М. Чавчавадзе, премьера — 14.01.1980 г.

руа[62] уже очень высоко котируется на международной театральной бирже, он только вернулся из Дюссельдорфа, где ставил "Как вам это понравится" Шекспира. Одеты грузинки сногсшибательно, в открытых бархатных платьях (у вас уже есть? какого цвета?) или в бархатных костюмах и пр. Да, вот так — признак паблисити — бархат и вельвет. Что говорит на этот счет Одесса?

Из Киева мне сообщают, что вышла моя "Леся и Блок"[63]. После того, как все это было изрезано в верстке, радости у меня нет. Но есть некое облегчение, — хорошо, что это как-то кончилось, а немного денег — тоже не повредит. Прислать вам ничего не могу, т. к. не видела и ничего не имею, завишу тут от Киева, а когда пришлют авторские — один бог знает.

В Москве нам вернули на последнюю доработку сборник Курбаса[64], — надо в новом году сделать окончательно, и уже выделен редактор. Так что дело движется, хотя и работы порядочно (летом я в Киеве накопала кое-каких мелочей). Кроме театров была там (в Москве. — **Прим. сост.**) только в Манеже — на зональной выставке московских художников. Мне кажется, что по общему тону это лучше, чем в прошлые годы. А у нас сейчас испанцы[65], вчера с Борисом мы их посмотрели — хорошо! Венская выставка тоже обещается приехать к нам.[...]

Ну, вот и все наши новости. Собиралась я поехать в октябре в Среднюю Азию, но пока откладываю, — надо сдавать плановую работу и нет возможности уехать надолго. Но! Если вы соберетесь в Москву, постараюсь приехать. Понимаю, что мои обещания тут немногого стоят, но все же...

Целую вас! Привет всем и добрые пожелания! Пишите!

25 сентября 1980 г.

Милая Ирина!

Ваше письмо меня очень растрогало, что со мной случается не так уж часто. Спасибо вам за вашу теплоту, за искренность чувства и вообще за то, что вы существуете, да еще и приехали! Ведь жизнь становится все бедней привязанностями и так ценится то, что способно выстоять под раз-

[62] Стуруа Роберт Робертович (1938 г.) — всемирно известный грузинский театральный режиссер, художественный руководитель Тбилисского национального театра им. Ш. Руставели.

[63] См. прим. 49.

[64] Курбас Л. Статьи и воспоминания о Л. Курбасе. Литературное наследие / Редколл.: Н. Кузякина, И. Драч, Л. Танюк; Сост. М. Лабинский, Л. Танюк; Предисловие Н. Кузякиной; Перев. с укр. Л. Танюк — М., 1987. — 463 с.

[65] Имеется в виду выставка испанских художников.

рушительным напором времени, да и при таких расстояниях! И ваша "болтливость" при моей достаточно молчаливой жизни — это очень большое достоинство! [...]

Вчера отправила вам книжечку[66], о которой уже не распространяюсь. А вот о приезде зимой очень надо бы подумать! Но тут надо все хорошо сообразить во времени и пространстве. Еще не думала, т. к. до нового года должна положить на стол плановую работу плюс сборник Курбаса в Москву отправить. Работы так много, — что я уже даже не огорчаюсь, и не очень работаю. А вот завтра вместе с соседкой поедем на рынок покупать шерсть, — так что подготовка к приезду в Одессу уже начинается...

Еще раз спасибо вам за все! Спасибо и Борису Александровичу, — его нравственная порядочность всегда была для меня образцом.

Привет Берте Яковлевне! И будьте все здоровы! Целую!
8 ноября 1980 г.

Милая Ирина!

Заочница из Одессы сказала мне, что вы встревожены отсутствием сведений обо мне. Да, я долго молчала, написала вам уже два письма (одно писала в Горьком, второе — здесь). Надеюсь, что вы оба уже получили... Я замотана, и вообще уставшая смертельно, но осталось до отпуска уже совсем немного. Мне было хорошо, что стояла весь месяц прохладная погода, — не тянуло никуда. А вот сейчас вдруг ударила жара, собралась летняя гроза (а вчера еще ходили в двух свитерах!). И стало совсем невмоготу! Но уже скоро... [...]

Особых новостей у меня нет, хотя, как в каждой жизни, есть свои огорчения и радости. Прочитала (наконец!) Ч. Айтматова, дни думаю о том, как точно найдена эта формула — "манкурт"[67]. Да, для нашего времени эта фигура так типична и так широчайше распространена — в различных ее вариантах. Век манкуртов!..

Приехал к нам на гастроли Курский театр под руководством вашего Бортко[68], посмотрела "Дядю Ваню" — ах, как красиво и как безвкусно! Такое себе типическое дурновкусие. И еще приехал белорусский театр, но не

[66] См. прим. 49.

[67] Манкурт — согласно роману Ч. Айтматова "И дольше века длится день" ("Буранный полустанок", 1980), это пленный человек, превращенный в бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину и не помнящее ничего из прошлой жизни.

[68] Курский государственный драматический театр имени А. Пушкина, с 1976 по 1981 гг. его возглавлял режиссер Владимир Владимирович Бортко (1924-1982). В свое время В. Бортко возглавлял Одесский русский драматический театр, поэтому Н. Кузякина, обращаясь к И. Шайкевич, пишет "ваш Бортко".

Купаловцы, — а им. Якуба Коласа[69]. Показали еще не все, первый спектакль — "Сымон-музыка" — приятен. Молодежный театр собирается выпускать "Монологи" Володина, как это будет, не знаю.

Ну, пока всего хорошего.
Приветы всем и добрые пожелания!
Целую вас.
26 июня 1981 г.

Дорогая Ирина!

[...] Тоже давно вам не писала по причинам разнообразным: суета одолевает, весна плохо действует, на несколько дней ездила в Москву. Там в издательстве "Искусство" неприятности со сборником Курбаса, Госкомиздат утвердил в плане 30 листов, а было — 40 (реально получилось — 45). Теперь из 45 надо сделать — 30. И многие другие сложности, о которых писать долго и неинтересно. Побывала опять на Таганке, посмотрела старое ("Тартюф", "Пугачева") и опять "Три сестры"[70]. Замечательный спектакль! При всех сложностях и эпатирующей брехтовской непривычности — такой русский, такой открыто горький... [...]

Была вчера на спектакле любопытного театра — кукольного музыкального из Италии ("Пикколи ди Подрекка")[71]. Удивительные марионетки — почти в рост человека, мастерство — поразительное, совершенно забываешь, что перед тобой — куклы. А в понедельник пойду еще на спектакль итальянского театра (драматического) — показывают "Лжеца" Гольдони (этой пьесы нет у меня в двухтомнике, я не знаю, что это такое) в здании, где нет трансляции перевода. Что это будет — понятия не имею, и билеты — по 4 рубля, студенты не могут себе позволить такую роскошь.

Вот, как видите, вроде жизнь весьма наполнена всякими и разными впечатлениями и даже развлечениями, и жаловаться не приходится. А с другой стороны, — ощущение усталости и невозможности спокойно

[69] Имеется в виду не Национальный академический театр имени Янки Купалы, а Белорусский государственный академический театр имени Якуба Коласа; "Сымон-музыка" — поэма Якуба Коласа.

[70] "Тартюф" Ж.-Б.Мольера, режиссер — Ю. Любимов, художники — М. Аникст, С. Бархин, премьера — 4.11.1968 г.; "Пугачев" по поэме С. Есенина, режиссер — Ю. Любимов, художник — Ю. Васильев, премьера — 17.11.1967 г.; "Три сестры" А. Чехова, режиссер-постановщик — Ю. Любимов, режиссер — Ю. Погребничко, художник — Ю. Кононенко, премьера — 1981 г.

[71] "Пикколи ди Подрекка" (Piccoli di Podrecca) — итальянский театр марионеток, основанный в 1914 в Риме музыкальным критиком и журналистом В. Подреккой.

сесть за стол и писать то, что ты хочешь, — ощущение тягостное и раздражающее. Вот в таком комплексе и живу.

Рада, что Унгуряну как-то пошел вверх, о нем стали больше сообщать, показывали по телевидению. Но кто вернет этому человеку годы, в которые он должен был работать на молдавской сцене? Горько за него и больно.

Спасибо большое Борису Александровичу за открытку и приглашение в Одессу! Не знаю, получится ли в этом году. Очень рада была бы вас всех увидеть, посидеть за столом, потолковать о том, о сем, — годы наши убегают быстро-быстро. Посмотрим, как все уляжется.

Крепко вас целую! Приветы всем и всяческие пожелания по случаю весны и Первого мая, которое уже на носу!

18 апреля 1982 г.

Милая Ирина!

На большое письмо, увы, надежды нет: хвораю (радикулит, которого еще никогда не было, — соли!), институтская суета, еду 5-го в Киев — сестре 70 лет, затем будет три недели страшной свистопляски. Так что если вы очень подождете, то я "разрожусь" письмом. "Дядя Ваня"[72] хорош, — Басилашвили[73] отличный актер, Лебедев-Серебряков[74] — несколько комикует, тусклый Лавров[75]-Астров — с ленинскими жестами и интонациями. Очень хороша молодая Соня-Шестакова (жена Додина)[76], и линия ее отношений с Астровым удивительно прочитана Товстоноговым. Хорошо оформил Кочергин. Но! По общему типу и тону — "Дядя Ваня" в БДТ и в театре им. Франко[77] — спектакли одного класса! Меня это радует чрезвычайно, Ивченко[78] — несравнимо лучший Астров (да и Басилашвили — значи-

[72] "Дядя Ваня" А. Чехова, БДТ, режиссер — Г. Товстоногов, художник — Э. Кочергин, премьера — 21.04.1982 г.

[73] Басилашвили Олег Валерианович (1934 г. р.) — русский актер театра и кино, с 1959 года и по сей день работает в БДТ.

[74] Лебедев Евгений Алексеевич (1917-1997) — русский актер театра и кино, с 1956 года работал в БДТ.

[75] Лавров Кирилл Юрьевич (1925-2007) — русский актер театра и кино, с 1955 года работал в БДТ. После смерти Г. Товстоногова с 1989 года был художественным руководителем БДТ.

[76] Шестакова Татьяна Борисовна (1948 г. р.) — русская актриса театра и кино, с 1981 по 1984 годы работала в БДТ. Додин Лев Абрамович (1944 г. р.) — один из выдающихся российских режиссеров, с 1979 и по сей день работает в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

[77] "Дядя Ваня" А. Чехова, Театр им. И. Франко, режиссер — С. Данченко, художник — Д. Лидер, премьера — 5.03.1980 г.

[78] Ивченко Валерий Михайлович (1939 г. р.) — украинский и российский актер театра и кино, с 1978 по 1983 гг. работал в Киевском академическом театре им. И. Франко, с 1983 и по сей день работает в БДТ.

тельней, серьезней Лебедева). В целом спектакль БДТ лучше, но — не принципиально, а просто естественным уровнем (чуть-чуть, немного — но в значительных местах) культуры.

Более интересных новостей нет. С весной вас! Привет всем! Целую крепко.

29 апреля 1982 г.

Милая Ирина!

Я не поблагодарила вас за мартовский подарок, — спасибо! Самое смешное, что я тоже приготовила вам баночку того же крема, — а теперь двух банок мне хватит ровно на два года! С тех пор, как косметика стала дорогой, она свободно лежит, все набрались и успокоились. Впрочем, так и со всем, — впервые в эту зиму нет очередей за лимонами и апельсинами, ешь — не хочу...

Март у меня был очень суетливый, приехали на гастроли франковцы[79], надо было хоть на пару дней поехать в Вильянди на эстонский фестиваль классической пьесы. Я успела посмотреть четыре спектакля: "Живой труп"[80] в театре им. Кингисеппа (плохо, но дали премию), "Войцек" Бюхнера в театре "Угала" (хорошо, ставил Петерсон), интересный спектакль (второе действие похуже), "Господин Пунтила и его слуга Матти"[81] ("Ванемуйне", Хермакюла) и "Оптимистическая трагедия" в Молодежном (Комиссаров, первый вариант)[82] — обнаженная публицистика, но художественно — неважно. К сожалению, я должна была уехать раньше, чтобы попасть на обсуждение спектаклей франковцев, и не увидела самого лучшего, как мне сказали, — спектакля Тооминга "Народная война".

Франковцев обсуждали, в общем, неплохо, хотя, конечно, ленинградский снобизм давал себя знать. А в театре два очень интересных спектакля: блистательно получилась комедия "Моя профессия — гость из высшего общества"[83] (замечательный В. Ивченко, я насмеялась на многие последующие годы, потому в Ленинграде — не посмеешься) и удивительно культурный "Дядя Ваня"[84]. [...]

[79] "Франковцы", то есть труппа Киевского театра им. И. Франко.

[80] "Живой труп" Л. Толстого, Эстонский государственный академический театр драмы им. В. Кингисеппа.

[81] "Господин Пунтилла и его слуга Матти" Б. Брехта, Третья студия "Ванеймуне", режиссер — Э. Хермакюла, художник — Э. Ыунапуу, премьера — 1981 г.

[82] "Оптимистическая трагедия" В. Вишневского, Государственный эстонский Молодежный театр (с 1992 г. — Таллиннский городской театр), режиссер — К. Комиссаров.

[83] В репертуаре театра спектакль назывался "Моя профессия — синьор из высшего общества" по пьесе Д. Скарначчи, Р. Тарабузи, режиссер — В. Оглоблин, художник — Ф. Нирод, премьера — 12.11.1981 г.

[84] См. прим. 77.

Борис принес каталог "Экспрессионисты", вышлю вам.

Теперь много работы и думаю уже сидеть дома. Надеюсь, что все у вас хорошо. Приветы всем и добрые пожелания!

Целую вас!
19 марта 1982 г.

Милая Ирина!

Открытки Вашей нет и вообще у меня такое впечатление, что кто-то дал приказ всю почту, идущую на мое имя, уничтожать. Понимаю, что допущение вполне фантастическое, но количество писем, которые я не получила, уже переходит в какое-то качество. Сейчас почта — мой личный враг, потому что разорвались все связи с "зарубежным миром", и ниточки рвутся буквально на глазах. Как-то в "Известиях" была статья о том, что в Шереметьево, где-то под забором, валяются мешки выброшенной корреспонденции. Не сомневаюсь, что примерно так же поступают не только в Шереметьево, — выбрасывают мешками, чтобы не трудить себя доставкой. И если бы у нас действительно существовало общественное мнение, то давно бы уже у всех почтамтов стояли пикеты с требованием отставки министра и бойкота почтовых отделений...

Вот видите, сколько еще энергии находится у человека, когда его теснит время!

Голос Ваш, когда мы говорили последний раз, был тусклый. И все, что Вы не можете и не хотите сказать, — все понимается. Судьба так несправедлива! Почему именно Вы должны хворать? Ведь Вы последнее десятилетие вели жизнь в своем роде образцовую: естественно устоявшийся режим, необременительный для Вас; конечно, первоклассное питание, исключающее какие-либо излишества. Тишина в доме, ощущение покоя и достатка в семье. Налаженная жизнь родителей, слава богу, без особых встрясок. На фоне множества неустройств я радовалась Вашему простому человеческому счастью, Вы держались в такой замечательной физической форме, что глаз получал удовольствие, а душа отдохновение.

От всей души желаю Вам, чтобы это, заслуженное трудом Вашей души, состояние вернулось к Вам, и чтобы все курсы лечения окончились благополучно!

Что касается наших отношений, то в них, конечно, произошли свои изменения, в которых никто не виноват. Наш враг — время. И та возрастная разница, которая скрадывалась ранее, теперь проступила с полной опре-

деленностью. Я — уже старый человек[85], в этом году мне добровольно уступают место в метро. И старость моя внешне не очень хороша, я плохо вижу, плохо слышу, склеротические заскоки дают себя знать и в способе мышления. По старой терминологии я — старуха, хотя и моложавая, и даже молодящаяся. А Вы — еще только-только подошли к пожилому возрасту, и стройность фигуры и души Вашей вообще как-то снимает вопрос о том, сколько Вам лет.

Вот жизнь и развела нас, как это и должно было быть. Приходится с этим смириться и только с благодарностью вспоминать, как славно было в давно уже прошедшие годы. И я признательна Вам за то, что Вы были столько лет — далеко, но близко, и я любила Вас и люблю, и теплота этого чувства сохраняется, как бы Вы на меня не сердились.

Пишу Вам, чтобы Вы не чувствовали никакой принудительной связи в наших отношениях. Они готовы сойти на нет, — значит, так и будет, так и надо. Вам не пишется — мне тоже, и ладно, и никакого насилия в обязательных связях и сообщениях. Все, что было, — оно же все равно с нами останется, никуда не девается, отсевается временное, а остается вечное — сочувствие, добро, сопонимание. А Ваша душа всегда была богата этими чувствами.

Видела я перед Новым годом на защите Розу Дмитриевну[86], она была в относительной норме. Но теперь мы встретимся неведомо когда — ни одной диссертации на защиту нет. Народ сугубо меркантилен, платят гроши — писать не будем, науку (какая уж она ни есть) — под стол.

Конечно, бытие определяет сознание. И я бы тоже хотела получать гонорар, который Украина уже не платит. Ведь в моем возрасте пишется уже трудно, и я смотрю на машинку с ненавистью. Но и тут ничего не сделать, и приходится покориться обстоятельствам, которые сильнее нас.

Будьте здоровы, дорогая! Привет Эдуарду Михайловичу[87] и родителям, неизменная симпатия ко всем...

Желаю Вам добра в Новом году!
8 января 1994 г.

Публикация Ирины ЧУЖИНОВОЙ и Виктора СОБИЯНСКОГО

[85] На этот момент Н. Кузякиной 65 лет.

[86] Копылова Роза Дмитриевна — доктор искусствоведения, автор многих статей, книг о кино и телевидении, близкая подруга Ирины Шайкевич, коллега Натальи Кузякиной по ЛГИТМиКу.

[87] Половинка Эдуард Михайлович (1939 г. р.) — муж Ирины Шайкевич, инженер, преподаватель Одесского национального морского университета.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

"Одесса. Лето..."

Персональная выставка живописи Александры Кадзевич, открытая в июне во Всемирном клубе одесситов, самим названием отвечала на многие вопросы, как бы предлагая микс из заявленных понятий: "Одесса. Лето. Джаз".

Мне говорили, что это "антипедагогично" — показывать персональную выставку работ студентки художественного училища, которой лишь 1 сентября исполнится 19 лет. Не воспринимаю арифметическую логику. Когда у художника, поэта, музыканта есть с чем прийти к людям, тогда и нужно открывать ему дорогу. Помешали ли Моцарту его ранние сочинения, Наде Рушевой ее иллюстрации, Самуилу Маршаку то, что в 15 лет он написал по предложению В. Стасова слова кантаты, музыку к которой сочинили композиторы А. Глазунов и А. Лядов?..

Что меня привлекает в живописи Саши Кадзевич? Живопись — одесская по восприятию мира. И дело не в том, что художница родилась в Одессе, важнее то, что она восприняла традиции. Когда-то Валентин Хрущ называл себя учеником Теофила Фраермана. Формальная логика подсказывает, что учитель умер раньше, чем мог брать уроки ученик. Но есть внутреннее, духовное наследование. И именно поэтому за Александрой Кадзевич выстраивается четкий, очень одесский ряд имен — Юрий Егоров, Валентин Хрущ, Татьяна Ищенко, Стас Жалобнюк...

Художница пишет не ностальгически романтичные одесские дворики. Она выхватывает взглядом старые дома, ее волнует трепетность плоти, разрушающееся, вот-вот исчезающее величие обожженного солнцем города. И в натюрмортах она задумывается о плотности материи, объединяя предметы не только цветом, но и светом, излучением обжитой вещи. И чтобы этого достичь, нужно работать над фактурой холста, ощущать, что рельеф в живописи уже сам по себе притягателен. Так, вместо сюжета создается новая тактильность, подсказывающая, что холсты можно не только считывать глазом, но и воспринимать на ощупь.

Не останавливаюсь на "джазовой серии", об этом собирался написать знаток джаза и живописи Феликс Кохрихт. Хочу лишь заметить, что в световом ливне одесского лета тоже есть джазовое начало. Так что всю эту выставку Александры Кадзевич можно было бы назвать — "Весь этот джаз".

Феликс КОХРИХТ

"Одесса ... джаз"

Продолжу заметки знатока живописи и литературы (комплименты нужно возвращать!) Евгения Голубовского. Уже много лет мы ведем с ним диалог если не о всех составляющих девиза выставки работ Саши Кадзевич, то о главной — об Одессе.

Среди городских пейзажей Саши есть портрет старого дома на Молдаванке. Удивительным образом эта работа 2010 года органично сочетается на стене моей квартиры с написанной Люсьеном Дульфаном почти пятьдесят лет назад. Запечатленный им дворик напоминает тот (Пантелеймоновская, 18), в котором жили Валик и Вика Хрущ...

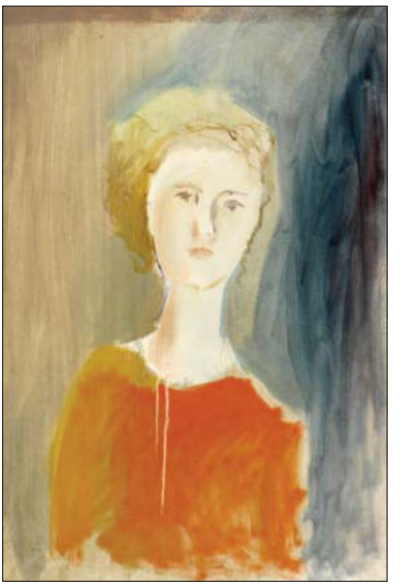
Здесь собирались художники, поэты, философы, актеры, в том числе — и легендарный Олег Соколов... Он был адептом ярчайших представителей авангардного синтетического искусства — Скрябина и Чюрлениса, экспериментировал в пограничных жанрах. В моей коллекции есть его "Джаз" — абстрактная композиция, в которой ощущаются ритмы би-бопа и его родоначальника Чарли Паркера.

Еще одна джазовая работа выполнена Ильей Шенкером. Она подарена мне Женей и изображает трио музыкантов из тех, кто когда-то играл перед сеансами в кинотеатрах.

И черный интеллектуал Паркер, и одесские "лабухи" — они из джаза, так же, как и герои фильма Шахназарова, в котором звучит голос Ларисы Долиной — ученицы Леди-джаз Татьяны Боевой... Случилось так, что накануне ее юбилея на открытие выставки Саши Кадзевич в ВКО заглянул маэстро Юрий Кузнецов и был буквально сражен ее работами, посвященными Джазу.

Признаюсь, так и не могу объяснить этот феномен, ответить на переиначенный светловский вопрос: "Откуда у Саши чикагский тот блюз?..". Каким образом ей удалось не только высокохудожественно, но и достоверно изобразить джазовых инструменталистов? К примеру, ее трубач, увиденный в одесском подземном переходе, здорово смахивает на великого Диззи Гиллеспи, а контрабасист держит инструмент, как Рон Картер... Но поразительнее всего то, что юная художница точно попала в "штатовский" стиль. Читателям старшего поколения понятно, о чем я веду речь, а молодежь отсылаю к недавнему фильму "Стиляги" — он хоть и не без изъянов, но все же в чем-то соответствует атмосфере джазовых и около кругов 50-х годов...










JAZZ


29
Юрій ТКАЧЕНКО
JAZZ
A. Kadzebev

Культовым и знаковым символом и тех лет, и тех сейшенов, и тех тусовок является мой друг — замечательный саксофонист, создатель "Арсенала", писатель Алексей Козлов. Он и сегодня — образец подлинного "штатовского" стиля. И дело не только в одежде (хотя и она важна), а в манере поведения — и в жизни, и на сцене, особом сдержанном шике и шарме... Тех же, кто хочет узнать об этом времени, отсылаю к блистательным романам Василия Аксенова, которых Саша пока не читала...

...И все же вернемся к Одессе как к одному из мест на планете, где джаз если не родился (хотя Леонид Утесов и утверждал это, скорее из патриотизма), но сразу же прижился и получил дополнительные краски в свою палитру.

Эти строки писались летом, скоро — в сентябре — состоится очередной международный Джаз-карнавал — детище Юрия Кузнецова и Михаила Фрейдлина. Недавно Саша Кадзевич собственноручно побелила стены в мастерской, которую арендует в доме на улице Юрия Олеши — вблизи Греческого моста, практически над портом. Олеша дружил с Бабелем, а тот в далеком 1939 году написал предисловие к автобиографической книге своего земляка Утесова.

Вот такой получился джазовый квадрат. Не черный, но и не белый.



Месть Калиостро

Почему не били Георгия Шенгели?

Думаю, очень многие из наших читателей впервые узнали о поэте Георгии Шенгели из романа К. Паустовского "Время больших ожиданий". Напомню, что однажды, как вспоминал Паустовский, на афишных тумбах Одессы появились афиши цвета разбавленного томатного сока с извещением, что на Пушкинской состоится большой вечер одесских поэтов. Через всю афишу большими буквами была оттиснута надпись черного цвета:

"В конце вечера будут бить поэта Георгия Шенгели".

Нужно ли сообщать, что билеты на вечер раскупили буквально в три часа. И хоть многим было ясно, что это не более чем литературная игра, а деньги собраны на благотворительные цели, вечер поэзии удался...

Воспоминания о Г. Шенгели оставили Ю. Олеша, А. Арго, В. Бугаевский, но и сегодня, через 90 лет после описываемых событий, имя Георгия Шенгели остается все еще не столь популярным, сколь он заслуживает.

Очень много для воскрешения, возвращения Георгия Шенгели в литературу сделал литературовед и поэт Вадим Перельмутер. Он издал большой том стихов Шенгели — "Иноходец", переиздал его скандальную книгу о В. Маяковском, из-за которой имя Шенгели на десятилетия было вычеркнуто из большой литературы.

Сейчас Вадим Перельмутер готовит книгу о Г. Шенгели, о его пребывании в Одессе и в Крыму, куда войдет его острый роман "Черный погон", стихотворения, не вошедшие в "Иноходец". В ходе подготовки этого издания была найдена считавшаяся утраченной совместная шуточная пьеса в стихах Э. Багрицкого и Г. Шенгели, которая была поставлена в одесском театре "Крот". Право первой публикации этой пьесы В. Перельмутер предоставил нашему альманаху.

Думаю, этот совместный плод творчества двух поэтов навсегда снимет вопрос, почему не били в Одессе на Пушкинской улице Георгия Шенгели.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Г.А. Шенгели в Одессе

В то незабвенное лето Гогену незачем было бы отправляться на Таити. С него вполне хватило бы Одессы. Голод и нищета довели ее экзотику до пароксизма, она излучала инфракрасное сияние. Город выглядел, как квартира после холостяцкой вечеринки или налета.

Мне было пятнадцать лет, и я упивался яркостью этих красок и сладчайшим безделием, возможным только в Полинезии. Нескольких месяцев достаточно было, чтобы я из респектабельного гимназиста превратился в оборванца: мои брюки еще недавно были шторами у нас в передней, с правой ноги у меня сваливался башмак с замшевым верхом, с левой — парусиновая туфля, тоже ставшая черной. При обычных обстоятельствах меня принимали бы за городского сумасшедшего, но тогда в этом городе щеголей и модниц все были одеты примерно так же, и поэтому никто друг за другом не бегал.

И вот однажды во время шатаний по городу, свернув с почти безлюдной Дерибасовской на уже совершенно пустую Преображенскую, я за квартал с лишним увидел трех шедших навстречу мне людей. Всё в них было поразительно, и прежде всего, — их несхожесть, их, казалось бы, несовместимость. Один высокий сутулящийся человек с головой, втянутой в плечи, в красной феске с роскошно ниспадающей черной кистью, в воротничке и галстуке (но без рубахи), английском френче и галифе болотного цвета с наколенниками из красного сукна (через несколько секунд я убедился, что такая же заплата красовалась сзади) и с пресловутой одесской обувью — деревяшками, заменявшими ему митенки, — шел спокойной свободной походкой гориллы, гуляющей по джунглям. Второй, маленького роста, казался бедно одетым студентом, и я не обратил бы на него внимания, если бы не его необычайной красоты большой лоб, нахмуренные брови и еще нечто, должно быть, одухотворенность, придававшее ему странное сходство с "маленьким капралом". Совсем иным был третий. Это был высокий очень красивый человек лет двадцати пяти с тонко очерченными греческими чертами лица, но все же не одессит. В нем было что-то подчеркнуто строгое, петербургское, интеллигентско-петербургское, профессорское, идущее вразрез с обликом его спутников. И одет он был не в духе времени, не по-одесски: черный костюм, крахмальная рубаха, крахмальный стоячий воротник, черный галстук. О южной браваде напоминали только бакенбарды, впрочем, аккуратно подстриженные (да и все в нем обличало аккуратиста), пробковый шлем, покрытый люфой (головной убор, почему-то называвшийся в Одессе "здравствуйте-досвиданья"), и то, что он тоже, хотя это ему было явно трудно и непривычно, шел босиком, держа в руках начищенные ботинки. Человек во френче что-то рассказывал, смеясь, "маленький капрал", как ему и полагалось, не слушал его и думал о чем-то своем, а третий, "петербуржец", трясся, я сказал бы, от заливистого беззвучного хохота. Я прошел мимо, и хоть картина этой случайной

встречи навсегда врезалась в память, мне и в голову не могло прийти, что через десять с лишним лет первый из них – Катаев – охарактеризует все, что между нами и с нами было, надписью на одной из подаренных мне книг: "на память о многом и разном"; что я стану одним из ближайших, неразлучных и, смею сказать, интимнейших друзей второго – Юрия Олеши, а третьему, Георгию Аркадьевичу Шенгели, буду обязан и своей профессией и любовью к ней, и привычкой к труду, без которой еще можно писать стихи, но переводить их невозможно.

Я признался уже почти во всем: мне было тогда пятнадцать лет, и я писал стихи. Вскоре я попал в одесский "Коллектив поэтов" и познакомился с теми тремя загадочными для меня незнакомцами, а также с Багрицким, Славиным, Ильфом, Бондариным, Тарловским, Бродским, Кирсановым и еще многими, ставшими писателями, и другими, навсегда оставшимися литературными чудаками.

Это был период становления той литературной школы, которую Шкловский потом окрестил "левантийской" (конечно, название – производное от Леванта, а не от достопочтенного Э.Е. Левонтина). Возникавшее левантийство было так же фанатично, так же сотрясаемо неистовыми страстями, как и всякая новая секта или религия. По прошествии лет, когда фанатизм ослабевает, а страсти утихомириваются, на многое смотришь иначе, но память, восстанавливая давние годы, восстанавливает и прежнюю точку зрения, подчас очень далекую от ваших теперешних мнений. Прошлое вступает в борьбу с нынешним, и в результате возникает снимок со смещенным фокусом. Даже добрейший Константин Георгиевич Паустовский, преисполненный добрейшими намерениями, стал жертвою этой аберрации памяти и допустил, говоря о прощальном вечере Георгия Шенгели в Одессе, кое-какие ошибки. Это же случилось и с другими, писавшими о том времени. Попытаюсь восстановить истину.

Я, должно быть, мальчишеским чутьем угадал еще при описанной мною первой встрече с Шенгели и его спутниками, что это люди, в чем-то различные не только по своим маскарадным, как у Катаева, костюмам. Их литературные пути расходились уже тогда и должны были впоследствии еще больше разойтись. Между романтизмом и классицизмом издавна пролегала пропасть. Левантийцы были романтиками, Шенгели – "классиком". Вдобавок левантийцы вели яростную борьбу против нескольких старых и, признаться, за немногими исключениями, мало талантливых провинциальных беллетристов-бытописателей, издавна живших в Одессе. А уж левантийцы, независимо от личной одаренности каждого из них, меньше всего было провинциалами, что они вскорости и доказали. Но и среди врагов наших были люди и талантливые, и почтенные (почтенность, впрочем, шла у нас со знаком минус). Многое сближало с ними приезжего Георгия Аркадьевича. Да ему и дела не было до наших одесских счетов. Но культура и широта взглядов сближали его и с Багрицким, и с Олешей, навсегда оставшимися с ним в добрых отношениях. И все же между ними была пропасть – и особенно глубокая для наиболее задиристого из старших левантийцев.

Так возникло то, что можно условно назвать литературным скандалом (а они в распаленной голодом Одессе возникали тогда легко и просто) на том вечере, о котором я упомянул.

Вот что было: Георгий Аркадьевич собирался уезжать из Одессы, и на отъезд, как легко себе представить, нужны были деньги. Как их мог принести литературный вечер, мне попросту непонятно. Я отчетливо помню, как незадолго до этого Багрицкий устроил свой вечер в помещении бывшего конфексиона Бродского. В кассе сидела его жена, Лидия Густавовна, так что никакой утечки и утруски средств быть не могло. После окончания вечера Эдуард взял у жены вырученные ею тридцать или сорок миллионов рублей и купил на них у бабы, торговавшей напротив фруктами, два кило слив. Это было всё. Конфексион помещался на углу Ришельевской и Греческой, пока мы толпою дошли до угла Ришельевской и Дерибасовской, ни слив, ни денег уже не было. Но разрыв между рыночными и твердыми ценами был таков, что два железнодорожных билета до Москвы могли стоить меньше двух кило слив.

Во всяком случае, в конце лета в городе появились афиши:

"Прощальный поэзо-концерт
Георгия Шенгели"

Поэзо-концерт — название, к которому Георгий Аркадьевич прибег, в основном, для сбора: оно и послужило причиной взрыва. Организатором его стал один из старейших левантийцев, подбивший на борьбу и Багрицкого.

К вечеру был выпущен первый и, кажется, последний номер газеты "Друг искусства". Он начинался передовой под заголовком "Измена". Я помню одну из фраз ее. "Это возврат от мраморных колонн Пушкина в москательную лавку Северянина". Северянин был ненавидим всеми нами как олицетворение безвкусицы, даже мной, еще три месяца назад яростно подражавшим его поэзам. Газета была размножена в количестве примерно двадцати-тридцати экземпляров на пишущей машинке. Для нее не пожалели большой неизвестно где добытый рулон пипифакса. Мальчишки были науськаны. Все было готово.

Поэзо-концерт состоялся в помещении бывшего банкирского дома З.Л. Ашкенази и начался выступлением артистки Тушмаловой. Она, как могла, прочитала "Александрийские песни" Кузмина. Потом должен был выступать еще кто-то, потом Владимир Нарбут, и в конце первого и второго отделения — Георгий Шенгели. Но одесские гамены были нетерпеливы и, не дожидаясь дальнейшего, уже во время чтения стихов Тушмаловой засвистели в четыре пальца, пошли визжать и улюлюкать. С амфитеатра посыпался "Друг искусства". Вскочил и что-то начал кричать Багрицкий, так жестикулируя, что вывихнул себе руку. И сразу стал похож на огромную птицу со сломанным крылом.

Георгий Аркадьевич вышел на эстраду, надеясь стихами успокоить бурю.

Трагические эха Эльсинора!.. —

начал он, но гаменами это было воспринято как северянинщина, и шторм поднялся с но-

вой силой. Тогда в дело вмешался Нарбут и своим надтреснутым хрипловатым голосом мгновенно заглушил разгулявшихся мальчишек.

После этого Шенгели прочитал множество стихотворений, его чтение не раз прерывалось аплодисментами. Вечер окончился мирно, если не считать возникшей уже на улице драки между Багрицким и очень милым и симпатичным человеком, поэтом Ч., который тоже должен был выступать и обиделся из-за того, что его выступление оказалось сорванным.

А через несколько дней на вокзале друзья – и их оказалось немало – провожали Шенгели и его жену. Среди провожающих были Марк Тарловский и я. Классическая муза уже побеждала в наших сердцах фею романтизма.

Владимир БУГАЕВСКИЙ

Сцена представляет собою уголок за трельяжем в зале Калистрова дворца. Доносится музыка. Калиостро смотрит сквозь ширмы в зал.

Калиостро:

Музыка два часа гремит,
И вот, с арапом два часа скользит.
Лилейну шею наклоняя
И пальчиками свой роброн
С лукавствием приподымая,
К арапу ластится. А он,
На монстра некого похожий,
Своею наваксенной рожей
Ей ухмыляется, пыхтит...
О-о. Непереносимый вид.
А я, мудрец, познавший книги
И тайны древние собрав,
Любови тягостной вериги
Влачу и не имею прав
Ни ручку не пожать воздушну,
Ни к башмачку ее припасть...
О, как пребыть мне равнодушно,
Когда сию я вижу часть,
Что негр ее душой владеет
И нежну ладошку ее

Своею дланию лелеет,
И страстна Хлоя не умеет
Сердечко уберечь свое...

Впархивает княжа Елена.
Следом за нею арап Ибрагим в мундире гвардейского офицера.

Ибрагим:

Сюда, любезная княжна.
Здесь, в тишине уединенной,
Уханьем розы напоенной,
Минута сладка суждена.

Княжна:

О, сколь приятно здесь. А все же
На ваших диких островах
Стократ приятнее...
(*Замечает Калиостро.*)
Мой Боже,
Сей человек внушает страх.
Как смотрит он. Какие взгляды
Он мещет...

Калиостро:

О, княжна, я рад
Вас не пугать. Пускай услады
Вас легким хором окружат.
Пускай, исполнена прохлады,
Речь Ибрагима зажурчит
Ручьем текучим. Пусть наяды
Хрустальный смех вас упоит.
А я — я ухожу: там гости
Меня зовут на краткий миг
(*В сторону.*)
Черт побери. Себе от злости
Готов я откусить язык.

Делая вид, что удаляется, прячется в складках занавесей.

Княжна:

Убрался сей волшебник старый.
О, Ибрагим, я так робка.
Я всюду чую злобны чары.
Его костлявая рука
Меня преследует незримо,
И я укрыться не вольна.

Ибрагим:

О, под защитой Ибрагима
Вы в безопасности, княжна.

Княжна:

Ах, ваша мощная ладонь...

Ибрагим (*обнимая княжну*)**:**

Не правда ли, она пылает.

Княжна:

О, друг, не тронь меня, не тронь;
В твоих объятьях сердце тает,
И некий сладостный огонь
Его любовно проницает.

Ибрагим:

Вот и чудесно.
(*Целует ее.*)

Калиостро:

Асмодей.
Они целуются. Злодей.
Нет. Должно мне ее избавить
От козней негра и направить
Ее любовь в пристойный путь.
Но как влиянье покачнуть
Широкогубого злодея?
Приди на помощь, колдовство.
С тобою сокрушить его

Незамедлительно сумею.
Пусть нежная душа княжны
Переселится в негра тело.
Она узнает, как гнусны
И плоть, и страсть его, и дело.
И что с араповой душой
Соделать мне? Куда я дену
Сей дух нелепый и глухой?
А... Вот. Я совершу подмену.
Пусть поменяются они
Своими душами на время.
(*Делает пассы и читает заклинания.*)
Трулу кашками барогани
Верьяматхобен мулу тремя
Паракомулу игадзушу
Иккимугалу зик динджир
Твою переселяю душу,
Твою... Гарбениум кабир.
Готово.
(*Исчезает.*)

Княжна и Ибрагим, кружившиеся во время пассов, как наглотавшиеся вишен из-под наливки птицы, падают на отдаленные стулья и погружаются в сон.
Входят друзья Ибрагима — Первый и Второй.

Первый:
Он, конечно, здесь,
В сетях пленительной любви
И пыжится.

Второй:
Пусть кинет спесь,
Присущу африканской крови,
Да сядем в ломбер. Ибрагим!
(*Расталкивает его.*)
Пойдем сыграем.

Ибрагим:

Ах, мой боже,
Продерзкий! Да на что похоже
Все поведенье ваше! Ах!

Первый:

Да не ломайся, что за чванство!

Ибрагим:

Непереносное буянство!
Но что я зрю? О хладный страх!
Мои в чем ноги?

Второй:

В чем? В штанах.

Ибрагим:

О небеса! Я упадаю
В беспамятстве. Воды, воды!

Первый:

Пора из радостного раю
Его исторгнуть. Но куды?

Второй:

Ведем его. Впервые вижу,
Что наш веселый Ибрагим,
Как будто пышному Парижу,
Штанам дивуется своим.
Ну что ж, и снять их можно, право...
(*Уводят Ибрагима.*)

Ибрагим (*исчезая*)**:**

О где моя девичья слава...

Молчанье. Входит мать княжны Елены, княгиня Непарнокопытная.

Княгиня (*заметив дочь, будит ее поцелуем*)**:**

Ты здесь, Еленочка, одна.
Устала, душенька, наверно?

Княжна:

Отдыди, гробовая скверна!
Сегодня пост. Иль ты пьяна,
Что лезешь с ветхим поцелуем?
Иной я страстию волнуем:
Где ты, любезная княжна?..

Княгиня:

О, дочь!..

Княжна:

Я — дочь? Сие ужасно,
Чтобы гвардейский капитан
Так поносим был. Иль я пьян?
Уйди, тебе быть здесь опасно!

Княгиня:

Да что с тобою, дочь моя?

Княжна:

Уйди! А что-то сухо в глотке!
Пришли сюда графинчик водки
Да пирога...

Княгиня:

Мешаюсь я.
Князь, князь!..

Входит князь Непарнокопытный.

Князь:

Что здесь за суматоха?

Княгиня:

Елена повредилась.

Князь:

Что?

Княжна (*вытаскивая у князя из жилетного кармана табакерку*)**:**

Да, табачку нюхнуть не плохо...

Князь:

Закрой, чтоб не видал никто.

Княгиня загораживает дочь фижмами.

Пошлет же бог такое чудо...
Скорей ведем ее отсюда!

Княжна:

О, Господи, на мне роброн!
Я драться буду! Страшный сон!
Куда моя девалась шпага?
Нет, изменяет мне отвага...

Князь:

Уймись, Елена!

Княжна:

Семь чертей
И восемь ведьм вам в зубы!

Княгиня:

Дочка,
Слова какие! Ей-же-ей,
Мешаюсь я...

Княжна:

Молчи ты, квочка!
Спасите! Ой, ко мне, друзья!

Князь:

Тащи ее, жена моя.

Утаскивают княжну. Появляется Калиостро.

Калиостро:

Все рухнуло: душа Елены,
Что в черном теле пленена,
Плодов не узрит перемены.
В руках товарищей, пьяна,
Она безумствует, страдает,
И Ибрагим ей вдвое мил,
И южноафриканский пыл
Ее любовь вдвойне вздувает.
Ах, я, дурак, понять не мог,
Что тело нежное Елены,
Арапским духом напоено,
Удвоит сладострастья ток.
Ах, я, дурак...

Вбегает Ибрагим, весь в слезах.

Ибрагим:

Спасите: там
Они в меня коньяк вливают,
Табачным дымом окуряют.
Что, если разгласится срам?!

Вбегает княжна.

Княжна:

С поносной не мирюсь судьбою.
Они меня, как дурака,
Святой, но трезвою водою
Опрыскивали с уголька.

Вбегают князь и княгиня.

Князь:

Она опять сюда сбежала,
Ужели прежнего ей мало!

Княгиня (*замечая Калиостро*)**:**

О, добродетельный Жозеф,
Вы — маг, блистательный и тонкий,
Небесный отвратите гнев
От сей свихнувшейся девчонки!

Вбегают друзья Ибрагима.

Первый:

Он здесь! Держи его, хватай!

Второй:

Черт! Он кусается! Ай-ай!..

Ибрагим:

Неопытну спасите деву!

Первый:

О, граф Жозеф, не дайте гневу
Небесному его пожрать!

Княгиня:

Исполните! Вас просит мать...

Калиостро:

Согласен. Но одно условие:
Елена с нежною любовью
Облобызает пусть меня, —
Тогда их расколдую я.

Ибрагим:

Согласна!

Кидается на шею Калиостро и целует его.

Калиостро:

Отвяжись, арап!
(*Подходит к княжне.*)

Княжна, ваш преданнейший раб,
Не возмущаясь, не ревнуя,
Покорно просит поцелуя.

Княжна:

Отыди, мерзкий шарлатан!
Чтобы гвардейский капитан
С мужчиной поцелуи тратил!..

Калиостро:

Нет. Видно, я совсем уж спятил
От буйных треволнений сих.
Расколдовать их нужно ране.
(*Делает пассы.*)
Лулувикос гарем лабих
Лотопрем эманаско хани.
Готово.

Княжна:

Ах!

Ибрагим:

О, сколь приятно:
Моя душа пришла обратно.

Калиостро:

Ну, князь, уж коль на то пошло,
Елену выдать замуж надо.

Ибрагим (*устремляясь к княжне*)**:**

Моя небесная услада!

Княжна:

Так нас несчастье сопрягло.

Князь (*разводя их*)**:**

Еще подумать надо.

Калиостро:

Бросьте!
Чего там думать! Поскорей
Вы повенчайте сих детей,
Да и меня зовите в гости.

Князь:

И то резон.
(*Благословляет Елену и Ибрагима.*)

Калиостро:

Теперь, друзья,
Вас всех благословляю я.
(*Поет.*)
Моя любовь, Елена,
Безмерно велика:
Вас с негром съединила
Влюбленного рука.

Князь (*поет*)**:**

Что ж, если все прилично,
Доволен и отец.
Идите в церковь, дети,
Принять святой венец.
Да будет вам судьбина,
Как нежный пух, легка:
Ведь вас соединила
Влюбленного рука!

Княгиня (*поет*)**:**

О, капитан, храните
Сокровище мое,
Она хоть своенравна, —
Лелейте все ж ее.
Поранила любовью
Вас тетива стрелка,
И к браку привела вас
Влюбленного рука!

Друзья (*поют*)**:**

Оставлен пунш горячий,
Забыт зеленый стол,
И капитан гвардейский
Благой приют нашел.
Так поцелуй, товарищ,
Уста нежней цветка:
Ведь вас соединила
Влюбленного рука!

Ибрагим, Княжна (*поют*)**:**

Нам розами Купидо
Устлал тернистый путь,
Уста он свел с устами
И с нежной грудью грудь.
И наша страсть, волнуясь,
Как море широка:
Ведь нас соединила
Влюбленного рука!

Все (*поют*)**:**

О счастье, о радость,
О неги, о покой!
К нам Гимен сладкогласный
Привел восторгов рой.
Так радуемся ж вместе:
Спокойна и легка
Вас, дети, съединила
Влюбленного рука!



Неосуществленные фильмы Михаила Каца

В прошлом году в Одессе отмечали 65-летие со дня рождения талантливого кинорежиссера Михаила Каца. Его уже семь лет нет с нами, а его фильмы, такие, как "Навеки — девятнадцатилетние", "Пустыня", "Хромые внидут первыми", живут в памяти тех зрителей, кто видел их в годы их создания, продолжают волновать современного зрителя.

Михаил Семенович Кац был не только режиссером-постановщиком, не только художником-постановщиком, но и автором сценариев многих своих фильмов.

В трудные девяностые, когда кинематографисты остались без работы, у Михаила Каца остались неосуществленными фильмы, которые он задумал.

В архиве его жены, актрисы Карины Шрагиной-Кац сохранились заявки-синопсисы (по сути, литературные миниатюры), написанные и предложенные тогда М.С. Кацем киностудиям страны.

Уверен, что и сегодня, спустя годы, они будут с интересом прочитаны читателями нашего альманаха.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

"Ворон"

Проект художественного фильма по мотивам произведений Эдгара По и Ф. Кафки.

И сидит, сидит над дверью Ворон, оправляя перья,
С бюста бледного Паллады не слетает с этих пор;
Он глядит в недвижном взлете, словно демон тьмы в дремоте,
И под люстрой, в позолоте, на полу, он тень простер,
И душой из этой тени не взлечу я с этих пор.
(Эдгар А. По. "Ворон" 1844-49 г.)

Литературная основа

Литературным материалом для будущего фильма должны послужить рассказы американского писателя первой половины 19 века Эдгара По — "Колодец и Маятник", "Бочонок Амонтильядо", "Система доктора Смоля и профессора Перро", "Король Чума" и др.

Кроме того в общую ткань фильма предполагается вплести новеллу Франца Кафки "Исправительная колония".

Подобный выбор литературной основы обусловлен, с одной стороны, давней моей любовью к творчеству упомянутых выше писателей, с другой стороны, выбор определен концептуальными соображениями.

Человеческая душа, как стрелка компаса, беспрестанно вибрирует между двумя полюсами, "Бог" и "Дьявол", "добро" и "зло".

Все чаще и чаще чаша весов склоняется в сторону зла.

Почему?

Зло дает плоды быстро.

Плоды конкретны, осязаемы.

Чтобы собрать урожай, достаточно одной жизни.

Добро прорастает лишь по времени, и на отрезке одной жизни невозможно вкусить его плодов.

В первом случае срабатывает убедительный личный опыт.

Второе возможно, лишь если признать опыт чужой, отвлеченный, отчужденный временем.

Вечная трагедия человеческой души — выбор между "Богом" и "Дьяволом", — вот предмет предлагаемого мною фильма, предмет, на мой взгляд, единственно достойный рассмотрения.

Конструктивный принцип фильма — преодоление героем ("Путешественником") бурного водоворота карнавальной фантасмагории, бросающего его от одного испытания к другому.

Его продвижение во времени и пространстве и поведет зрителя по всем перипетиям, содержащимся в перечисленных выше рассказах Эдгара А. По и новелле Ф. Кафки.

Заставит его (зрителя) лично пережить, буквально ощутить мучения, боль, радость постижения истины.

Жанровую структуру фильма я определил бы как ФАНТАСМАГОРИЧЕСКИЙ КАРНАВАЛ с выходом в финале на притчевое обобщение.

"Брошь"

Краткое изложение замысла фильма
по мотивам новеллы У. Фолкнера "Брошь" и Ю. Мисимы "Патриотизм"

Черный экран. Звучит средневековая музыка. Справа вдвигается в поле кадра голова человека, обращенная к нам затылком. Музыка резко обрывается и так же резко поворачивается к нам лицом голова. Вместо лица маска в стиле театра "Кабуки". Камера медленно отъезжает под возобновившуюся музыку, и перед нами в черном бархатном пространстве в луче света две фигуры, разыгрывающие мимодраму (мотивы которой звучат в рассказе Юкио Мисимы "Патриотизм").

За кадром голос актера-чтеца комментирует действие. Камера все дальше и дальше отъезжает.

Неожиданный резкий звонок телефона. Еще один.

Тяжелая штора задергивается, мгновенно скрыв от нас актеров.

(Крупно) Дрожащая рука, только что дернувшая за шнур. Стремительная панорама с руки на затылок человека, задернувшего штору. Он резко поворачивается к нам лицом. Человек задыхается. На лице выступают крупные капли пота. Взгляд лихорадочно блуждает.

Комната (с его точки зрения) — это спальня. Одна кровать смята, одеяло сползло на пол, подушки разбросаны, вторая — девственно нетронута.

Снова (крупно) его лицо. Жадно хватающий воздух рот. Лихорадочно блуждающий взгляд. Струйками стекает пот, скапливаясь каплями на подбородке. Камера отъезжает, и оказывается, что он сидит в своей постели, вырванный из сна пронзительным телефонным звонком. Не переставая звонит телефон в прихожей на первом этаже.

Наконец он вскакивает и, нащупав халат и туфли, бросается прочь из комнаты...

Примерно так представляется мне начало фильма по новелле У. Фолкнера "Брошь".

Фильм будет строиться в двух структурных пластах.

Первый — это внешняя, определенная сюжетом новеллы структура, вбирающая в себя историю главного героя новеллы — Говарда.

Второй пласт — это пласт внутреннего состояния героя, вернее, его внутреннего ощущения (почти на генетическом уровне) своей принадлежности к японской нации. И мучительная попытка восстановить, вспомнить, осуществить то, что он уже однажды пережил в свою бытность самураем.

В основу этого пласта взяты мотивы рассказа японского писателя Юкио Мисимы "Патриотизм".

В сложном переплетении этих двух пластов, на стыке двух полярных этических и эстетических миров и будет произведена попытка прикоснуться к психологической трагедии Человека, мучительно жаждущего обрести чувство целостности.

На мой взгляд, в кратком изложении замысла нет смысла пересказывать содержание новеллы У. Фолкнера "Брошь" и рассказа Ю. Мисимы "Патриотизм" ("Иностранная литература", 10.1988 г.).

Подробная же режиссерская разработка требует глубокого погружения в материал и возможна только при наличии хоть какой-то определенности относительного практического осуществления постановки.

"Суета сует"
(по мотивам рассказа И. Бунина)

Краткая сопроводительная записка к рассказу И. Бунина, послужившему толчком для возникновения проекта приключенческо-философского фильма

Это фильм о молодом школьном учителе истории из маленького подмосковного городка, который неожиданно получает в наследство от своего скончавшегося бездетного двоюродного дядюшки старый дом-развалюху. Роясь на чердаке этого дома, в завале старых книг, журналов и прочего хлама Антон (так зовут нашего героя) натыкается на странный сосуд, надпись на котором гласит: "Здесь покоится мозг великого Вольтера". Эта находка так ошеломляет его, что он, забросив все свои дела, начинает частное расследование, пытаясь выяснить, каким образом столь драгоценный сосуд мог оказаться здесь, в русской глубинке, да еще у дядюшки, не имевшего ничего общего с Францией и всю жизнь проработавшего скромным аптекарем. По мере расследования продвигаясь шаг за шагом по невероятному пути, который проделали мозг и сердце великого мыслителя, Антон сам переживает невероятные приключения.

Переплетение приключений, пережитых им в реальности (в ходе расследования) и в воображении, воссоздающем историю похождений (иначе и не назовешь) мозга и сердца великого Вольтера, и составляют ткань будущего фильма.

Удивительная судьба, постигшая мозг и сердце Вольтера, изложена в рассказе Ивана Бунина "Суета сует", который и послужил импульсом к созданию этого проекта.

Ров*

Ассоциации и размышления, возникшие по прочтении поэмы А. Вознесенского "Ров", в форме сценария для одноименного художественного фильма

Это фильм не о добре и зле. Это фильм о том, что находится за гранью добра и зла, и о тех, кто шагнул за эту грань. Ров — это та грань, которую перешагнув, человек перестает быть человеком.

* Совместно с А. Махровым.

В Крыму во время войны (1941-45 гг.) немцами были расстреляны 30.000 мирных жителей. Это была обычная рядовая операция СС. Расстреливаемые сами выкопали ров, в который были засыпаны. Таков факт, но это предыстория.

А история заключается в том, что сегодня находятся люди, раскапывающие эту страшную могилу в поисках черепов с золотыми зубами, колечек, цепочек, часов и т. д. И это тоже факт.

Где же кроется источник того, что превращает этих (днем вполне респектабельных людей) обывателей в ночную нелюдь?

Этот фильм и есть попытка разобраться в этом, а главное — заставить ужаснуться этому.

И для этого из нашего сегодня (в котором четверо кладоискателей разрабатывают и осуществляют операцию "Ров" — операцию по ограблению братской могилы) мы время от времени будем проваливаться в глубокие колодцы времени и бродить по лабиринтам истории, натыкаясь то на казнь Христа, то на лабораторию доктора Фауста, то на ночную облаву в оккупированном городе.

А проводником по этим лабиринтам будет странный персонаж с постоянно меняющейся внешностью, который при всем этом присутствовал и ко всему этому имеет отношение, так как это он то тайно, то явно искушает человека, ведя таким образом свой бесконечный спор с Богом.

Но даже он с брезгливостью отворачивается от двуногих "кладоискателей". Потревоженный ими ров-могила, словно болотная трясина, засасывает автомобиль, в котором гробокопатели со своей страшной добычей пытаются скрыться с места преступления.

Публикация Карины ШРАГИНОЙ-КАЦ

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЩУРОВА
"Склоняюсь я в тоске пред неизбежным..." . . .265

"Склоняюсь я в тоске пред неизбежным..."

Вспоминая бурную театральную жизнь старой Одессы, нельзя забывать, что наш город имел также прочную славу культурного музыкального центра. Многочисленные подтверждения тому находим в серьезном специальном музыкальном журнале "Южный музыкальный вестник", выходившем в Одессе с марта 1915 по июль 1918 г. Это было единственное издание подобного рода на Юге России.

Казалось бы, сложные политические события, война и нестабильность не очень располагали к разговорам о классической музыке, но, как показало время, никакие испытания не могли заставить талантливых людей отказаться от творчества и осуществления своих замыслов.

Журнал "Южный музыкальный вестник" старался следовать задачам, которые для себя определил: "Не стремясь извлекать от издания каких либо материальных выгод, но служа искусству идеально, честно, имея в виду лишь только одно — проявление высокой культурной жизни человека...". Такая позиция, наверно, объясняется и тем, что редактором-издателем журнала был Николай Марценко, свободный художник, музыкант, хормейстер, педагог, ставший ректором Музыкальной академии.

Благодаря существованию этого источника, сохранилось много ценных сведений об истории музыкальной жизни Одессы, о процессе становления русской оперы в нашем театре, о людях, сыгравших важную роль в развитии музыкальной культуры. Здесь регулярно печатались статьи и заметки об оперных спектаклях, деятельности консерватории, которая открылась в 1913 году, сообщалось о лекциях и докладах по зарубежной и отечественной музыке, помещались рецензии на новые книги. Авторами были, помимо самого редактора, известные музыкальные критики, педагоги, композиторы. На страницах журнала обнаружились две публикации Александра Дерибаса — о певце Палечеке и о музыкальной старине, которые были включены во вторую его книгу "Старая Одесса. Забытые страницы" (О., 2004).

В 1917 году в Одессе появилось Общество одесских музыкальных деятелей, о чем также написал журнал. Общество ставило перед собой, прежде всего, просветительские задачи, но вскоре оно стало инициатором создания нового музыкального высшего учебного заведения — первой в России Музыкальной академии (открыта в сентябре 1917 года по адресу: ул. Новосельская, 92). Поскольку ректором ее был избран Н. Марценко, журнал, конечно, взял на себя функции печатного органа академии. Новое учебное заведение за короткий срок успело сделать много интересного. В эти же годы в Одессе появилось Еврейское музыкальное общество. К сожалению, все эти начинания оказались недолговечными, и следы их теряются в потоке драматических событий последующих лет.

Не мог журнал пройти мимо такого модного тогда явления, как вечера мелодекламации, мелопоэзии. Для этого специально писались стихи, которые читали в со-





провождении фортепиано или камерного ансамбля. Они пестрели мелодраматическими душераздирающими строками, как, например: "Разбрызгав кровь закатного вина..." или "Меня измучила, обволокла хандра / Какой-то сетью дум, навязчивых и липких...".

Среди авторов стихов для мелодекламации чаще других замечен был Петр Сторицын, однажды мелькнули строки Э. Багрицкого и Г. Цагарели. Зная активность натуры Сторицына и его меценатские наклонности, можно рискнуть предположить, что именно он привел своих друзей в "Южный музыкальный вестник". Нельзя исключать и возможность его финансовой поддержки издания. На эту мысль наталкивает неоднократная реклама знаменитых одесских поэтических альманахов, большинство из которых, как известно, вышли при "спонсорской" помощи Сторицына. Во всяком случае, в журнале появилась развернутая положительная рецензия на альманах "Авто в облаках", хотя в других журналах и газетах печатались более критические отзывы на опусы молодых поэтов. Приятной неожиданностью было найти в одном из номеров журнала за 1916 год публикацию иронического стихотворения Анатолия Фиолетова "Евгений Онегин".

Журнал "Южный музыкальный вестник" – не только пример серьезного профессионального издания, но и богатейший источник информации для современных исследователей по самым разным вопросам истории культурной жизни Одессы.

Татьяна ЩУРОВА

ОДЕССКАЯ ОПЕРА.



Ю. Закржевскій въ партіи донъ Хозе ("Карменъ").

Признаюсь, я не безъ страха взялся за перо. О Городскомъ театрѣ такъ много писали, что, пожалуй, я ничего новаго не скажу. Я и не претендую на открытіе второй Америки. Къ тому-же, моя задача болѣе скромная, но, тѣмъ на менѣе, трудная. Трудность эта заключается въ томъ, что въ послѣдніе годы въ дѣлахъ Гор. театра много непонятнаго, пожалуй, даже таинственнаго. Мракъ окуталъ его.

Отличительной чертой истекшаго опернаго сезона является его матеріальный успѣхъ. Говорю о матеріальномъ, а не о художественномъ успѣхѣ, ибо художественная сторона въ минувшемъ сезонѣ хромала такъ, какъ, можетъ быть, не хромала никогда.

Гор. театръ держитъ въ карантинѣ оперу и съ особою настойчивостью пропагандирует оперетту со всѣми ея атрибутами. Я не склоненъ читать мораль о значеніи театра, о его призваніи служить развитію музыкальныхъ вкусовъ или выяснять воспитательное значеніе театра, но полагаю, что не должна доминировать въ Гор. театрѣ оперетта "Наконецъ одни" надъ "Борисомъ Годуновымъ", или "Веселая вдова" надъ "Дѣвушкой Запада".

Но, какъ мы видѣли, именно это и случилось.

Какъ это произошло? А вотъ какъ.

Два года тому назадъ, по взаимному соглашенію гг. Багрова и Сибирякова, театръ перешелъ къ послѣднему. Съ присущей г. Сибирякову энергіей, новый антрепренеръ приступилъ къ организаціи сложнаго дѣла. Г. Сибиряковъ заявилъ представителямъ печати, что его программа — познакомить одесситовъ съ лучшими оперными произведеніями въ образцовомъ исполненіи. Далѣе, г. Сибиряковъ добавилъ, что прежде всего онъ приступитъ къ составленію репертуара и, сообразно немѣченному репертуару, имъ будетъ составлена труппа. Все это, къ сожаленію, продолжалось недолго.

Вслѣдствіе нынешнихъ событій оперное дѣло было поставлено въ исключительныя условія и художникъ-антрепренеръ уступить мѣсто антрепренеру-дѣльцу.

Г. Сибиряковъ прежде всего художникъ. Говорю это на основаніи опыта. Мнѣ приходилось наблюдать его на репетиціяхъ "Четырехъ деспотовъ". Надо было видѣть, съ какой любовью онъ отнесся къ этой оперѣ, которую онъ ставилъ, какъ вникалъ онъ во всѣ детали какъ со стороны сценической, такъ и музыкальной. Эта работа совершенно захватила его. И такой

любящій искусство антрепренеръ впалъ въ безсистемность. Безсистемность полная. Вотъ факты. Объявляется репертуаръ. На второй, много на третій день ставятъ совершенно другую оперу. Дирижерамъ даютъ списокъ оперъ для разучиванія. Это, конечно, еще не значитъ, что эти оперы дѣйствительно увидятъ свѣтъ рампы. Чаще всего наблюдается совершенно обратное. Безсистемность и растерянность вездѣ и во всемъ, особенно при назначеніи партій артистамъ.

Нельзя, конечно, обойти молчаніемъ нѣсколько прекрасныхъ постановокъ, какъ "Дѣвушка запада", "Четыре деспота", "Борисъ Годуновъ" и др., но какъ ясные, теплые лучи, проникшіе сквозь осеннія грозовыя тучи, онѣ не могли ни освѣтить, ни согрѣть душу истиннаго любителя музыки.

Надъ театромъ нависли черныя тучи.

Маленькій.



Въ октябрѣ исполнилось двадцатипятилѣтіе сценической дѣятельности Ф. И. Шаляпина. Шаляпинъ знаменуетъ собою наступленіе новой эры въ оперномъ искусствѣ.

СТАРЫЙ ВОПРОСЪ О ЮНЫХЪ АРТИСТАХЪ.

(Случайныя замѣтки).



НИКОЛО ПАГАНИНИ.

Гастроли вундеркинда-дирижера Толли Фистулари снова ставятъ на очередь вопросъ о вундеркиндахъ вообще и о вундеркиндахъ-дирижерахъ въ частности.

О непедагогичности публичныхъ выступленій вундеркиндовъ, если это дѣйствительно дѣти, а не чуть-ли не восемнадцатилѣтніе "кинды" въ коротенькихъ штанчикахъ — говорить, намъ кажется, теперь уже не приходится. Кто-же сознательно захочетъ стучаться въ открытую дверь? Насъ интересуетъ другая сторона вопроса. Возможно-ли получить законченное музыкальное образованіе къ семи-восьмилѣтнему возрасту, — а таковъ именно возрастъ недавняго одесскаго гастролера? Конечно, на этотъ вопросъ можетъ быть лишь отрицательный отвѣтъ, ибо полученіе музыкальнаго, какъ и всякаго вообще, образованія возможно лишь при сознательномъ отношеніи ученика къ дѣлу. О какой-же сознательности можно говорить

у двухъ или трехлѣтняго ребенка? Да еще сомнительно, возможно-ли измѣрять продолжительность законченнаго музыкальнаго образованія пятью или четырьмя годами. А никакихъ, думается, не можетъ быть споровъ о томъ, что дирижеръ долженъ быть законченнымъ музыкантомъ. Дирижеръ долженъ быть знакомъ вѣдь не съ однимъ инструментомъ, какъ виртуозъ-музыкантъ, а со всею совокупностью ихъ, составляющихъ симфоническій оркестръ (Толли Фистуляри дирижировалъ именно такимъ оркестромъ). Затѣмъ, дирижеръ долженъ знать не отдѣльную партію, а всю партитуру исполняемаго произведения. Далѣе, отношеніе къ партитурѣ должно быть — объ этомъ какъ-то даже, въ виду очевидной ясности, и говорить неудобно — сознательнымъ, а не механическимъ, ибо правъ Б.К. Яновскій, когда говорить, что дирижированіе заключается не въ простомъ помахиваніи дирижерской



М. А. Балакиревъ,



А. Н. СКРЯБИН

палочкой. Ничего этого нѣтъ, да и не можетъ быть у семи-восьмилѣтняго ребенка. Упомянутый нами высокоавторитетный и глубокоуважаемый критикъ прямо и заявляетъ, что музыкальное образованіе Толли Фистуляри еще не закончено. Б.К. Яновскій говорить, что дирижированіе Толли Фистуляри не можетъ быть названо механическимъ, а является вполнѣ сознательнымъ и обнаруживающимъ подробное знаніе произведенія. И въ доказательство приводить опыты, производившіеся музыкантами для испытанія дирижера. Воля ваша, но здѣсь нѣтъ доказательства сознательнаго отношенія къ партитурѣ, здѣсь лишь полное торжество памяти, дѣйствительно незаурядной.

Да простить меня многоуважаемый критикъ, но въ его слѣдующихъ словахъ невольно чувствуется, что онъ также смотритъ на Толли Фистуляри лишь какъ на талант-

ливаго ребенка, который въ будущемъ и только въ будущемъ можетъ занять почетное мѣсто въ музыкальномъ мірѣ: "...Толли нюансируетъ, видимо чувствуя музыку, проявляетъ темпераментъ, однимъ словомъ, видны задатки художественнаго характера".

— Позвольте, могутъ мнѣ сказать, вы требуете отъ ребенка невозможнаго, вы хотите, чтобы онъ зналъ, понималъ и чувствовалъ то же и такъ же, какъ и взрослый человѣкъ, но онъ по самой природѣ своей не можетъ этого дать. — Да, но объ этомъ я только и говорю, только это и стремлюсь показать.

Въ случаѣ признанія вѣрности моихъ замѣчаній естественнымъ является вопросъ — какой же смыслъ подобнаго дирижерскаго выступленія (повторяю, я здѣсь говорю исключительно съ музыкальной точки зрѣнія)? Ребенокъ-дирижеръ ничего не вноситъ, да и не можетъ внести своего въ исполняемое произведеніе, а лишь показываетъ то, чему его выучили и чего онъ достигъ почти исключительно благодаря памяти. Слѣдовательно, — будемъ откровенны — мѣсто такому выступленію не въ серьезномъ симфоническомъ концертѣ и даже вообще не въ чисто музыкальномъ, т. е. преслѣдующімъ только



ЖОРЖЪ БИЗЕ.

музыкальныя цѣли, концертѣ, а гдѣ-либо, напримѣръ, въ институтѣ экспериментальной психологіи, что-ли. И такое выступленіе является событіемъ, конечно, не музыкальнымъ а какимъ-либо инымъ. Здѣсь ликуетъ не музыка, а память, которая и въ такомъ юномъ возрастѣ можетъ, оказывается, достигать столь высокой степени совершенства и проявляться такъ ярко.

Кудеяръ.

Россійское Музыкальное Издательство
МОСКВА. ПЕТРОГРАДЪ.
РАХМАНИНОВЪ
„ВСЕНОЩНОЕ БДѢНІЕ“
ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ
ПАРТИТУРА 3 руб.
Вскорѣ выйдетъ „ВОКАЛИЗЪ“ Рахманинова

МѢСТНЫЙ ОТДѢЛЪ.

Проф. Василій Андреевичъ Орловъ

(къ тридцатипятилѣтію его дѣятельности въ И. Р. М. О.)



На тускломъ горизонтѣ общественно-культурномъ чаяніи Одессы весьма рѣдко появляются свѣтлыя звѣзды, озаряющія своимъ сіяніемъ мракъ ночи. Но еще рѣже такія звезды появляются въ нашей идейно-музыкальной жизни.

Несмотря на то, что Одесса изстари стяжала себѣ славу культурнаго музыкальнаго центра для всего юга Россіи, ея музыкальная работа была бы весьма ограничена, если бы, вдругъ, изъ нашего прошлаго вычеркнуть имя Василія Андреевича Орлова.

Все, что имѣемъ мы музыкальнаго въ настоящее время, почти все есть дѣло рукъ В.А. Орлова.

Историческая лѣтопись нынѣшней одесской консерваторіи могла бы краснорѣчивѣе всякихъ словъ подтвердить нашу мысль, ибо еще такъ недавно этой консерваторіи здѣсь не было, а было лишь музыкальное училище И. Р. М. О. И вотъ, ровно тридцать пять лѣтъ тому назадъ проф. В.А. Орловъ вступаетъ въ составъ дирекціи нашего училища. Страшное это было и ответственное время!

Училище ютилось гдѣ-то по частнымъ, наемнымъ квартирамъ, изнемогая отъ долговъ и ежечасно грозя покончить самоубійствомъ... Однако, благодаря неустаннымъ заботамъ В. А-ча, оно, это скромное убѣжище великихъ тѣней Бетховена, Баха, Рубинштейновъ и "могучей кучки", не угасло.

Его работа закипѣла и Одесса въ многолѣтнемъ рядѣ своихъ симфоническихъ и камерныхъ собраній воспитала не одно поколѣніе своихъ музыкальныхъ сыновъ.

Но вотъ девятнадцатый вѣкъ уходитъ изъ хроники общественной жизни...

Тогда какъ бы вновь возрождается творческій духъ нашего юбиляра (въ качествѣ Председателя О. О. И. Р. М. О.) и мы видимъ музыкальное училище уже въ собственных стѣнахъ, съ громадной и коренной реформой ея внутренняго строя.

Городской театръ.



А.И. Гомбергъ, антрепренеръ Одесскаго Городскаго Театра.

Прошелъ мѣсяцъ со дня открытія опернаго сезона въ городскомъ театрѣ — время вполнѣ достаточное для правильной оцѣнки работы, положенной въ основу организаціи цѣлаго ряда спектаклей. Предыдущій сезонъ, оставившій по себѣ свойственное впечатлѣніе вслѣдствіе одновременнаго существованія оперетты и оперы сыгралъ не малую роль въ самоопредѣленіи театра, а также въ осуществленіи антрепризой намѣченнаго плана дѣйствій. Опытъ прошлаго какъ будто не прошелъ безслѣдно. Съ ликвидаціей опереточнаго засилія для самихъ руководителей явилась возможность подчинить работу опредѣленному плану и сосредоточить исключительное вниманіе на постановкѣ оперныхъ спектаклей, а отсюда на чисто художественной сторонѣ дѣла.

Такимъ образомъ можно говорить съ увѣренностью, что городской театръ съ легкой руки г. Гомберга, взявшаго подъ свою опеку оперу, сталъ на путь правильнаго самоопредѣленія и сдѣлалъ большой шагъ впередъ въ направленіи продуктивной, художественной дѣятельности.

Вышла въ свѣтъ и продается въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ КНИГА

АВТО ВЪ ОБЛАКАХЪ

Цѣна 1 рубль.

Стихи Э. Багрицкаго, И. Бобовича, Н. Вострецовской, П. Сторицкаго, С. Третьякова, А. Фиолетова, Г. Цагарели, В. Шершеневича. Рисунки и обложка работы С. Фазина.

Музыкальное училище
ТОМСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ
Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества
ЭКСТРЕННО ТРЕБУЕТСЯ
преподаватель по классу ВІОЛОНЧЕЛИ.
Условія 1200 рублей въ годъ не свыше 15 часовъ; за сверхкомплектныхъ дополнительная плата. Кромѣ того требуется участіе въ концертахъ и намѣрныхъ вечерахъ. Отдѣленія не болѣе 7—8 разъ въ годъ. Почтовые расходы и дорожныя по второму классу возвращаются при подписаніи договора на мѣстѣ службы.
Заявленія съ указаніемъ прежней дѣятельности адресовать: ТОМСКЪ, Музыкальное Училище Императорскаго Русск. Музык. Общества.

Съ 1-го Іюня по 15-е Іюля
Лѣтніе Регентско-Учительскіе Курсы
Программа и условія высылаются безплатно.
Новосельская, 92.

Піанистъ—о. Директоръ Александровск. Музыкальн. школы
ЛЕВЪ ШТЕРНЪ
— ДАЕТЪ УРОКИ. —
Дерибасовская улица, № 13. Телефонъ 66-85.

Опытный преподаватель
съ многол. практикой даетъ уроки **СКРИПКИ.**
Колонтаевская № 36.

Книга своб. худ. Н. Ф. МАРЦЕНКО.
П. И. ЧАЙКОВСКІЙ въ нашей церковной музыкѣ
Музыкально критическій очеркъ. Цѣна 25 к.
Складъ изданія: Одесса, Пассажъ, у Л. Іозефера

Уроки музыки
даетъ консерваторка стараго курса, а также аккомпанируетъ пѣвцамъ. Ул. Кондратенко, 21, кв. 22.

Профессоръ
Дмитрій Дмитріевичъ КЛИМОВЪ
даетъ уроки ФОРТЕПІАНО.
Пріемъ отъ 11—1 ч. и отъ 4—5 час. Адресъ: Базарная № 39.

Уроки пѣнія
даетъ Свобод. художн. учен. извѣстн. профес. Мазетти
Я. С. Москвинъ
Новосельская, № 92, кв. 2. Пріемъ отъ 11 до 1 и отъ 4—5 ч.

Скрипачъ-учитель
своб. художникъ ТРЕБУЕТСЯ въ Музыкальн. Училищѣ Нижегородскаго Отд. Имп. Русск. Музыкальн. Общества. Адресъ: Н.-Новгородъ, Провіантская, 3. В. Ю. Шаззуану.

МѢСТНЫЙ ОТДѢЛЪ.

Графъ М. М. Толстой.

(Къ полувѣковому юбилею его жизни и дѣятельности.)



Среди выдающихся идейныхъ культрагеторовъ нашего края и среди лучшихъ борцовъ на поприщѣ культуры и знанія въ Одессѣ, едва-ли не первымъ и самымъ виднымъ меценатомъ и дѣятелемъ нашихъ дней нужно признать графа М.М. Толстого. Съ широкимъ и всеобъемлющимъ масштабомъ ума, съ горячимъ и трогательнымъ — отзывчивымъ сердцемъ, скромный и незамѣтный въ своей безкорыстно-самоотверженной работѣ, онъ особенно за послѣдніе десятки лѣтъ отразилъ мощное и всеохватывающее вліяніе положительно на всѣхъ отрасляхъ южно-русскаго просвѣщенія, какъ въ Одессѣ, такъ и далеко за предѣлами ея.

Но помимо общаго характера безконечной по широтѣ и объему высокопродуктивной благотворительной дѣятельности своей для нуждающихся массъ народныхъ, съ европейски оборудованною, напр., "скорою медицинскою помощью", фабрично-заводской больницею Краснаго Креста, обществомъ нуждающихся въ народныхъ училищахъ г. Одессы, гдѣ М. М. уже многіе годы состоитъ энергичнымъ и неутомимымъ руководителемъ и предсѣдателемъ, цѣлымъ рядомъ лазаретовъ его имени, открытыхъ по обстоятельствамъ военнаго времени на собственныя средства и по личной иниціативѣ графа, одесской городской публичной библіотекой, въ коей онъ также уже многіе годы состоитъ дѣятельнымъ попечителемъ и благотворителемъ и многихъ другихъ учрежденій и культурно-просвѣтительныхъ организацій нашего города, — помимо всего этого, — заслуги графа М. М. Толстого особенно велики к необъятны на почвѣ безкорыстнаго и самоотверженнаго служенія его родной отечественной наукѣ и искусству.

Въ этомъ отношеніи графъ М.М. Толстой, невольно напоминаетъ дѣятельность извѣстныхъ московскихъ благотворителей покойнаго Саввы Морозова, генерала Шенявскаго, Ляпина и многихъ др., съ тою лишь разницею, что послѣдніе жертвовали, главнымъ образомъ, на просвѣтительные учрежденія, въ то время, какъ первый откликается прежде всего на нужды непосредственно учащейся молодежи.

Одесская Консерваторія и Художественное училище изящныхъ искусствъ могли-бы многое сообщить по данному поводу, не говоря уже о нашемъ Новороссійкомъ университетѣ и другихъ общеобразовательныхъ школахъ.

Даже юные одесскіе Регентскіе Курсы и тѣ, не смотря на сравнительно малочисленный комплектъ учащихся, видѣли въ своихъ стѣнахъ питомцевъ и пенсіонеровъ графа.

Такимъ образомъ, можно сказать съ полной увѣренностью, что нѣтъ ни одной школы въ Одессѣ, которая такъ или иначе не почувствовала-бы добраго генія широкой просвѣтительной работы щедраго одесскаго благотворителя...

Конечно, исторія культурной жизни нашего края не преминетъ объ этомъ въ ближайшемъ будущемъ внести золотыми буквами дорогое имя графа М.М. Толстого на свои страницы.

Но намъ лично хотѣлось-бы, чтобы русское музыкальное общество, для котораго такъ много потрудился своими безконечными пожертвованіями графъ М.М. Толстой, лучше бы помнило о выдающихся заслугахъ русскаго общественнаго благотворителя и такъ или иначе обнаружило бы свою признательность и вниманіе воспитателю цѣлаго рядя своихъ питомцевъ. Это — долгъ нашей Консерваторіи, какъ и долгъ прочихъ учебно-просвѣтительныхъ учрежденій Одессы.

Т. Антъ.

ЕВГЕНІЙ ОНѢГИНЪ.

Стихотвореніе Анатолія Фіолетова.

За тягучею и сладкой увертюрой
Я глядѣлъ на подозрительныхъ старушекъ
Съ сохранившейся, до странности, фигурой,
Съ модной обувью совсѣмъ не старыхъ ножекъ.

Ленскій ревностно хранилъ "en face" печальный
А Онѣгинъ явно билъ на благородство,
Но въ теченіе семи картинъ, фатально,
Все жъ не выказалъ надъ міромъ превосходства.

Скрипка плакала въ отчаяньи прелестномъ
Предъ дуэлью даже искреннѣй поэта,
Но тончайшій срокъ разрушилъ неумѣстно
Слишкомъ розовый, безвкусный блескъ разсвѣта.

Въ третьемъ дѣйствіи Онѣгинъ въ томной позѣ
Афишировалъ, на бисъ, любовь къ Татьянѣ,
Но не вѣрилось, что можетъ онъ серьезно
Баритономъ пѣть о страсти и страданьѣ...

Такъ коверкали Онѣгина актеры.
И за Пушкина мнѣ стало вдругъ обидно,
Захотѣлось закричать съ блестящимъ взоромъ:
"Молодые люди, стыдно, очень стыдно —

Изуродованъ непонятый и жалкій
Академикъ А.С. Пушкинъ неповинно... —
Вѣдь извѣстно, что Татьяна не русалка,
Ну, а Ольга ужъ отнюдь не балерина!.."

ПРОФЕССУРА МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМІИ.





К.А. Гавриловъ



Н.Ф. Марценко



Піанистка
Е.З. Юкельсонъ



Художественный Совѣтъ первой въ Россіи Музыкальной Академии.
Слѣва на право сидятъ: проф. К.А. Гавриловъ,
Е.З. Юкельсонъ, А.А. Гижицкая, А.В. Теодориди и Е.А. Гавсѣвичъ. Слѣва на право стоятъ: проф. А.А. Вальцъ,
Н.Ф. Марценко, А.К. Синицынъ и В.П. Гуторъ

Авто въ облакахъ.

Эдуардъ Багрицкій, Исидоръ Бобовичъ, Нина Воскресенская, Петръ Сторицынъ, Сергѣй Третьяковъ, Анатолій Фіолетовъ, Георгій Цагорелли, Вадимъ Шершеневичъ.
Стихи.

Обложки и рисунки работы С. Фазини, 1915, Одесса.

За нѣсколько послѣднихъ лѣтъ какъ-то вдругъ на нашихъ глазахъ измѣнилась до неузнаваемости человѣческая жизнь. Еще внѣшнимъ образомъ все казалось прежнимъ, а ужъ перестроились всѣ воспріятія въ глубинѣ, въ корнѣ. Короче сказать, измѣнился ритмъ воспріятія, а это неизбежно повлекло за собой и совершенно новый темпъ жизни. Такъ сдвинутый съ мѣста паровозъ тащитъ за собой безконечную цѣпь грузныхъ вагоновъ. Словно кто-то шепнулъ въ ухо дремлющей волѣ человѣчества: что дѣлаешь дѣлай скорѣй!" И новая вѣсть о нагрянувшей радости-ли, ужасѣ-ли несказаннымъ трепетомъ наполнила сердца. "Міръ обогатился новой красотой: красотой скорости!" Провозгласилъ основоположникъ Итальянскаго футуризма. Онъ же, а съ нимъ многіе другіе, можетъ быть втайнѣ всѣ поголовно, — разсуждали, мечтали: а въ чемъ и винить окончательно эту новорожденную красоту скорости, если не въ такомъ огромномъ и рѣшительномъ дѣлѣ, какъ всемірная война? И война началась.

Еще всѣ помнятъ съ какой ненасытной жадностью бросились "воспѣвать" ее поэты. По слову З. Гиппіусъ

"Накинулись, какъ звѣри:
Война! война! война!"

Во всевозможныхъ поэтическихъ произведеніяхъ, посвященныхъ войнѣ, не было самаго главнаго: пульсаціи современной войны. Не столько вѣдь техникой, сколько психикой отлична эта война отъ всѣхъ своихъ предшественницъ. Нѣчто новое, что дѣйствительно дала, или даетъ она, не можетъ быть раскрыто художниками слова прежде нежели будутъ или уловлены особенности психическаго ритма массового участника этой войны.

Каковы же особенности?

Дождь строчить по стеклу, непонятныя кляузы
Потъ солдатъ распинаетъ утробы лачугъ
Пальбу дырявятъ добрыя паузы
Ночь по топямъ шагаетъ какъ умный битюгъ
Маленькая смерть, раскинувши плечики
Ходитъ цѣлуетъ грустныхъ мужчинъ
Полночь брызнула когти, тихоходы развѣдчики
Мелодичными каплями, вереницей кончинъ
Подъ тулупами бредится: Богородица, вывези
Тѣнь свѣчная летаетъ отъ дверей до стола

Кони часто дрожатъ на привязи
Хихикаютъ удила.
На бинтѣ раздавили красную смородину
Плачетъ кожа отъ шапки до пятъ
Часовой вспоминаетъ родину.
Спять.

(С. Третьяковъ).



Спятъ. Вотъ самый типичный моментъ. Это вродѣ Тургеневскаго: "спитъ тотъ кто бьетъ и тотъ, кого колотятъ". Что такое война въ переживаніи современника: Поэтъ отвѣчаетъ: Война? Что-то очень медленное, какъ битюгъ, тихоходное, методичное нисколько не страшное (чего бояться, ужъ не "маленькой"-ли смерти?) и сонное, сонное! Наши предки не успѣвали такъ много передумать и даже соскучиться успѣть въ промежутки отъ одного выстрѣла орудія до другого. Они поэтому не могли замѣтить, какъ пальбу дырявятъ добрыя паузы, слишкомъ добрыя! Гдѣ-же "красота скорости"? Можетъ быть въ лобовой встрѣчѣ, въ штыковомъ ударѣ? Для предковъ, навѣрное. А для насъ?

Взмахъ рукъ
Вдругъ.
Скачокъ неуклюжій,
Зьякъ сабли
Ляскнула тысяча ружей.
Рванулись шинели
Подъ благовѣсть звонкой шрапнели
Тонетъ. Суконный потопъ.
По блеску, крику, знаку
Въ аттаку!
Сердце костежъ! Въ аттаку! Упрямо.
Въ аттаку. Все ближе! Въ аттаку
Лобъ расколетъ... Мама!
Къ ружейному звяку
Рвота пушекъ.
Въ глину. Скользя на штыки.
Тѣломъ на тѣло, ладонье въ красное
Ликованье послѣднее страстное

Звонкое, цѣпкое, липкое.
Злоба каплетъ съ штыка
Подъ сопѣніе шибкое
Подъ пудовый ударъ кулака...
Отходили упорствуя,
Кусались, клубились въ кустарникѣ
Стала теплою глина черствая
Какъ хлѣбъ изъ пекарни
Тепловатымъ причастьемъ насытили
Отощавшій желудокъ полей
И спятъ каменѣя
На шершавой ладони земли
Залегли
Побѣдители.

(С. Третьяковъ).

Залегли" — перевѣсило "побѣдители" и оттянуло на себя весь музыкальный смысловой ударъ. Залегли, окаменѣли, спятъ. И самая побѣда какъ во снѣ. Сопѣніе въ шибкости вотъ и вся аттака. Какъ долженъ былъ отощать желудокъ полей, чтобы насыщаться такимъ тепловатымъ причастіемъ. Что-то тяжелое, дремотное, досознательное въ этомъ топотѣ, суконномъ потопѣ. Рекордъ быстроты, какая намъ нужна, войною не побитъ. Что же сказать хотя о темпѣ жизни большого города? Давно ли насъ раздражалъ лязгъ улицы, вниманіе не поспѣвало за оглушительнымъ потокомъ ея шумовъ и гуловъ? А теперь приходится "сметать съ улицы сплинъ".

"Въ этомъ узенькими сквозь гредни смѣха...
Знаки стремящихся небоскребовъ — это гулкое эхо
Міра шагающаго куда-то наугадъ.

(Шершеневичъ).

Только это — запоздалый отзвукъ. Такъ быстро зашагалъ міръ въ воображеніи поэта. А автомобиль? Еще вчера онъ казался "чудовищемъ": — Страшнѣе кошки звѣря нѣтъ, а сегодня оказался именно кошкой да еще съ придавленнымъ хвостомъ.

"И автомобили, какъ коты придавленными хвостами,
Неистово визжатъ: ахъ мяу, мяу!.."

(Н. Воскресенская).

Удивительно мѣткій, Дерибасовская ночью, образъ. Его не забудешь. Какъ однако измѣнился у насъ взглядъ, слухъ. Изъ идущаго вышло ядомое. Давящее оказалось придавленнымъ, правда, пока только, чуть чуть только съ хвоста, но и это хорошо.

Сказаннымъ очерчено самое цѣнное, что даетъ сборникъ "Авто въ облакахъ". Всѣ его участники добросовѣстно ищутъ новой красоты; то не значитъ: всегда находятъ ее.

Одни (какъ Багрицкій и Бобовичъ) много работаютъ надъ шлифовкой образовъ, ихъ влечетъ красочность стиха, другіе (какъ Сторицынъ и Цагорелли) отдаются журчащимъ мелодіямъ звуковъ.

Пройдя рубинные подмостки
Она плыветъ едва живя
Роняя золотыя блестки
Изъ шелковаго рукава.
И мы встрѣвоженныя дѣти
Какъ тѣни робкія летимъ
Въ ея серебрянныя сѣти
Поспѣвшіе сквозь звѣздный дымъ.

(Цагорелли). "Ночь".

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ и ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ КНИГА
Чудо въ пустынѣ.
СТИХИ: Эдуарда Багрицкаго, Исидора Бобовича, Владиміра Маяковскаго, Петра Сторицына, Сергѣя Третьякова, Анатолія Фіолетова, Георгія Цагрели, Вадима Шершеневича.
Обложка работы С. Фазини. цѣна 2 руб.
Выписывать можно непосредственно изъ склада изданія „ЧУДО въ ПУСТЫНѢ", Одесса, Херсонская 64, на 6. Наложеннымъ платежемъ цѣна 2 р. 50 к.
Готовится къ печати книга **Аметистовыя зори** Стихи. Обложка и рисунки работы С. Фазини. 1—0

Главное, что всѣмъ имъ (за небольшимъ исключеніемъ) должно быть поставлено въ упрекъ стоитъ въ тѣсной связи съ общимъ заданіемъ сборника, хотя изъ него и не вытекаетъ съ необходимостью.

"Авто въ облакахъ", безъ ошибки вѣдь мысль заглавія можно расшифровать двумя словами: "современность въ поэзіи". Задача достойная всяческаго вниманія — объ этомъ нѣтъ нужды послѣ всего сказаннаго распространяться. Какъ же подходятъ къ ней поэты, имѣвшіе до сихъ поръ дѣло съ темами болѣе мечтательно-лирическаго или экзотическаго характера? (см. "Шелковые фонари", "Серебр. трубы").

Раскрываемъ книгу. На первой страницѣ рѣчь идетъ о Суворовѣ. Какъ будто не очень современная тема. Но это — "Суворовъ учебниковъ и книжекъ" — это Суворовъ и его Эпоха на взглядъ современника, — Суворовъ въ будни.

"Въ грязныхъ окнахъ подымались зеленыя шторы"

Эта обстановка. А вотъ человѣкъ:

"Въ сморщенныхъ ушахъ желтѣли грязныя ватки"

Грязь! Вотъ чѣмъ на 18-ый вѣкъ наводится лакъ современности. Въ другомъ стихотвореніи того же поэта, говорится про

"Грязную мостовую, залитую нечистотами".

Другой поэтъ, не довольствуясь мостовой, мететъ грязью небо и воду

"На грязномъ небѣ выбиты лучами
Зеленыя буквы "шоколадъ и какао"
"Разжирѣвшіе мопсы".
У грязнаго фонтана захотѣли пить.

Третій снова восклицаетъ:

"Гляньте на мостовую, какъ тамъ грязно и склизко".

У четвертаго:

Зажегся газовый фонарь

Подъ грязно-сѣрымъ лбомъ кіоска.

Пятый увѣряетъ:

Это ничего, что гранитъ грязнѣе громкаго бакарра.

Не хватило бы мѣста перечислить всѣ существительныя и прилагательныя аналогичныя "грязи" и "грязному". "Міазмы", зловонныя язвы, гноетечныя срупья, надоѣдливыи вши и т. п. и т. п. пестрятъ на многихъ страницахъ сборника.

Что это значить? Охарактеризуйте современность! было подсказано поэтамъ. И они не сговариваясь выпаливаютъ въ одно слово: грязь!

Теперь общій вопросъ: можетъ ли грязь быть предметомъ поэзіи?

Нѣтъ такого въ которомъ не нашлось бы стороны достойной восхищенія. И грязь можно цѣнить (какъ лечебную хотя бы) и грязью можно любоваться.

Вспоминаетъ онъ старый стихъ.

Какъ ночь тиха! какъ звуки гулки!
И какъ волшебно эта грязь
Блеститъ въ дремучемъ переулкѣ,
При лунномъ свѣтѣ серебрясь.

Да, не слишкомъ ясно, что не въ этомъ настроеніи и не съ этой цѣлью живописуютъ грязь наши поэты. Она имъ противна до тошноты — грязь въ ихъ устахъ синонимъ всего отвратительнаго, ненавистнаго, надоѣвшаго до одурѣнія. Да и сами признаются нечаянно:

"Я ненавидящій Современность" — рекомендуется одинъ.

Вѣдь стихи — это только рецензія — на жизнь "ругаются" — заявляетъ другой.

Что-же? Возможно, современная жизнь и не заслуживаетъ ничего, кромѣ ненависти и ругательства. И для этого существуютъ формы поэтической рѣчи хотя и не высокаго рода: всѣ виды бичующаго сарказма до грустной ироніи были къ услугамъ ненавидящихъ.

Пусть бы слово "грязь" зазвучало явно презрительно или негодующе. Такъ нѣтъ: не чувствуя субъективно никакого влеченія къ "грязи" они по долгу службы все таки "воспѣваютъ" ее. Въ результатѣ мучительный психологическій подрывъ въ страшномъ Гоголевскомъ "портретѣ" и встаетъ вѣчный вопросъ художника.

Или если возьмешь предметъ безучастно, безчувственно не сочувствуя съ нимъ, онъ непремѣнно предстанетъ только въ одной ужасной дѣйствительности не озаренной свѣтомъ какой-то непостижимой скрытой во всемъ мысли, предстанетъ въ той дѣйствительности, какая открываетъ тогда, когда желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружаешься анатомическимъ ножомъ, разсѣкаешь его внутренность и видишь отвратительнаго человѣка? Почему простая низкая природа является у одного художника въ свѣтѣ и не чувствуешь никакого низкаго впечатлѣнія: напротивъ какъ будто насладился и послѣ того спокойнѣе и ровнѣе все течетъ и движется вокругъ насъ? И почему та-же самая природа у другого художника кажется низкою грязною, а между прочимъ онъ также вѣренъ былъ природѣ. Но нѣтъ въ ней чего-то озаряющаго!!!



Грязь на лицѣ современности случайно, преходяща. Стоить явиться "чему-то озаряющему" и сейчасъ же видно, какъ быстро "грязное небо", какъ просыхаетъ земля.

Драконы тучъ несутся мимо.
И легкій паръ встаетъ вдали,
И запахъ копоти и дыма
Плыветъ отъ сохнущей земли.

Въ такомъ свѣтѣ рисуется окружающее Петру Сторицыну, онъ единственный изъ семерыхъ (не считая Серг. Третьякова), у кого "заплеванный и грязный полъ", "завшивѣвшая голова" и пр. появляется лишь въ стихотвореніи откровенно сатирическаго характера. Въ остальныхъ "наружныя крылья", "серебряный просторъ", "разукрашенный розовый авто", "лазоревый дельфинъ" и не это въ мчаніи, въ движеніи, въ стремленіи... куда?

"Въ туманъ зыбей заженныхъ золотомъ"...

Туда гдѣ

"Встаетъ жемчужная заря,
Дрожа межъ розовыми травами,
Поятъ хрустальными отравами
Меня прохладныя моря".

И эти прохладныя моря у него такъ недалеки отъ "южныхъ вратъ Одессы" отъ "столиковъ у Робина". Вѣрность мѣстному колориту ни мало не повредило общимъ достиженіямъ поэта. Это вѣдь освящено Пушкинымъ.

Иду гулять ужъ благосклонный
Огкрытъ Casino. Чашекъ звонъ...
Но солнце южное... но море
Чего же вамъ болѣе, друзья.
Благословенныя края!

Кто знаетъ? Можеть быть и остальнымъ путешественникамъ розоваго авто слѣдовало отсюда отправляться, чтобы очутиться въ облакахъ мечты, пусть еще туманной зыбкой, но уже зажженной золотомъ тайной влюбленности въ міръ, въ жизнь, во всю окружающую творчески преображаемую дѣйствительиость.

А. Горностаевъ.

ТЕКСТЫ ДЛЯ МЕЛОПОЭЗІИ.

ИЗЪ ИНТЕРМЕДІИ „МЕДАЛЬОНЪ АНТУАНЕТТЫ".

Пѣсенка Антуанетты.

Сколь горлинокъ пріятенъ зовъ въ тѣни зеленой рощи,
Когда лежу среди цвѣтовъ въ тѣни зеленой рощи.
Ужели сердце не споетъ мнѣ сладкой пасторали,
Когда заслышу шумъ шаговъ въ тѣни зеленой рощи?
Онъ къ намъ приходитъ изъ луговъ съ фарфоровою свирѣлью
Прелестнѣйшій изъ пастуховъ въ тѣни зеленой рощи.
Недаромъ выпалъ мнѣ вчера въ пасьянсѣ мальчикъ съ сердцемъ...
О какъ волнуешь ты, любовь, въ тѣни зеленой рощи!
Букетъ я бросила въ траву, букетъ изъ незабудокъ...
Какъ сладостна музыка словъ въ тѣни зеленой рощи!
О пойте, горлинки, любовь, цвѣты цвѣтите нѣжно —
Я съ пастухомъ среди цвѣтовъ въ тѣни зеленой рощи.

Эдуардъ Багрицкій.

* * *

Какъ краснокрылый мотылекъ,
Рожденный солнечнымъ восходомъ,
Лечу и знаю — путь далекъ
Къ твоимъ губамъ съ пьянящимъ медомъ.
Въ твою плѣнительную сѣть
Хочу попасть, узнать безсилье,
У губъ томящихъ умереть,
Покрывъ ихъ красной, красной пылью...

Георгій Цагарели.

ГАЗЕЛЛА ЗАКОЛДОВАВШЕЙ МЕНЯ.

Кто вызвалъ насъ изъ мглы тѣней къ огнямъ страстей и горя,
Далъ мнѣ узрѣть огонь очей во мглѣ страстей и горя?
Мой путь былъ торенъ, плылъ туманъ и не мерцали зори,
Но я приблизилъ духъ свой къ ней во мглѣ страстей и горя.
Пусть плеть судьбы ударитъ въ насъ, пусть вѣтеръ свищетъ злобно, —
Мы встрѣтимся на склонѣ дней во мглѣ страстей и горя.
Я знаю — въ мрачномъ-ли аду иль въ свѣтлой райской кущѣ
Увидимъ мы потокъ лучей во мглѣ страстей и горя.

Петръ Сторицынъ.

Ахъ, наши бабушки любили...

Ахъ, наши бабушки любили,
Въ сердцахъ тая туманный страхъ,
На тройкѣ въ пѣнѣ снѣжной пыли
Скакать на взмыленныхъ коняхъ...

На Рождествѣ, когда уныло
Поетъ метель и стонетъ мгла,
Острили и смѣялись мило
Вокругъ накрытаго стола.

Расправивъ зыбкіе роброны,
Съ прозрачнымъ вѣеромъ въ рукахъ,
Онѣ мечтали утомленно
О кавалерахъ въ парикахъ...

Смѣясь, гуляли на проспектѣ,
Творили скромные грѣхи
И на французскомъ діалектѣ
Писали нѣжные стихи.

Прикрывъ бобровой шубкой плечи,
Чтобъ ихъ не жалилъ холодъ злой,
На елкѣ зажигали свѣчи
Слегка дрожавшею рукой.

Любили томные сонеты
И снѣгъ на выгибахъ куртинъ,
И танцовали менуэты
Подъ звуки старыхъ клавесинъ.

Смѣялись радостно и звонко,
Когда подъ карточнымъ столомъ
Съ пунцовой ленточкой болонка
Дралась съ откормленнымъ котомъ.

Теперь былое не воскреснетъ,
О васъ возможенъ лишь разсказъ,
И вотъ, заброшенныя пѣсни
Напоминаютъ намъ о васъ.

Петръ Сторицынъ.

МЕЛОПОЭЗІЯ.

Не прикасайся, я цвѣтокъ степной
Я макъ, что расцвѣтаетъ по курганамъ.
Я степь люблю подъ ясною луной,
Подъ серебристымъ тающимъ туманомъ.
Я такъ люблю душистый запахъ травъ,
И звонъ воздушный съ дальнихъ колоколенъ
А ты весь полнъ таинственныхъ отравъ,
Ты городской тоскою боленъ.
Твой поцѣлуй на пальцахъ смуглыхъ рукъ
Зажегся и погасъ такой ненужный!...
И сердце шепчетъ мнѣ, что ты не другъ!
Съ тобой не звонокъ смѣхъ жемчужный.
Не прикасайся! я цвѣтокъ степной.
Ты алость лепестковъ сомнешь руками...
Я макъ, расцвѣтшій раннею весной
Овѣянный несбыточными снами...

Галя Полуэктова.

У РОЯЛЯ.

Изъ цикла "Паутина"

Отчего мнѣ такъ грустно?.. Я любилъ Васъ когда-то
"Я любилъ Васъ когда-то" — повторяетъ рояль
И рыдаютъ аккорды: — "Все ушло безъ возврата"
"Все ушло безъ возврата въ безконечную даль".

* * *

И тоскующій вечерь прилетѣлъ въ мою келью
Прилетѣлъ въ мою келью сквозь узоры гардинъ
И минорный рояль мой пусть разскажетъ веселью,
Пусть разскажетъ веселью, что я снова одинъ...

* * *

Ахъ! вернуться-бъ къ вамъ снова, сь тихой скорбью скитальца,
Съ тихой скорбью скитальца на колѣни упасть
Цѣловать Ваши губы, цѣловать Ваши пальцы,
Цѣловать Ваши пальцы, убаюкавши страсть.

* * *

И зачѣмъ мы столкнулись? чтобъ разстаться фатально.
Чтобъ разстаться фатально на завѣтномь пути.
Потеряли другъ друга, потеряли печально,
Потеряли печально, чтобы вновь не найти.

* * *

И сегодня мнѣ грустно... Я любилъ Васъ когда-то...
Я любилъ Васъ когда-то... Мнѣ любви своей жаль.
Неужели навѣки? навсегда, безъ возврата?!
"Навсегда, безъ возврата — отвѣчаетъ рояль...

Георгій Долиновъ.

Предчувствіе.

Твой прудъ души давно оплаванъ
Моей пылающей мечтой
И только жадной страсти саванъ
Еще насъ держитъ надъ чертой.
Мой духъ, какъ чаши спящихъ лилій,
Надъ гладью дремлющихъ рѣчной
И тишь розмахъ сковала крылій
Копящихъ мощь во тьмѣ ночной.
Но скоро солнечное кало
Вонзитъ мнѣ въ грудь огонь лучей,
Чтобъ сердце снова задрожало,
Чтобъ вновь я въ мірѣ сталъ ничей.
И жизнь гоня впередъ поспѣшнѣй,
Окно для міра растворя,
Я брошу гимномъ сонъ нездѣшній
На пыль земного алтаря.

Григорій Владиміровъ.

...Стоитъ только вслушаться въ эти чудные стихи и сразу можно услышать часто повторяющуюся букву "Л" мягкую, ласкающую, являющуюся эмблемой лиризма и элегичности.

Я предлагаю вниманію читателя небольшое стихотвореніе написанное съ такимъ расчетомъ, что въ немъ нѣтъ ни одного слова безъ буквы "Л" и нѣтъ ни одного слова съ буквой "Р", которыя являются противоположностью другъ другу.

Георгій Долиновъ.

Іюльская элегія.

Блѣдно ласкаютъ лучи запоздалые
Ласково теплый, печальный іюль...
Лѣта мелодіи блекло-усталыя...
Облачка то голубыя, то алыя
На небосклонѣ плывутъ, словно тюль...

* * *

Листья поблекшія! словно устали вы,
Словно измучились, истомлены.
Золотомъ желтымъ аллею устлали вы
И только въ солнца лучахъ блѣдно палевы,
Словно въ ихъ отблескъ больной влюблены...

* * *

Ландыши въ полночь фіалку лелѣяли
Близко къ землѣ — колыбели склонясь.
Лунной любовью ихъ ласки овѣяли
И колыхаясь, волнуясь, хмѣлѣя-ли
Плакали ландыши, лѣту молясь...

* * *

Плачутъ о ландышахъ бѣлыя лиліи:
Лѣто минуло... Любовь солгала...
Слезы блестятъ въ лепесткахъ въ изобиліи.
Вяло поникли головки въ безсиліи,
Ало-элегія ихъ оплела...

* * *

Лѣто минуло... послѣднія жалобы
Шлютъ облетѣлые листья во мглѣ.
Лѣто хотѣло-бы, лѣто желало-бы
Долго лелѣять лиловыя жалобы
Лилій склоненныхъ къ усталой землѣ...

* * *

Вспомнилъ былое волшебно влюбленное,
Блеклыхъ мелодій больную печаль,
Вспомнилъ легенды любви отдаленныя,
Близко-далекія, зло-умиленныя,
Тускло вплетенныя въ блѣдную даль.

* * *

Стало до боли тоскливо, мучительно
Жалко веселья и слезъ молодыхъ.
Въ лунную полночь волнуя томительно
Ласки любви были столь упоительны,
Пламенны въ скалахъ холодныхъ и злыхъ. —

* * *

Жалобно молятся волны гульливыя
Скаламъ безмолвно-холодныхъ глыбинъ,
Глыбы не внемлютъ мольбамъ молчаливыя
И уплываютъ влюбленно-тоскливыя
Волны въ могилы молчальныхъ глубинъ...

Георгій Долиновъ.

У моря.
(Сонетъ).

Пустынный берегъ... Ночь нѣмая
Въ истомѣ страстной замерла.
Молчитъ задумчиво скала
Рыданью волнъ сѣдыхъ внимая.
Брожу у моря сиротливо.
Тебя здѣсь нѣтъ... Я одинокъ...
Какъ опрокинутый челнокъ,
Разбитый волнами прилива...
Мы были здѣсь вдвоемъ когда-то,
Прибой рыдалъ у нашихъ ногъ...
Я не любить тебя не могъ
Въ тотъ часъ пьянящаго заката...
...Умчалось счастье безъ возврата.
Я снова здѣсь... Я изнемогъ...

Георгій Долиновъ.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Иван ЛИПТУГА
В чем соль? 288

Иван ЛИПТУГА

В чем соль?

Наши партнеры — Польская ширококолейная железная дорога — пригласили нас в город Замощ на празднование своего юбилея. Визит начался с Кракова — самого красивого города Польши. Но мой рассказ не о Кракове и не о Польше, и не о широкой железнодорожной колее, а всего лишь об одном туристическом объекте, находящемся неподалеку от Кракова. Этот объект, несомненно, заслуживает отдельной и длинной истории. Но я не пишу длинных историй, у меня на это нет времени. Но побывать там и не написать ни строчки — просто нельзя.

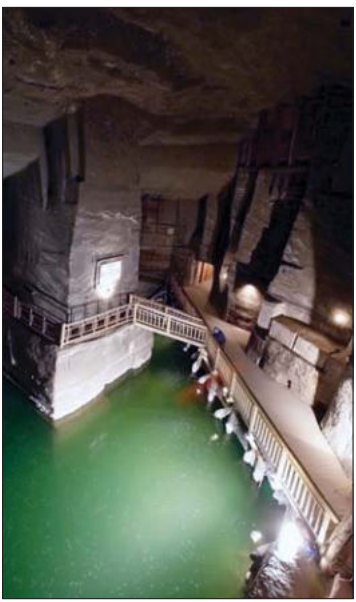
Всего в нескольких километрах от Кракова расположен город Величка. О нем вряд ли бы кто-то что-то знал, если бы здесь не было знаменитой соляной шахты. Но даже те, кто слышал о соляной шахте, но не был в ней, не могут себе представить, что это такое. Так и я, уже после выхода из шахты вдруг понял, что до того, как я в нее вошел, я не знал о соли почти ничего.

Вход в шахту через небольшое надшахтное строение можно было легко угадать по длинной очереди. Множество туристических групп — от школьников до пенсионеров — громко наперебой разговаривали на разных языках. Мы пришли небольшим мужским составом, и изучив несложный прейскурант групповых, семейных и индивидуальных экскурсий, взяли семейный пакет с индивидуальным экскурсоводом, избежав тем самым удовольствия простоя в интернациональной очереди. Мы сразу проследовали к главному действующему шахтному стволу, по которому сегодня осуществляют спуск и подъем туристов, — стволу Даниловича. Экскурсовод, приятная женщина родом из Украины, начала свою экскурсию с того, что сообщила нам правила безопасности и поведения в шахте, чем сразу вселила в нас дух исследователей, отправляющихся в увлекательную экспедицию.

Ствол Даниловича представляет собой длиннющий и довольно узкий колодец, внутри которого построена деревянная лестница в 380 ступеней, ведущая вниз, на первый уровень шахты глубиной 64 метра. Движение одностороннее, только вниз. Это сделано специально, чтобы не создавать заторов. Вверх туристы поднимаются с третьего уровня, который находится на глубине 135 метров, но уже на лифте. Спускаясь по лестнице и глядя сквозь узкую щель между перил, можно увидеть бесконечную вереницу лестничных пролетов, по которым сплошным



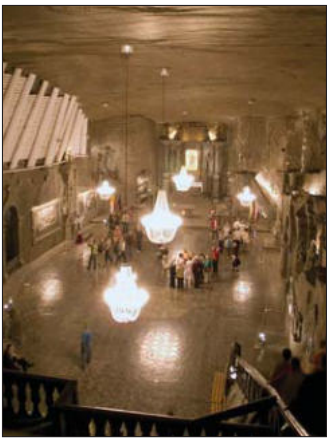














PLASKE
ПЛАСКЕ
Energy in motion

потоком идут люди. Туристов настолько много, что в шахте работает 500 экскурсоводов, которые проводят экскурсии на всевозможных языках. По дороге вниз есть достаточно времени, для того чтобы рассказать давнюю историю происхождения соляных копий, которая насчитывает почти тысячу лет.

Соль стала для нас чем-то бытовым и привычным. Мы имеем ее всегда в избытке, покупаем за копейки и воспринимаем как само собой разумеющееся. Еще в детстве у меня неоднократно возникал вопрос: как целая пачка соли может стоить одну копейку? Мне все время хотелось накупить соли на рубль, просто за то, что она такая дешевая.

Но так было не всегда. С 1044 года, когда Казимир I дает городу привилегию, в которой называет Величку "Magnum sal alias Wieliczka". Соль в тот период составляла основу экономики государства. Она использовалась как платежное средство, заменяя металлические деньги. Изначально соль добывали из соляных источников методом варки, основанном на выпаривании воды. Когда точно началась добыча каменной соли, неизвестно, но, вероятно, при углублении колодца одного из источников наткнулись на залежи соли, которую начали добывать при помощи примитивных орудий. Власти Польши установили монополию на добычу и даже на продажу соли, осознавая ценность этого продукта не только для потребления в пищу, но и для консервирования мяса, рыбы, дубления кожи и производства пороха.

Уже в тот период для развития шахты и увеличения объемов добычи соли использовались принципы хоть и своеобразного, но частно-государственного партнерства. Так как разработка месторождений и строительство шахт требовали огромных вложений, власти давали возможность частным предпринимателям вкладывать свои средства. Инвесторы тех времен несли все расходы, однако в случае нахождения соли шахта автоматически переходила в собственность и управление короля. Предпринимателю же давали возможность получать вечные отчисления, а также право на однократную добычу определенного количества и должность технического руководителя в администрации копий. Уже к XIV веку соль приносила в казну государства треть доходов, и ее добыча активно развивалась вплоть до второй половины двадцатого столетия, пока все запасы этого месторождения не были исчерпаны. Но, как и прежде, шахта остается источником дохода, который приносит в казну постоянные дивиденды, но уже не от выработки соли, а от туризма.

Спустившись по стволу Даниловича, мы попали в так называемую камеру Николая Коперника. Камеры представляют собой своеобразные пещеры, возникшие в результате выработки огромных глыб зеленой каменной соли. На стенах плотным рядом установлены большие цельные бревна, которые поддерживают потолок камеры и не дают возможности ему провалиться под давлением горных пород. Дерево, как объяснила наш экскурсовод, является незаменимым материалом для соляных шахт. Пропитываясь солью, дерево консервируется и может не портиться веками. Подобные сооружения называются "кашт", или "костер". В память о великом польском астрономе Николае Копернике, который не раз бывал в шахтах, в 1973 году к пятисотлетию со дня его рождения в камере был установлен памятник, высеченный из глыбы соли.

Далее мы попали в настоящую соляную часовню, в которую горняки приходили на церковную службу перед началом работ. Часовня Святого Антония — старейшая из сохранившихся часовен шахты, она относится к XVII веку и сохранила формы в стиле барокко. В алтарной части расположены полуразрушенные влажным воздухом соляные скульптуры Христа, Божьей Матери с Младенцем и Святого Антония. Кроме этой часовни по пути туристического маршрута также расположены часовни Святого Креста и Святой Кинги. Особенно впечатляет своей красотой и масштабом часовня Святой Кинги. Она представляет собой огромный зал, расположенный на глубине 101 метр, 54 метра в длину, 18 в ширину и 12 в высоту. В зал ведут две длинные лестницы, прямо из-под кровли вниз, что дает возможность рассмотреть множество скульптур и барельефов, высеченных из соли на стенах часовни, большие люстры из соляных кристаллов, а также пол, выполненный из огромного цельного куска соли. Часовня действующая, в главном алтаре проводятся литургии в дни именин святой Кинги и святой Барбары, а также по случаю знаменательных событий. В 1999 году часовня пополнилась соляным памятником папе римскому, поляку Иоанну-Павлу II.

Проходя по маршруту камеру Яновице, мы увидели скульптурную композицию, изображающую шахтера, который вручает княгине Кинге первый добытый соляной камень, в котором был найден ее перстень. Согласно легенде, княгиня Кинга, дочь венгерского короля Белы IV, была отдана замуж за правящего краковского-сандомирского князя Болеслава Стыдливого. Перед тем как выйти замуж, она бросила свое обручальное кольцо в соляную шахту Марамуреше в Венгрии, а приехав в Польшу, приказала копать в определенном месте. Там оказались залежи соли, и там

же было чудесным образом найдено ее кольцо. С тех пор княгиня считалась покровительницей шахтеров-солекопов. Иоанн-Павел II во время визита на родину в 1999 году объявил ее святой.

Весь туристический маршрут насчитывает 28 помещений — различных камер, стволов и часовен. По узким лабиринтам, переходя из камеры в камеру, мы прошли около четырех километров пешком. И это было лишь два процента от общей протяженности вырытых туннелей, которые насчитывают почти двести пятьдесят километров и расположены на девяти уровнях. Громадные камеры, укрепленные по отвесным соляным стенам многовековыми деревянными конструкциями, разбросанные по шахте памятники шахтерам, погибшим в разные времена, надписи и засечки на стенах — все это несет в себе память о колоссальном труде и жизни многих поколений людей, посвятивших свои жизни добыче соли.

Наша экспедиция завершилась в подземном соляном ресторане на глубине около ста метров, в котором соль можно было соскребать прямо со стен себе в тарелку. Мы с удовольствием ели традиционный польский суп журек и сочные утиные ножки, запивали их вином и под впечатлением от увиденного обильно посыпали все свежемолотой каменной солью, по-новому ощущая всю прелесть ее вкуса.

Величка, Польша



Владимир ЕФИМЕНКО

Сто баксов

Пили втроем: Петров, Вовка и Фингерман, на даче у Славика, на 16-й Фонтана. А собирались – вчетвером, вот как. Последний оставил им ключ, а сам укатил в город, потому что жена позвонила на мобильник и сказала, что "маме плохо, может, надо будет вызывать "скорую", так что, он срочно нужен. Славик пытался отмазаться, мол, у старой симулянтки эти приступы – каждую неделю, она просто наслаждается, что ставит всех на уши и все вокруг нее на цырлах бегают. "Старая садистка только развлекается, она еще нас всех переживет. Ты – в истерике, а ей – как с гуся вода, спокойная, как удав, это она тебя в могилу загонит". У жены, естественно, истерика прорвалась в плач и слезы, даже по телефону чувствовалась сырость: "Я знаю, ты ее ненавидишь, но сделай это хотя бы ради меня... Ты ж меня любишь... На кого мне еще рассчитывать? Я же не могу все время одна... Все – на мне, всегда... Кто-нибудь спросил хоть когда-то, а каково мне? Ладно, не надо ничего... Я знаю одно, для чего я тебе нужна... Сидите там, пейте, развлекайтесь, еще девок позовите, а я тут, в этом кошмаре... Старуха тут умирает... (К слезам присовокупились сопли, и это было отчетливо слышно.) Я не могу больше биться головой об стенку..." и т. д. в той же стилистике текста.

Славик прекрасно понимал расклад: женушка, конечно, проболталась мамаше, что они собираются устроить мальчишник на ее даче, и старую, естественно, "жаба задавила" – они пьют, гуляют, а что остается ей, в ее восемьдесят лет? Валокордин, корвалол, "Новости" и всякая другая вонючая дрянь. Но она же никогда не покажет, что ей плохо, кроме тех случаев, когда плохо надо сделать другим, наломать им кайф. Вот и сейчас – она его специально выдергивает из компании. Он с тоской посмотрел, как Петров уверенной рукой разливал "Nemiroff" – Вовке, Фингерману, себе. Над четвертой, пустой еще стопкой, его рука остановилась, а глаза поползли на Славика с немым вопросом: "Бу-у-ш?". Последний же, глотая слюни от великолепия разложенной на столе закуски, видел, как на запотевшей с холода бутылке водки выступили слезы сострадания. Славика обуревало искушение или послать к черту всю эту симуляцию, или хотя бы дернуть на дорожку стопку-другую, не для храбрости, не для удовольствия, а только чтобы дыхнуть на старую каргу свежим перегаром, и хоть этим ей слегка насолить. Мол, не вышло у тебя, старая, мне карты спутать: все равно жизнь прекрасна, несмотря на все твои старания ее испортить.

Но пораскинув, он понял, что это нереально: тогда он не сможет сесть за руль и быстро приехать. А он рассчитывал, что с друзьями заночует здесь, на даче, а утром рассол и "Антиполицай" сделают свое дело. Придется ехать не солоно хлебавши... В трубке опять послышались всхлипы: "Так что, может, мне Виталия позвать? Он-то мне ни в чем не откажет, а родной муж..." (Это был удар ниже пояса, запрещенный прием. Виталик – это бывший ухажер, которого Славик в свое время быстро отшил, показав, "кто в доме хозяин". И теперь, как только жене в чем-либо бывало отказано, она имела гнусную манеру говорить с укором: "Ладно, тогда мне придется попросить Виталия". Или: "Тогда мне придется нанять человека".) Стиснув зубы и матюгаясь про себя, делая страшные глаза и закатывая их наверх, благо по телефону не видно, он выдавил в трубку: "Ладно, родненькая, успокойся, пупсик, я сейчас буду". На другом конце сразу прекратились рыдания, резко, как по мановению волшебной дирижерской палочки великого Артуро Тосканини в финале "Болеро" Мориса Равеля. Тут же дали отбой, чтобы он, Славик, не дай Бог, не успел передумать. Идеальный муж помчался спасать любимую тещу, попросив собравшихся либо дождаться его, либо, уходя, просто захлопнуть дверь на автоматический замок. Рука Петрова поставила бутылку на место, а глаза печально опустились вниз, в то время как брови сочувственно поползли наверх – "Ну, что ж. C'est la vie, значит, пока придется посидеть втроем"...

Фингерман тем временем занимался математическими вычислениями, прикидывая, сколько придется на каждого, если бухло и закусь теперь надо делить на троих, а не на четверых. Одна третья на нос – это теперь – одна четвертая от целого, плюс одна четвертая, деленная на три... И закуска домашняя, не магазинные отруби. Нет, конечно, из приличия надо будет что-то оставить на завтра, а то обидится. Но по опыту многих лет сам понимал: то, что останется на завтра, – это по-любому несерьезно, и бежать неминуемо придется все равно еще раз. Вовка находился в задумчиво-радостном настроении: жаль, что Славика не будет, – единственный человек, с которым можно поговорить о Шенберге и Альбане Берге, Мессиановых ладах, о сегментной додекафонии, о Шнитке и Эдисоне Денисове... Он представил, какое глупое лицо будет у Петрова, вечно надутого, с этим его поучающим тоном, когда он, Вовка, как бы невзначай обронит выражение типа "обратная интерполяция – это вам не инверсия ракохода, батенька".

В компании происходило забавное разделение по интересам: Петров разбирался в юриспруденции и в машинах, гонял, экстремал, как Шумахер. Вовка разбирался в музыке и понимал по-латыни, любил постим-

прессионистов. Фингерман сам мало рисовал, но зато знал кучу теорий искусства, увлекался античной историей и при этом мог разобраться с любым мотором.

Поэтому, когда Петров говорил о машинах, Фингерман горячо поддерживал тему, а Вовка, полный чайник в этих делах, сидел, как валенок на ноге не по размеру. Когда Вовка общался с Фингерманом о римском праве, слышались всякие "dura lex, sed lex", "jus primae noctis" – и Петров, несмотря на его юридическую закалку, не догонял всех этих мудреных тонкостей и скучал, пнем-пень. Славик, окончивший консерваторию, схлестнувшись с Вовкой, сыпали разными там "тритоновыми заменами", "терцдецимаккордами второй ступени", "новаторством в такой-то симфонии Малера" – у остальных уши вяли. Повыпендривавшись, какие они все умные, после – расслаблялись и переходили к общим для всей компании темам: бабы, секс, сплетни, анекдоты – нормальное человеческое общение. Единственно Фингерман на тему баб несколько пасовал, и беседу поддерживал в чисто теоретическом русле, все больше напирая на Фрейда. А тут Славик выпал из игры, и Вовка чувствовал какой-то дисбаланс: сразу переходить к анекдотам не принято, нужна предварительная "светская беседа", – как в брачных играх у динозавров. Иначе можно подумать, что все собрались только для того, чтобы тупо напиться. А как еще вспомнить об уважении к себе, если на работе твой интеллект на фиг никому не нужен, там нужны исполнительные тупицы, вдобавок – все на нервах, орут, несут какую-то ахинею...

Открыл собрание Петров:

– Господа! Я предлагаю почтить вставанием так рано ушедшего нашего коллегу Славика! – он картинно налил стопку, стоявшую перед пустующим стулом, и водрузил на нее ломоть серого хлеба, как это делают, поминая павшего в бою товарища. – В семейной жизни есть и обратная сторона медали. Мы будем молиться за него. Prosit!

Выпили, сели закусывать, а Фингерман отметил, что ветчина на столе – самая кошерная на свете, в самый раз – под конец шаббатона, а эта водка – чистое здоровье, а не то говно из магазина, которое пахнет ацетоном и только этикеткой напоминает о благородном продукте, и как он недавно чуть не травануся этой гадостью в баре. Вовка со счастливой грустью в глазах поглощал маринованные маслята: сегодня ему пришлось отказать в свидании одной милой совсем юной шатенке, которую он закадрил совершенно случайно, даже не рассчитывая на успех, но та – повелась... Ладно, ради друзей – чего не сделаешь, да и жене не надо будет

врать, хотя вначале он соврал, сказал, что едет с друзьями, а потом вдруг перезвонил Славик, и оказалось – правда: он таки да едет с друзьями. Теперь можно смело смотреть ей в глаза: с кем он проведет эту ночь – куча свидетелей... И в следующий раз ему, верному мужу, поверят на слово. А девчонка – подождет...

Под окнами уютной одноэтажной "славикатещи" дачи росли абрикосы, липы распространяли приторный до противного, но все же дивный аромат... Верхушки деревьев из оранжевых стали ярко-красными, потом начали медленно тускнеть, и земля внизу, потеряв цвет, как утонувший – из пучины, посылала наверх свои последние пузырьки: то блеснет вдалеке брошенная кем-то жестянка, то сверкнет и погаснет осколок битого стекла. Жгуче-зеленое небо попрощалось с нахальным светилом, и вспомнив, что пора надевать вечернее платье с блестками – как старая кокетка перед зеркалом, стало неспешно наряжать себя мелкими бриллиантами звезд.

– ...вот и я говорю: все они продажные, эти политики. Как шлюхи последние! Но шлюх я уважаю, а этих – нет. Потому что проститутки честно работают, берут бабки, но при этом не бьют себя в грудь, что они, мол, делают это исключительно из любви к тебе, заботясь о твоем благе, – Петров сделал паузу, чтобы набрать воздуха после длинной тирады. Было ясно, что разговор давно уже шел на "общие" темы, и все оживленно участвовали в беседе. Фингерман предложил "освежить бокалы", что и было сделано, но Петрову, видимо, полезло не в то горло, он закашлялся, заливая всех брызгами, а свое покрасневшее лицо – слезами. Вовка подлетел к нему сбоку и хотел было похлопать ладонью по спине, как это делают, когда человек поперхнется, но Петров заморгал мокрыми глазами, замотал головой и протестующе замычал, мол, не надо, это лишнее, сейчас само пройдет. Он вскочил из-за стола и выбежал, хлопнув за собой дверью, из комнаты. Вовка и Фингерман с улыбочкой переглянулись. Фингерман рассказал бородатый еврейский анекдот про то, "как тетя Двойра в лифте застряла". Вовка слышал его раз двадцать, и в том же исполнении, но из вежливости пару раз хохотнул.

Петров отсутствовал уже минут десять, Вовка предположил, что "он там, наверное, весь облевался, а может, человеку плохо стало". "Брось, – Фингерман выразил на лице полное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне: – Этот лось здоровее нас обоих вместе взятых. Наверное, перекуривает. Давай пока накатим". Накатили. А тут подоспел и заметно приличнее выглядевший третий мушкетер: "Что, сволочи, решили без меня допить? Думали, что я умер? Не дождетесь!" – и влил в себя пол-лит-

ра томатного сока. Отвернувшись от этого душераздирающего зрелища, Фингерман продолжал донимать Вовку расспросами:

– И как же зовут твою новую пассию? Муза? Лаура? Я тебя за язык не тянул! Вольдемар!

– Ты почти угадал, подлец. Лара. Лариса Дмитриевна. А гордится своим отчеством... будто сам президент Медведев – ее папа, – объяснил Вовка, на что Фингерман заметил:

– Пусть не очень гордится "Дмитриевной" – она что, Бесприданница? Будет тебя доить.

– А что? Татьяна в "Онегине" тоже была Дмитриевна. "Кто там, в малиновом сомбреро, с послом испанским говорит?" Что с того?

В разговор вмешался Петров, если точнее, грубо его оборвал: "Это что, вся водка, что ли, что осталась?". Тут все трое заметили, что почти расправились с меню, в особенности с его главным компонентом, и Петров предложил "послать гонца, а бабки я дам". Фингерман поддержал, скрупулезно подметив, что "сегодня суббота. Если не взять сейчас, то в воскресенье тут все магазины будут закрыты, а в город пешком чесать – сильно далеко". Петров сказал, что он бы и сам в город сгонял за полчаса, "Вольво" за забором стоит, но он уже хорошо "мэкнувши" и не хочет заниматься благотворительностью для ментов. "Себе будет дешевле, если мы это честно прогуляем, чем кормить разных паразитов", – он пошел шариться по карманам, и Вовка тоже стал припоминать, где при нем филиал швейцарского банка, и что-то даже, на удивление, нашел. Фингерман с кислой миной сообщил, что у него опять на работе лажа, что он сегодня пустой, а тут Славик так неожиданно пригласил... Короче, внесет свою лепту, исполнив функцию "гонца". Друзья сгрузили "гонцу" национальную валюту, а Петров даже проводил до калитки. "Какие красивые звезды!" – и зашел обратно в дом. Остатки паштета и салями не лезли в рот по-сухому. Порывшись в холодильнике, обнаружили початую двухлитровку пива, но ни селедки, ни креветок, ни тараньки не было. А Петрова это и не очень огорчило. И зря: смешивать в таких делах опасно, тем более что градус напитка можно только повышать, но ни в коем случае не понижать. Вскоре Вовка, рассказавший первые двенадцать серий своих любовных похождений, подняв глаза на визави, обнаружил, что Петров спит, как сурок, сидя на стуле. Немного погодя вернулся Фингерман: "Хорошо еще, я еле успел, они уже закрывались", – стал расставлять дары гастрономии на столе, убирать грязную посуду, а Вовка вышел на воздух "подышать свежим никотином". Потом они еще с полчасика посидели, и их тоже разморило. Петров был совершенно неподъемный, и его остави-

ли на стуле – зачем беспокоить человека? Сами легли валетом на диване, и Вовка прозрачно намекнул, что "от частой стирки линяют только дешевые носки". Скоро храп троицы перекрыл треск цикад.

Утро, то есть часиков в двенадцать, никак не позже, встречало прохладой. Особенно прохладен был Петров. Он похмелялся в одиночку, сидя за столом, пока Вовка с Фингерманом, сидя на диване, терли свои красные глаза. Петров смотрел волком. Первым нарушил молчание Фингерман:

– А ты чего такой злой сидишь? Головочка "бо-бо"? Так рассольчику выпей.

– Ни фига себе, заявки! – возмутился Петров, продолжая смотреть бирюком. – Что за дешевые шуточки? Я вам что, клоун?

На что Вовка поинтересовался, а что случилось.

– Мы же с Фингерманом тебя пытались уложить, но ты брыкался, и тебя оставили в покое.

Петров заорал:

– А куда делись сто баксов из моего портмоне? У них ноги выросли? Или сюда ночью кто-то еще приходил? Я вас спрашиваю! Или это тень отца Гамлета сп....ила мои сто баксов? Сумма не ахти какая, но я их отложил на СТО... И главное – кто? Друзья! Кончайте дурака валять, кто это из вас так шутит! Или оба?

Двое переглянулись: "Он, что, на солнце без панамки пересидел?". Но, с другой стороны... странно: как в классическом английском детективе – в закрытом изнутри помещении что-то случается, а их там только трое... Вот и думай! Вовка самолично дверь запер на два оборота, когда спать ложились. Население дивана сдержанно молчало, понимая, что любые отрицания причастности будут расценены как попытка оправдаться, а это было бы глупо и даже не так уж смешно в дурацкой ситуации. Председатель застолья с высокого стула в окружении батареи присяжных осуждающе смотрел на них сверху вниз. "Друзья называется! Перегнули палку... Ну, ладно, шутка не удалась, потому что глупая, а теперь и признаваться неудобно: я могу подумать, что это была совсем не шутка". И что, теперь из-за вонючей бумажки – никакого доверия друг к другу?

Вовка первым ответил:

– Ты давай, старик, говори, да не заговаривайся! Ты нас что, за крыс имеешь? Я б тебе эти сто баксов просто так дал, чтоб ты не плакал... если бы они у меня были.

Фингерман, понимая, что ему тоже молчать не пристало, и что тоже надо что-то сказать, заметил:

– Я, между прочим, в магазин ходил, а когда вернулся – этот уже спал на стуле. Ты же мне сам дал кучу капусты на покупки, – вот, еще пятера сдачи и сигареты, потому что у тебя твой "Честер" закончился, – он положил сигареты и сдачу на стол. – Какие ко мне претензии?

– Молодец, – подумал Вовка, – раз к нему не может быть претензий, значит, остается кто?

– Ладно, – продолжил Петров, наливая всем, – давайте без нервов.

Все "бахнули" залпом.

– Я просыпаюсь, – продолжал он, – и вижу: два тела дрыхнут на диване, а мой бумажник лежит рядом со мной под стулом. Ну, думаю, наверно, выронил во сне. Решил на всякий случай проверить, все-таки – документы, там, права... Смотрю – права на месте, техпаспорт, талон, визитки, кредитка, а ста баксов нет! Я уже обыскался, везде у себя перерыл, уже, думаю, у меня с перепою крыша едет. Но это же мистика! Не Святой же Дух здесь был!

На этот выпад Вовка вполне резонно возразил что Святой Дух пребывает с нами всегда и всюду, а Петров возмущенно глянул ему в глаза, дескать, мерзавец, ты хочешь своими циничными мансами свести все на шуточки. Ан, нет, факты – упрямая вещь, сто баксов испарились, или кто-то из вас, пока я спал, приделал им ноги.

– Только Святому Духу баксы не нужны, – закончил свою мысль Вовка. – Он их сам напечатает столько, сколько Федеральному резервному банку не снилось. Ты вспомни хорошенько, может, ты их вовсе с собой не брал, дома оставил?

– Но я ж не сумасшедший, – вскипел Петров. – У меня нет déjà vu пока что. А точно помню, потому что по дороге сюда ко мне гаишник примахался, что я поворачиваю не из того ряда, и попросил права и техпаспорт. Сто баксов лежали на месте, а сейчас – их нет! Нашенскую "макулатуру" я ношу в кармане – на карманные расходы, а баксы были в портмоне. В какие игры мы играем?

– А ты в машине смотрел? – вставил Фингерман. – Может, ты их там и выронил, когда ты с этим гаишником...

И тут Петров взорвался:

– Да, не делайте из меня идиота! Я утром, когда это дело обнаружил, первое, где посмотрел, – это в салоне, под сиденьем, даже под ковриком! Нету там ни хрена!

Вовка подумал про себя, что, в принципе, и делать никого не надо, результат налицо, если он нас может в чем-то подозревать. Молча встал

и вывернул наизнанку карманы. Может быть, промелькнуло у него, этого и не стоило делать, унизительно как-то, да и ничего не доказывает: бумажку можно было скатать трубочкой и, засунув в пастовую ручку, оставить где-нибудь за окном, чтобы потом забрать... В носок сунуть, в морозилку – кто там станет искать? Да мало ли... Глупости какие...

Фингерман нервно рассмеялся: "А у меня стопроцентное алиби! У меня в обоих карманах – дыры с кулак, Сашка моя так и не зашила до сих пор!".

Выпили еще, чтобы страсти немного улеглись. Команда дивана – подозреваемых – подсела к столу, уничтожая дистанцию между "следователем-потерпевшим" и ими, невинно обвиненными, как бы давая понять, что инцидент исчерпан, а ты сам, дорогой, где-то облажался, вот и разбирайся сам, вспоминай. Пытались сменить тему, но что-то уже разладилось в компании, и разговор не клеился, как раньше, а резиновые улыбки исчезали, когда воцарялись тягостные паузы. Сложно делать вид, будто ничего не произошло, ведь произошло-то, в том-то и дело!

– Я бы сейчас и двести баксов отдал, ребята, – нарушил тишину Петров, – чтобы это все оказалось страшным сном. Ведь столько лет... Доверяли, выручали друг друга... Ну, если бы там приперло, нужда какая, ну, допустим, любовнице аборт сделать, да так, чтоб никто не узнал... Разве я не дал бы?

– Аборт сейчас стоит как минимум триста, – уточнил Вовка, знаток в этом вопросе. – Ты, старик, отстал от жизни.

Фингерман добавил, что сам сейчас живет полувпроголодь, но это только оттого, что не имеет привычки залазить в чужой карман.

– А ведь действительно, – Петров смотрел на клеенчатую скатерть, – ты же ходил в магазин, а пришел, когда я уже спал... Кто оставался дома? Наедине? – он посмотрел на Вовку исподлобья. В этом взгляде была боль горького разочарования и сожаления, мол, подавись ты этими ста баксами, ты только что друга потерял... Это подкрепилось сказанным затем вслух: – Не буду же я, в самом деле, милицию вызывать... Смешно...

Вовка понимал, что если он не отреагирует сейчас, то ему уже никогда не отмыться. Вот же наглая морда! И уверен на сто процентов в своей правоте! А только что меня фактически назвали вором, что я злоупотребил дружбой, доверием, у спящего человека... Надо дать в морду за такие слова. А с другой стороны, он же вслух не произнес, и как-то неудобно и неловко так, вдруг, ни с того ни с сего бить человека по лицу. Для этого должны быть очень, супервеские причины, конкретный повод, иначе по-

думают, что ты псих. Но лучше уж пусть думают, что я – псих, чем подумают, что я – крыса. Вовка вспомнил, как обычно развивались уличные драки: от слов – к мордобою. "Ах ты козел!" — "Это кто козел, я, что ли? Да за козла ответишь, гандон!" – и после такой преамбулы можно было с чистой совестью переходить к действиям – они уже оправданы. Так он и собирался поступить, но вдруг чудовищная мысль мелькнула в голове: "А может, это действительно был я, но я был пьян, и как лунатик ничего не помню... Боже, какой ужас!". Привставши было со стула, Вовка снова сел. Но на этот раз не на стул, а в лужу. Глубокую лужу сомнений, противоречий и попыток вспомнить, как оно было на самом деле.

Фингерман думал о том же: поймав на себе взгляд Петрова, он понял, что и он оставался наедине с "терпилой", пока Вовка выходил во двор покурить, а Петров дрых, как полено. И все его "алиби" теперь ни черта не стоят, и поди докажи...

– А ты посреди ночи не вставал? – спросил Вовка.

– Ладно, ребята, – подвел итог Петров. Qui prodest? Dolo malo – какая разница? Сидеть так, как пауки в банке, – это действительно можно мозгами поехать. Разбегаемся. Обидно!

Хряпнули на посошок, убрали еду в холодильник, захлопнули дверь на защелку и разошлись в стороны. Никто не сказал "Пока!" или "До свиданья", потому что было непонятно, когда, да и вообще, состоится ли оно, это "свиданье". А Славик так еще и не появлялся.

– Алло, Вован! Здоров, старик! – это звонил Славик, уже под вечер.

– Здрав будь, боярин, коли не шутишь. Как там твоя теща? Жива, или тебя уже можно поздравить?

– Она нам все кишки вымотала, так что не ей, Алке пришлось "скорую" вызвать. Сделали магнезию, вроде полегчало. А эта старуха сразу вскочила, прыгала, как Буратино, а я в итоге оказался во всем виноват! Дочь ее чуть не сгубил! Ну, бабы! Теперь она от Алки не отходит, поит ее корвалолом. Как тебе расклад? Да, кстати, а что там, на даче, вы что, перепились?

– Не понял? – промычал Вовка.

– Кто из вас сто баксов в туалете оставил на полу, возле унитаза? Вы что, долларами жопу вытирали? Ну, да, одной купюрой. Лежит у меня.

Как теперь удивится Петров...

– Алло! Это Вовка говорит. Слушай, Фингерман! "Мальчик-с-пальчик", "Пальцем-деланный-ман" – так, что ли, переводится? Петров звонил

и извинялся. Нашлись его сто баксов, в уборной возле унитаза. Славик нашел, слава Богу. И это ж надо было столько нервов всем вымотать: сам пошел, сам обронил, а нам все настроение перепаскудил!

– Вовка! – Фингерман был в эйфории. – Одно странно: мне-то Петров тоже звонил пару минут назад, просил прощения. Говорит: а на кого мне еще было думать, если больше никого не было? Но вся фишка в том, что сам-то он в туалете не был!

– Как это – не был? А когда он блевать выбегал?

– В том-то и дело, что в туалете лампочка перегорела, света не было, темно, как у негра в... Он себе чуть голову не проломил об кафель, он сам мне сказал. И пошел, как говорится, "до ветра". Под деревом в саду ему полегчало.

– Ничего не понимаю... А как же тогда...

Все трое призадумались.



Григорий РЕДЬКО

У моря в Одессе

Утро.
Повернулось к Солнцу, улыбнулось,
шевельнулось и залепетало,
расплескалось, вздрогнуло, проснулось,
сбросило тумана одеяло,
пробежало сотни километров
и вернулось обновленным вскоре
безо всяких катеров и ветра
незнакомое родное МОРЕ.

Вечер.
Безжалостным зноем берег распятый
лежит весь в руинах замков песочных.
Раскрашенный моря лист на закате
Сквозь щели ресниц вижу воочию.
Любвеобильный спасательный катер
среди плывущих лихо лавирует.
Играет МОРЕ волной на закате
и визгу детей аккомпанирует.



Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол!

Городок с прибором

В квартиру входит деловой Мужчина с чемоданчиком, его встречает Хозяин.

МУЖЧИНА: Ну, здравствуйте в вашем доме!

ХОЗЯИН: Простите, я через дверь не расслышал, а вы кто?

МУЖЧИНА: Я — проверяющий проверяющих.

ХОЗЯИН: Кто?

МУЖЧИНА: Ну, вот к вам домой приходят счетчики проверять, какие у вас есть, — электрический, водомер, газовый... Куча проверяющих из разных служб. А я проверяю этих проверяющих. Но зато все ваши вопросы могу решить я один.

ХОЗЯИН: А-а... Это типа по принципу одного окна?

МУЖЧИНА: Это по принципу одного кармана. Мне заплатите — и все...

ХОЗЯИН: Так вы что, сразу во всех этих приборах учета разбираетесь?

МУЖЧИНА: На высшем уровне! Сначала проверим напряжение в сети. Ну-ка... (*Слюнявит пальцы и сует два пальца в розетку, дергается от разряда и трясется.*) Проверили, напряжение в сети есть!

ХОЗЯИН: Слушайте, разве можно вот так, пальцем?! У вас что, прибора нет?

МУЖЧИНА: Что вы! Конечно, прибор у меня есть. Но прибором я так рисковать не буду... Холодновато тут у вас!

ХОЗЯИН (*ежится*)**:** Да, в квартире, как в тундре... А вот нормального теплосчетчика еще не придумали — непонятно, как это платить за тепло, когда у меня здесь совсем холодно.

МУЖЧИНА: Скоро будет. Я слышал, что сейчас разрабатывается новый квартирный теплосчетчик, причем специально для наших условий.

ХОЗЯИН: Вот это правильно!

МУЖЧИНА: Да. Он позволит нам подсчитывать плату за тепло, даже если в квартире температура минус сорок... Ну, так какие у вас счетчики имеются? С чего начнем?

ХОЗЯИН: Начнем с... (*Дружелюбно.*) А может быть, начнем с чашечки чая? А?

МУЖЧИНА: Опа... Это вы что, подкупить проверяющего хотите, да? Даже не мечтайте!

ХОЗЯИН: Да что вы такое говорите! Подкупить чашкой чая?

МУЖЧИНА: Так вот я и говорю. Подкупить? Меня?.. Чашкой чая?.. Да даже не мечтайте!

ХОЗЯИН: Что вы, я же от чистого сердца. Ну, не чай, так может, чашечку кофе? С коньячком, а?

МУЖЧИНА: С коньячком?.. Ну... Вообще-то я этот... кофеман. Без кофе просто не могу — давление низкое. По 5-6 чашек в день принимаю. Прямо как лекарство.

ХОЗЯИН: Понимаю... (*Засуетился, достает посуду.*) Я быстренько! Вам с сахаром?

МУЖЧИНА: Нет! Ни в коем случае! Мне большую чашку кофе с коньяком. Но без сахара... (*Хмыкает.*) И без кофе...

ХОЗЯИН: Понял... Уже наливаю!

Мужчина залпом выпивает чашку "кофе". Хозяин подсовывает ему бутерброд на блюдце. Мужчина жует.

МУЖЧИНА: Хороший кофе. Арабика?

ХОЗЯИН: Армяника... Хотелось бы, пользуясь случаем, спросить. Вот как это люди идут в проверяющие, в контролеры, в ревизоры? Это что, призвание такое? Зов души?

МУЖЧИНА: Ну... Тут многое переплетается. Проверяющий — это ведь каждый день надо работать с людьми. Ловить их, уличать... И каждый день надо учитывать, подсчитывать, пересчитывать... Собирать в пачки, обтягивать резиночками... (*Спохватывается.*) Тут надо очень точность любить, очень. Чтобы все тютелька в тютельку, понимаете?.. (*Смотрит на пол.*) А теплого пола у вас нет?

ХОЗЯИН: Нет, к сожалению, я в разводе.

МУЖЧИНА: Не понял. При чем тут это?

ХОЗЯИН: Ну, самый теплый пол — женский. Прижмешься к женскому полу — сразу согреешься.

МУЖЧИНА: Шутите, да? А с проверяющими не шутят! С проверяющими шутки плохи!.. Давайте приступим. Так где у вас приборы учета? Будем проверять!

ХОЗЯИН: Но, честно говоря, я даже не слышал о каких-то проверяющих проверяющих!

МУЖЧИНА: Не слышали? Надо бы вам и слух тоже проверить. Нука... (*Отскакивает в сторону, громко шепчет.*) Штраф три тысячи руб-

лей... Слышите? Нет? (*Разочарованно.*) О-о... Мы стараемся, свет вам даем, тепло, воду, а вы о нас даже слышать не хотите, да?

ХОЗЯИН: Ну, с теплом не так уж вы и стараетесь... Вот какой у меня прибор есть — термометр с барометром. Смотрите на термометр... Здесь и сейчас всего 16 градусов.

МУЖЧИНА: А на барометре как?

ХОЗЯИН: Ну, атмосферное давление нормальное.

МУЖЧИНА: Вот!! Видите? Нормальное! Работаем, стараемся для вас!.. Начнем с электричества!

Они идут к электрическому счетчику.

МУЖЧИНА: Ну-ка... (*Вглядывается в показания счетчика.*) Опа... Так это что получается, что вы за электроэнергию сильно недоплачиваете?

ХОЗЯИН: Что вы... Это я... Просто... Я забыл.

МУЖЧИНА: А! Так вам и память надо проверить! Память! (*Трет голову.*) О чем это я?.. Видно, опять давление.

ХОЗЯИН: Может, кофе?

МУЖЧИНА: Да! Надо повторить!

ХОЗЯИН (*наливает*)**:** Если честно, то на это электричество не напасешься. Холодно, приходится дотапливать. Плюс рано темнеет, на свет много уходит. Вот выйду на пенсию, так вообще не знаю, как буду с этими платежами справляться.

МУЖЧИНА (*выпивает, крякает*)**:** Вам... Как хорошему знакомому. Совет. Мой сосед-отставник так сделал — и кучу денег экономит.

ХОЗЯИН: Что сделал?

МУЖЧИНА: Достал себе на старом месте работы прибор ночного видения и вообще дома свет не включает... К водомеру!

Они идут к водомеру. Мужчину уже несколько развезло от коньяка.

МУЖЧИНА: Смотрим на водомерчик... Ха! Так вы и за воду недоплачиваете! Надо проверить ваших проверяющих! Небось, взятки им давали?

ХОЗЯИН: Что вы! Какие взятки? Такие замечательные люди! Просто я их по-человечески принял, от чистого сердца. Чай-кофе... (*Хмыкает.*) Кстати о кофе...

МУЖЧИНА: Да! Пора немного... взбодриться! (*Хозяин тут же подсовывает заранее налитую чашку.*) Но вы учтите, я, конечно, могу вот этого не заметить и пока не проверять ваших проверяющих, но долго я вас всех покрывать не смогу.

ХОЗЯИН: Почему?

МУЖЧИНА: Потому что если я как проверяющий проверяющих не проверю своих проверяющих, то придет мой проверяющий и проверит меня. А это такой замечательный человек, что на него не только у вас, но даже во всей Бразилии кофе не хватит... (*Поднимает чашку как бокал.*) Чтоб он, сука, был здоров... (*Пьет и смотрит на Хозяина уже по-пьяному тупо.*) Что надо? Будем штрафовать и отрезать!

ХОЗЯИН: Ну, я понимаю, я виноват... Но должен же быть какой-то выход...

МУЖЧИНА (*заплетающимся языком*)**:** Да, выход... Где тут выход? Пойду я. Спасибо тебе, дружище за чай-кофе. Бывай!

Хозяин провожает уже качающегося Мужчину. Подходят к двери.

ХОЗЯИН: Секундочку... Так я могу быть спокоен? Вы простите меня, пожалуйста, за эти недоплаты. Я потом все доплачу. Простите!

МУЖЧИНА: Прощаю тебе, сын мой! И ты меня прости! Простим друг друга по-христиански! (*Трижды его целует.*)

ХОЗЯИН: А я-то вас за что должен простить?

МУЖЧИНА: Так ведь никакой я не проверяющий проверяющих. Я, так сказать, на общественных началах. Ну, это я сам себя назначил.

ХОЗЯИН: Вот как?! Как это?

МУЖЧИНА: Ты понимаешь, я как прочитал в газете, что через это самое ЖКХ куда-то за границу миллиарды утекают... Миллиарды! Так я не смог дома усидеть! Надо же что-то делать! Решил вот из этих миллиардов хоть на кофе себе заработать. Но я ж ни у кого даже денег не беру... Все по совести. Или ты меня не просто по-человечески угощал? Не от чистого сердца? А?..

ХОЗЯИН: Да ладно... На здоровье! Только идите осторожненько, не упадите. Может, вас домой проводить?

МУЖЧИНА: Спасибо, дойду. (*Уходя.*) Я вот не пойму, через какую трубу эти миллиарды на ЖКХ утекают, а? Вот если бы на нее счетчик поставить! А потом приходить этот прибор проверять... У-у! Вот там не только на кофе можно было бы заработать...



Вместо предисловия



Ростислав АЛЕКСАНДРОВ
Волшебник из Одессы. По следам Исаака Бабеля
Одесса, Пласке, 2011

Написанное мною, думаю, нельзя назвать предисловием; скорее это отклик на издание книги о моем отце в его родном и любимом городе Одессе.

Одесса — удивительный город, который остается в сердцах одесситов навсегда, независимо от того, где они находятся. Как пишет автор книги, они испытывают к родному городу "нежную привязанность". А в старые времена одесситы сравнивали Одессу "ни больше ни меньше как с Парижем". Мой отец не был исключением; он обожал Одессу и помнил ее, но, в отличие от других одесситов, находил больше сходства между Одессой и Марселем. "Представьте себе Одессу, достигшую расцвета. Это будет Марсель", — писал Бабель. А в Париже, где отец бывал часто и подолгу жил, он всегда скучал по Одессе. Вот как описывает свою встречу с Бабелем в Париже Александр Бахрах (литературный секретарь Бунина): "От импрессионизма, от излияния восторгов перед Боннером и Вийяром — он незаметно перескочил к описанию старой Одессы, которую, как все одесситы, любил с какой-то преувеличенной нежностью. Он рассказывал о ней с таким смаком, что я, никогда не побывав в этом "нездешнем" городе, видел перед собой его улицы, чуть ли не утопающие в акациях и сирени, слышал несущиеся из порта гудки пароходов, открывал смысл чуждых мне названий — Молдаванка, Пересыпь, Фонтанка (Фонтаны. — **Л. Б.**), кафе Робина и Фанкони".

А другой свидетель рассказывал, как однажды, гуляя с ним по Монпарнасу, Бабель, "чтобы там запахло Одессой, распевал одесские песни, в том числе: "Сухой бы я корочкой питалась, сырую воду бы пила, не пиши мне, варвар, писем, не волнуй ты мою кровь".

Одесса, благодаря ее знаменитым сынам, приобрела международную известность; совсем недавно я держала в руках книгу американского писа-

теля Чарльза Кинга "Одесса" (Odessa: Genius and Death in a City of Dreams) с подробным описанием ее истории и судеб людей, ее прославивших.

При рождении мне повезло. Я родилась "у такого еще папаши". Мой отец был необычайно интересным человеком с оригинальным складом ума и замечательным чувством юмора, и к этому времени уже известным писателем. Когда мне исполнилось два года, его арестовали и вскоре расстреляли. Мама вызвала в Москву свою маму из Томска, и я росла с мамой и бабушкой, а потом всю жизнь прожила с мамой, и все мои родственники были со стороны мамы.

Отец, конечно, присутствовал в нашей жизни. Мама помнила всё, что он говорил и делал, и рассказывала мне; люди, которые приходили к нам в дом, говорили о нем; меня окружали его фотографии, чудом сохранившиеся в полупустой квартире после войны, и наконец, книги. К тому же, постоянно напоминала о нем моя фамилия, которую я никогда не меняла. Однако родных отца я фактически не знала, кроме тети Кати — тетки отца, которая жила в Москве, и о которой упоминает автор в своей книге. Я слышала о существовании Ады, двоюродной сестры отца, но никогда не видела ее. Со своей тетей Мерой, сводным братом и сестрой, я познакомилась гораздо позже, в 60-х годах. О моих прародителях я почти ничего не знала, и поэтому эта книга была мне очень интересна, и я благодарна автору за его скрупулезный труд по розыску сведений о предках Бабеля, и моих тоже. Было очень любопытно прочитать о моих бабушках и дедушках, и их родителях, их окружении, занятиях и образе жизни. У меня такое впечатление, что я обрела что-то, чего мне очень не хватало для моего самосознания.

Очень многие исследователи творчества Бабеля интересовались, каким образом получаются эти маленькие шедевры — бабелевские удивительные, столь выразительные короткие рассказы. Вспоминается стихотворение С. Кирсанова, тоже одессита.

Не надо даром зубрить сабель,
меня интересует Бабель,
наш знаменитый одессит.
Он долго ль фабулу вынашивал,
писал ли он сначала начерно
иль, может, сразу шпарил набело,
в чем, черт возьми, загадка Бабеля?..

Автор этой книги тоже посвятил этому вопросу немало страниц, пытаясь понять процесс творчества Бабеля. Интересно было проследить за ходом его мыслей по поводу изменений в тексте рассказов, делавшихся в течение нескольких лет, от издания к изданию — с целью совершенствования текста, выбрасывания всего лишнего. Сам Бабель писал: "Я могу переписывать несчетное число раз. Я считаю, что эта система дает большую легкость, плавность повествования и большую непосредственность".

Я очень заинтересованно прочитала подробности об истории газеты "Моряк", в которой начинали свой путь очень многие, впоследствии известные люди. Я хорошо знала Исаака Леопольдовича Лившица и его семью, дружила с его дочерью Таней, а также была знакома с Юрием Олешей, Львом Славиным, Семеном Гехтом. Из других, не относящихся к этой плеяде одесситов, знала Леонида Утесова, которого отец очень любил, и Татьяну Тэсс, с которой Бабель дружил многие годы. Она сделала замечательный фотопортрет отца, на обратной стороне которого он написал: "В борьбе с этим человеком проходит моя жизнь. И. Б.".

Бабель мечтал жить и состариться в Одессе, на Ближних Мельницах. И мать Т. Тэсс подыскала ему флигелек на Пишениной улице. Было это весной 1938 года...

.

Лидия БАБЕЛЬ,
апрель 2011



Книжный развал



Исаак БАБЕЛЬ
Конармия. Дневник 1920 года
Одесса, Пласке, 2011

Впервые в Одессе вышла книга Исаака Бабеля "Конармия" с иллюстрациями художника-одессита Ефима Ладыженского. Всемирный клуб одесситов, выступивший инициатором этого издания, приурочил его к 85-летию "Конармии", 100-летию со дня рождения Е. Ладыженского, и конечно же, к открытию памятника И.Э. Бабелю в Одессе.

В нашем городе лучше знают "Одесские рассказы" И. Бабеля, но понять писателя, ощутить меру его таланта можно, лишь прочитав трагический эпос гражданской войны. Более того, читатель может сопоставить художественную прозу с документом, с дневником, который для себя вел молодой писатель. Дневник долгие годы считался утерянным, и лишь в конце XX века был обнаружен и опубликован.

13 июля 1920 года, в день своего рождения, Бабель записывает в дневнике: "Я именинник. 26 лет. Думаю о доме, о своей работе, летит моя жизнь. Нет рукописей. Тупая тоска, буду превозмогать. Веду свой журнал, будет интересная вещь".

Писатель не ошибся. "Конармия", вышедшая в 1926 году, выдержала при его жизни, до расстрела в 1940 году, больше десяти изданий в России, была переведена на основные европейские языки. И главное — не осталась только в истории литературы, а живет и сегодня, побуждая читать ее, осмысливать, дискутировать, искать ответ на вопросы, возникшие перед тем, кто участвовал в братоубийственной гражданской войне.



Лилия ИШУТКИНА
Неожиданные эссе
Одесса, Друк Південь, 2011

Лилия ИШУТКИНА
Исповедальная книга
Одесса, Друк Південь, 2011



Две книги почти одновременно вышли у Лилии Петровны Ишуткиной. И в одной, и в другой эссе, очерки, исследования, даже стихи. Автор влюблен в Элладу — и это не годы определили ее поиски, но оказывается, столь же интересно она пишет об индии и Африке, о людях XIX и XXI веков.

Какие-то тексты, как, к примеру, о графине Е.П. Ростовской, я уже читал раньше, какие-то, как "Ветер поэтесс (22 января 1916 года)", публиковал в альманахе, но очень многое для меня в этих книгах было не просто занимательным, а неожиданным. К примеру, "Просторные записки об Олеге Губаре, его греках и моем де Рибасе". Настоящее исследование. Причем автор не скрывает, что влюблена (восхищена) в своего героя. Так вот, хоть творчество Олега Иосифовича проходит у меня на глазах, с интересом читал, как препарирует автор исследователя.

Мне кажется, что именно эссеистика — сильная сторона этих книг, краеведческие утверждения — слабая сторона, так как базируются на эмоциях, а не глубоком знании предмета. Но в целом эти две книги вводят в занимательную культурологию, думаю, они будут побуждать к поискам многих и многих читателей.

Когда-то одну из книг Л.П. Ишуткиной субсидировал Греческий фонд культуры. Жаль, что эта традиция не нашла своего продолжения. Думается, такие книги должны поддерживаться фондами, культурными обществами, чтобы не прерывалась связь времен.



Вера ЗУБАРЕВА
Гавань
Одесса, Фаворит, 2011

Профессор Пенсильванского университета, поэт, прозаик, эссеист Вера Зубарева продолжает активно печататься в своем родном городе. Это ее Гавань. Новая книга Веры Зубаревой посвящена светлой памяти ее отца, старшего лоцмана Одесского и Николаевского портов, капитана дальнего плавания Кима Беленковича. Без преувеличения можно сказать, что книга не только одесская, но и морская, рожденная Одессой и морем.

Первую публикацию стихов В. Зубаревой в Москве когда-то сопроводила добрым напутствием Белла Ахмадулина. И спустя годы в образной структуре стихов Зубаревой ощущается возвышенная перекличка со своей талантливой современницей.

Интеллектуал, философ, литературовед, изучающий А.П. Чехова, Вера Зубарева в стихах эмоциональна, открыта, ранима. И лишь точные формулы, мелькающий в стихах, показывают, что шутка А.С. Пушкина про то, что поэзия должна быть глуповата, не более чем шутка.



Леонид ГРОССМАН
Математическая Одесса. Книга первая
Одесса, Optimum, 2011

Недавно я слышал возмущенный возглас о том, что издается бесконечная "Бандитская Одесса", — а где "Медицинская Одесса", "Музыкальная Одесса"? К счастью, профессор К. Васильев издал книгу о медицинской Одессе, В. Максименко — о музыкальной Одессе. И вот начало новой серии: "Математическая Одесса".

Как пишет в предисловии М. Рашковецкий, перипетии развития математических идей изложены не только компетентно, но и увлекательно. А это задача весьма трудная. Правда, вспоминаю серию книг Я. Перельмана "Занимательная физика", "Занимательная математика". Действительно, это были занимательные книги, побуждав-

шие думать. Именно этим путем пошел и Леонид Зиновьевич Гроссман. Книга вышла в серии "Евреи в науке". Хоть, конечно же, не только о евреях-математиках в ней речь.

...В КИЕВЕ



Ян Пауль ГИПРИХС
Миф Одессы
Киев, Дух и литера, 2011

Эту книгу с нидерландского языка перевел на украинский специально для издательства "Дух и литера" Ярослав Довгополый. Издательство предваряет книгу аннотацией, где утверждает: "Одесса — название не только города, но и мифа". Именно такую мысль развивает автор книги, который два десятилетия изучал книги об Одессе, жизнь города и литературное преломление этой жизни.

Отдельные главы книги Ян Пауль Гиприхс посвятил жизни и творчеству Ивана Бунина, Константина Паустовского, Исаака Бабеля, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Валентина Катаева, Юрия Олеши, которых он считает создателями мифа Одессы в XX веке.

Признаюсь, не все выводы автора совпадают с моими, но это его взгляд, взгляд со стороны, взгляд европейца, влюбленного в наш город и в нашу литературу. Кстати, для презентации своей книги автор прилетел из Голландии и в Одесском литературном музее объяснял свою позицию, дискутировал со слушателями.

Ян Пауль Гиприхс хорошо знает русский язык. Но вот книгу его об Одессе в Киеве перевели на украинский. Перевели буквально, даже стихи Пушкина и Бунина, прозу Олеши и Бабеля, которых цитирует автор, перевели, а практически — уничтожили, так как перевод не поднимается до высот художественной литературы. Так голландский исследователь стал жертвой украинских "языковых противостояний". Остается надеяться, что в Одессе раньше или позже эта книга выйдет на русском языке.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Содержание

От редакции 3

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Олег ГУБАРЬ
Функции Одесского строительного комитета в контексте истории градостроительства Одессы 6

Анатолий ДРОЗДОВСКИЙ
Открытки Одесского кадетского корпуса 18

Олег ГУБАРЬ
"Энциклопедия забытых одесситов" 29

Владимир СМИРНОВ
Расстрел директора Художественного музея И.С. Эмского-Могилевского 40

Геннадий ГРЕБЕННИК
Записки обитателя одесского истфака 56

Михаил ГАУЗНЕР
Сима, Иосиф, Надежда 60

ОДЕССКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Ростислав АЛЕКСАНДРОВ
Четыре угла 70

Татьяна РЫБНИКОВА
Ришельевская: от театра до вокзала 73

ПРОЗА

Александра ИЛЬФ
Рассказ "за пятнадцать рублей" 78

Роман КАРЦЕВ
Открытое письмо Жванецкому 84

Ефим ЯРОШЕВСКИЙ
Матрас, или Прощание с Бабелем... 86

Михаил ПОЙЗНЕР
По воле Божьей... 90

Валерий КУЗНЕЦОВ
Прощание с мечтой 97

ПОЭЗИЯ

Игорь ПАВЛОВ
"И всюду были чудеса..." 107

Константин А. ИЛЬНИЦКИЙ
У стихов волшебная сцепка 110

Галя МАРКЕЛОВА
Поэзия звука 115

Тина АРСЕНЬЕВА
Иберийский бессмертник 119

ЖИЗНЬ – ИСКУССТВО – ЖИЗНЬ

Снежана ПАВЛОВА
"Мой дед – Шолом-Алейхем" 128

Ольга ТАНГЯН
Возвращение в Украину 133

Роман БРОДАВКО
Путь корифея 165

Илья РЕЙДЕРМАН
Из дневника культуролога 169

Валентин МАКСИМЕНКО
Память сердца: С.Я. Лемешев и Одесса 187

Вера ЗУБАРЕВА
Единственность. Памяти Беллы Ахмадулиной 192

Аркадий КРЕЙМЕР
Одиссея капитана Колбасьева 206

Ирина ЧУЖИНОВА, Виктор СОБИЯНСКИЙ
Письма о театре 212

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
"Одесса. Лето..." 239

Феликс КОХРИХТ
"Одесса ... джаз" 240

ПУБЛИКАЦИИ

Эдуард БАГРИЦКИЙ, Георгий ШЕНГЕЛИ
Месть Калиостро 243

Владимир БУГАЕВСКИЙ
Г.А. Шенгели в Одессе 244

Неосуществленные фильмы Михаила Каца 259
Публикация Карины ШРАГИНОЙ-КАЦ

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЩУРОВА
"Склоняюсь я в тоске пред неизбежным..." 265

ПУТЕШЕСТВИЕ

Иван ЛИПТУГА
В чем соль? 288

АХ, ОДЕССА

Владимир ЕФИМЕНКО
Сто баксов 293

Григорий РЕДЬКО
У моря в Одессе 303

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК
"Городок" — пятый угол! 304

ИЗДАНО...

Лидия БАБЕЛЬ
Вместо предисловия 309

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Книжный развал 312

Литературно-художественное издание

ДЕРИБАСОВСКАЯ — РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Одесский альманах

Книга 46

DERIBASOVSKAYA — RISHELIEVSKAYA

Odessa almanac

Book 46

Издается с 2000 года

Технический редактор Евгений Светин
Корректор Татьяна Коциевская

Оригинал-макет, верстка
ТИА "Вікна-Одеса"
Тел. 067 48 03 705

Подписано в печать 04.08.2011.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Формат 60x84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Зак. № 2. Тираж 300 экз.

www.odessitclub.org

Отпечатано в типографии издательства "Печатный дом"

Издательская организация "ПЛАСКЕ" АО
Регистрационное свидетельство ДК № 2149 от 08.04.05
а/я 299, г. Одесса, 65001, УКРАИНА
Тел. +38 (048) 7 385 385
E-mail: books@plaske.ua

ВСЕМИРНЫЙ
КЛУБ ОДЕССИТОВ



WORLDWIDE
CLUB OF ODESSITES

7, Marazlievskaya St., Odessa, 65014, Ukraine. Tel. +38 (048) 725-45-67

ББК 84(4Укр-4Оде-2Од)63-47я430+63.3,014(4Укр-4Оде-2Од)63я430
Д 362
УДК 821.161.2'06=161.1(477.74-21)-92(082.1)+908(477.74-21)(09)"452.2"

Д 362 Дерибасовская — Ришельевская: Одесский альманах (сб.) / кн. 46 Всемирн. клуб одесситов: Сост.: Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский, О.И. Губарь, И.Л. Липтуга. — Одесса: Издательская организация "ПЛАСКЕ" АО, 2011. — 320 с.

ISBN 978-966-8692-19-2

Д $\frac{4702640204}{2011} + \frac{0503020902}{2011}$



Купить виллу в Италии

Редактор Феликс Кохрихт

Редколлегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора)
Олег Губарь
Иван Липтуга



Скачать игры на PSP бесплатно,
прошивки, программы, темы, сериалы
psp-now.ru

Editor Felix Kokhrikht

Editorial board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar
Ivan Liptuga

ISBN 978-966-8692-19-2

© Авторство художественных текстов, 2011